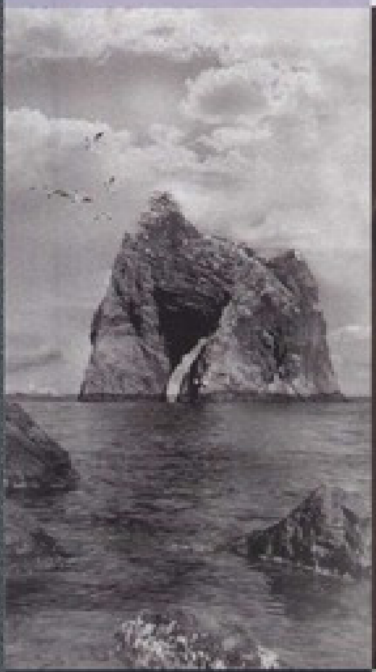
БРОДСКИЙ



Владимир Бондаренко

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского вызывают большой интерес не только в России, но и в других странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему, — от фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком достоверных мемуаров. На этом фоне известный критик и историк литературы Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие не замечают или не хотят замечать. В этой книге поэт, часто изображаемый космополитом и оторванным от жизни эстетом, предстает как наследник не только великой русской культуры, но и советской цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и ее народом.

знак информационной продукции 16+

- В. Бондаренко
  - ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ
  - ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА
  - ИОСИФ ИЗ БРОД
  - «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
  - ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ КРЕЩЕНИЕ
  - МОРСКАЯ ДУША
  - ПЕРСИДСКИЙ СЛЕД
  - СУД НАД ТУНЕЯДЦЕМ
  - БУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М. Б
  - «Я БЫ ЗАИЧЬИ УШИ ПРИШИЛ К ЛИЦУ…»
  - ВЗБУНТОВАВШИЙСЯ ПАСЫНОК
  - НАРОСТЫ ЛИШНЕГО
  - «Я — ПЛОХОЙ ЕВРЕЙ»
  - БУНТ ЗА НАРОД
  - БУНТ ЗА РУССКОСТЬ
  - БУНТ ЗА ЛУЧШУЮ ИМПЕРИЮ
  - БУНТ ЗА БОГА
  - «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ, УКРОЙ…»
  - СЕВЕРНОЕ СМИРЕНИЕ
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ
  - «Я ПЕРЕСЕК ЧЕРТУ…»
  - В ПОИСКАХ ДАО
  - РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ
  - ВЕЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ
  - НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

- ШВЕДСКАЯ НИША
- «РИСКНУ СДЕЛАТЬ ЭТО…»
- СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
- МАРИЯ И АННА
- НЕИСЦЕЛИМЫЙ ИОСИФ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. БРОДСКОГО
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

В. Бондаренко
Бродский: Русский поэт

Питерской юности и питерским друзьям посвящаю

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

Эта книга написана с великой любовью о великом русском поэте, лауреате Нобелевской премии Иосифе Александровиче Бродском. Любовь — содержание, форма, язык, философия, религия книги Владимира Бондаренко о поэте, которого знал он лично и с которым общался дружески в России, а также на Западе.

Для Бондаренко ничто не запретно: ни еврейский вопрос, ни русский ответ, ни фотография Бродского с крестом на шее, ни поиск русской природы и русской «водички» в Скандинавии, в Венеции, ни угол крестьянской избы на русском Севере, где поэт любил Марину Басманову, легендарную королеву его поэзии, вечной разлуки.

> В темноте всем телом твои черты,
> как безумное зеркало, повторяя.

Стихи, поэмы, проза, интервью, Нобелевская речь, воспоминания деревенских соседей в поселке, где Бродский был в политической ссылке, — всё живет в этой книге и дышит кислородом любви, с которой Бондаренко пишет о Бродском.

Книжным поэтом, не русским, не нашим, холодным, заумным, не народным, инородным и тыр-пыр восемь дыр — по-всякому его обзывали те самые братья-писатели, что от зависти к выдающемуся таланту выдавили Бродского из нашей страны на Запад. А потом эти братья задыхаются от зависти к тем страданиям, которые сами они причиняют замечательным людям, увеличивая стократно их лучезарную славу.

Случай Бродского — исключение из правил, «беззаконная комета среди расчисленных светил». Окончил восемь классов и бросил школу, пошел на завод, ни в каких университетах не учился, но стал прекрасно образованной личностью, писал замечательные стихи, абсолютно не антисоветские, не диссидентские, поэтика традиционная, не абсурдная, но его нигде не печатали, объявили тунеядцем, судили, отправили в ссылку на Север, вынудили уехать на Запад, где он не загнулся на радость завистникам, не утратил читателей русской поэзии, а издал прекрасные книги, написал гениальные стихи, великолепную прозу, стал профессором в университете, учил американских студентов любить русскую литературу и получил Нобелевскую премию — как русский поэт.

В этот день мне позвонили с зарубежного радио и спросили, не поздравлю ли я Бродского, не скажу ли о нем несколько слов. Такую прекрасную просьбу я исполнила с превеликой радостью, после чего со мной перестали здороваться знаменитости, которые были уверены, что эта Нобелевская премия украдена лично у них.

Много поэтов, крещеных обрядно, а поэзия у них — не крещеная христианской сутью Творца:

> Только с горем я чувствую солидарность.
> Но пока мне рот не забили глиной,
> из него раздаваться будет лишь благодарность.

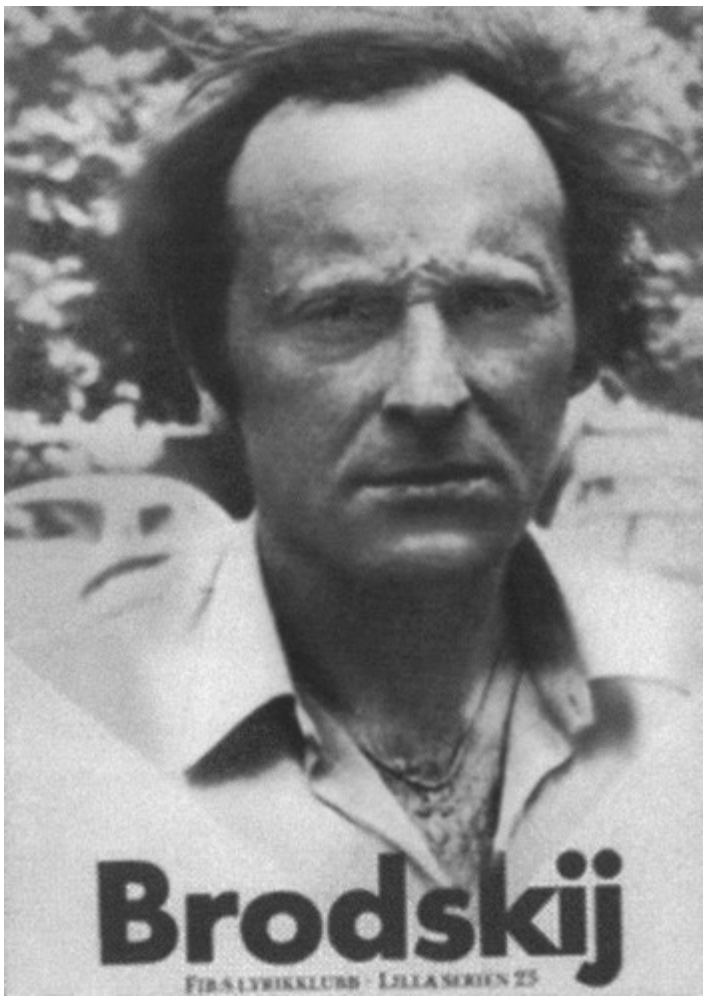
Иосиф Бродский крещен русской поэзией, русской речью, историей, географией, где «в деревне Бог живет не по углам». Его читатель — в России, которая сама выбирает себе великих русских поэтов. Она выбрала Иосифа Бродского. Страна и ее человечество никогда не равны режиму. Режим отверг поэта, а страна — нет, Россия любит его, как никто другой.

Об этом книга Владимира Бондаренко, и сильная сторона этой книги — язык, лишенный симулякров и пузырей спецтерминов, которые, как принято думать, пробивают дорогу на Запад и вписывают в научную элиту, а на самом деле отбивают всякую охоту читать.

Сегодня, когда русофобия превратилась в заразную политическую эпидемию, стало ясно, что Иосиф Бродский, великий русский поэт, лауреат Нобелевской премии, — очень сильное противоядие от русофобии в отличие от многих писбратьев.

Юнна Мориц

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА



Двадцать девятое ноября 1963 года, уже более пятидесяти лет назад, газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью «Окололитературный трутень», подписанную некими Лернером, Медведевым и Иониным. В этом фельетоне молодого поэта Иосифа Бродского клеймили за «паразитический образ жизни». Стихи, раскритикованные в пух и прах, отчасти принадлежали Дмитрию Бобышеву, ученику Ахматовой, а отчасти были

скомбинированы из совершенно невинного стихотворения Бродского, где речь шла о русской провинции: «Люби проездом родину друзей <…> Жалей проездом родину чужую», в результате получилось у пасквилянтов: «Люблю я родину чужую». Но ведь и у Лермонтова были стихи о его единственной отчизне — Шотландии, и Маяковский не однажды ругал «снеговую уродину» Россию. Дело не в этой подтасовке. Может быть, та газетная атака оказалась пропуском Бродского в бессмертие?

Писать об Иосифе Бродском сложно, потому что он закрыл свои личные архивы на 75 лет, но ведь о Лермонтове достоверных данных у историков еще меньше — тем интереснее им работать. Когда-то Александр Сергеевич Пушкин, размышляя о планах «Божественной комедии» Данте, упомянул о величии замысла. Эта фраза Пушкина стала ключевой для всей жизни поэта Иосифа Бродского. Он был разным в жизни: и ироничным, и раздраженным, и молчаливым, и разговорчивым, но в своей поэзии, в своей литературе он всё подчинил величию замысла. Писал ли он «Большую элегию Джону Донну» или «Новые сонеты к Августе», «Столетнюю войну» или «На смерть Жукова», в глубине его сознания оставалось: «Главное — это величие замысла».

Он всегда и во всем искал смысл жизни и смерти. До конца жизни недолюбливал, недопонимал смысл западный, потребительский, предпочитая пусть и драматический, даже трагический русский духовный смысл. Он не раз говорил об этом в своих интервью, к примеру в беседе с Элизабет и Хайнцем Маркштейн, состоявшейся в Вене в 1972 году: «Я, к сожалению, нахожусь в довольно затруднительном положении, потому что я понимаю, что у вас не может быть ответа на этот вопрос. Потому что, когда смотришь вокруг, то уже непонятно, во имя чего живешь. Вот особенно здесь. Непонятно. Складывается впечатление, что во имя *shopping*'а, понимаете? Что жизнь происходит во имя *shopping*'а. Единственное, что остается, — постараться быть по возможности наименее *involved* вот во все это. В *shopping* и… вы знаете, если бы я здесь вырос — я не знаю, во что бы я превратился. Просто не знаю. Я не понимаю… Это очень странное ощущение. Я не понимаю вообще, зачем все это. Нечто хорошее (но это наша, тоталитарная русская мысль) — что-то хорошее может быть только как награда, а не как априорное нечто, понимаете?»

Сам он никогда, ни на мгновение, не жил потребительской жизнью. Бродский вынужден был всю жизнь тянуться к величию своего замысла, противопоставляя себя западной потребительской цивилизации. «То, что здесь, мне не очень

нравится — это нереальный выбор, который здесь предлагается… Какой бы выбор ты ни совершил, это в лучшем случае ударит тебя только по карману. Но психологически, субъективно, как персону, это тебя оставляет в том же самом состоянии, в котором ты был и до выбора. Ну, за исключением автомобиля — он тебя может доставить дальше… В спиритуальном смысле это ничего не дает, абсолютно. И здесь может существовать только очень сильно одаренная… как бы сказать, чисто в артистическом смысле очень одаренная личность. Очень *sensitive,* понимаете? Которая очень чуткая и которая… музыка, не музыка, чем бы она ни занималась — литература, слово, — этот дар должен быть в ней настолько силен, чтобы все время вибрировать. Чтобы все время, чтобы он был более реальным, чем все остальное. Но это уже в некотором роде болезненное нечто должно быть, понимаете? <…> Впрочем, поэзия — это нечто другое. Я не знаю, что здесь должно быть: протест, безразличие. Но, в общем, я всегда себе говорил — всегда, во всех ситуациях, скверных, не скверных, даже когда мне удавалось делать что-то, с моей точки зрения, очень толковое, я всегда говорил себе: „Иосиф, надо взять нотой выше“» (беседа с Элизабет и Хайнцем Маркштейн).

Он и жил «нотой выше». Во всем. Без величия замысла он не мог писать ни о любви, ни о природе. В этом смысле он и был творчески счастливый человек. «Художник — особенно в русской терминологии — это живописец… я понимаю, как художник может быть счастлив, когда он видит и познает что-то, когда он работает. Я предполагаю, что Брак (это мой любимый художник) — это не страдалец. Его художником сделало не страдание. Но колоссальное внутреннее богатство и процесс работы — вот что сделало его человеком. Я даже думаю, что Шагал, между прочим, не страдалец…» (беседа с Элизабет и Хайнцем Маркштейн).

Он как никто другой из поэтов обожествлял само Слово. Эпиграфом ко всей его поэзии может быть библейское «В начале было Слово…». Очень верно о нем написал голландский русист Кейс Верхейл: «Если Бог есть Слово, то в каждом человеческом слове есть хотя бы зачаток Божественного. Со свойственным ему духовным экстремизмом Бродский идет по этому пути до конца, настаивая на формуле — в пределах кальвинистского миропонимания уже совершенно немыслимой — о божественности или даже надбожественности языка».

И потому он не принимал теории о греховности любой литературы, любого писательства. Его ставка была на высочайшую ценность поэтического слова. Думаю, он и вел себя в жизни согласно некоему ритуалу поведения великих поэтов. Не

из-за своего высокомерия, а для того, чтобы не снизить значимость своего слова, величие своего замысла. Может быть, и встречи с Анной Ахматовой были нужны ему, молодому застенчивому поэту, чтобы понять, как надо себя вести, как надо держаться великому поэту. Ахматова не была поэтическим наставником Иосифа Бродского — она была его учителем ритуального общения. Виктор Кривулин вспоминал: «Я видел, что Бродский следил за тем, как Ахматова произносила слова, переводила любую житейскую ситуацию в план речевой и в план поэтический за счет артикуляционной метафоры, за счет жеста, который становился словом…»

Еще один исследователь поэзии и творчества Иосифа Бродского, хабаровчанин Олег Давыдов, очень верно отметил: «Влияние личности Ахматовой на Бродского сделало его тем, кем он стал, хотя манера их письма была весьма различна. Она была для него человеком из другого мира, из Серебряного века, звездой прошлого, великое тяготение которой разогнало его воображение до околосветовых скоростей». Этическое влияние Ахматовой на Бродского трудно переоценить: «Его экзистенциальные выборы, его ценностные выборы как бы подсознательно диктовались Ахматовой, можно сказать, он ее интериоризовал, сделал частью себя. В манере его жизни и мысли сквозило что-то холодно-отстраненное, трудноуловимое: то ли ахматовское, то ли римское, то ли космическое, но всегда тоскливо равнодушное к духовному тонусу времени». Это был наглядный пример для подражания. Поэзии он учился у Марины Цветаевой, а личному поведению у Анны Ахматовой.

Может быть, отсюда, от величия замысла, и идет его постоянное обращение к античности, к глобальным проектам, к библейским темам, к рождественским стихам. Не будучи воцерковленным, он последовательно, год за годом писал свои рождественские стихи. Что заставляло его, начиная с «Рождественского романса» 1961 года, долгие годы писать стихи на тему Рождества? Думаю, прежде всего — величие замысла. В последние годы жизни его потянуло к уже привычной еврейской ироничности, к едкой сатире. Он с юности любил полублатную лексику — так бы и писал, пользуясь ею. Величие замысла не позволяло. Думаю, иногда он даже тяготился этим величием, но никогда не поступался им. Вот и рождественский цикл был его волевым приказом самому себе. На время оставив после отъезда из России рождественскую тему, он с 1987 года и до самой смерти каждый год снова пишет по стихотворению накануне Рождества.

Открывает этот «цикл в цикле» «Рождественская звезда», а

последним рождественским стихотворением стало «Бегство в Египет», написанное в декабре 1995 года, за месяц до смерти. В Америку он улетел с крестом на шее, почти не писал стихов на ветхозаветные сюжеты, а вместо этого буквально принуждал себя на каждое Рождество писать стихи на новозаветную тему. И какие великолепные стихи!

> В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
> чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
> младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
> мело, как только в пустыне может зимой мести.
> <…>
> Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
> на лежащего в яслях ребенка издалека,
> из глубины Вселенной, с другого ее конца,
> звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Может ли такие стихи написать неверующий, законченный атеист? Или просто человек иной конфессии, нежели христианская? Или кто-нибудь осмелится назвать его рождественские стихи — «паровозными», как называли иные его друзья изумительное стихотворение «Народ» или «На смерть Жукова». Но и впрямь паровоз поэтического величия тащил Иосифа Бродского от плоских шуток и стихотворных насмешек к истинной религиозности, государственности, имперскости. Да, порой он сопротивлялся этому паровозу, хотел отстать от него, но импульс единого жизненного замысла был сильнее. Иосиф Бродский и сам не скрывал, к примеру, «государственности» того же стихотворения «На смерть Жукова». В своих «Диалогах» с Соломоном Волковым он говорит: «Между прочим, в данном случае определение „государственное“ мне даже нравится. Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете „Правда“… А ведь многие из нас обязаны Жукову жизнью. Не мешало бы вспомнить и о том, что это Жуков, и никто другой, спас Хрущева от Берии… Жуков был последним из русских могикан…»

Разве не чувствуется величавая державность в его строках о маршале Победы?

> Вижу колонны замерших внуков,
> гроб на лафете, лошади круп.
> Ветер сюда не доносит мне звуков
> русских военных плачущих труб.
> Вижу в регалии убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.

Соломон Волков сравнивал стихотворение «На смерть Жукова» с давней русской традицией, восходящей к стихотворению Державина «Снигирь» — эпитафии другому великому полководцу, Суворову. Впрочем, не случайно снегиря вспоминает в этом стихотворении о маршале и Иосиф Бродский:

Маршал! Поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

Поразительно, что такое имперское по духу стихотворение было написано уже в эмиграции, в Лондоне, в 1974 году. Если не принимать во внимание осознанную жизненную стратегию Иосифа Бродского, его ставку на величие замысла всегда и во всем, многие из лучших эмигрантских творений поэта, наполненных державной значимостью русского стиха, никак не объяснить. Впрочем, он всегда чурался примитивной политики: советский или антисоветский, он не боялся в эмиграции называть себя советским поэтом в отличие от всех перестроечных лауреатов госпремий СССР, срочно забывавших о своей советскости. За эту конъюнктурную суетливость он презирал того же Евтушенко.

Когда Хайнц Маркштейн в Вене спросил его: «А скажите, Иосиф, вы считаете себя советским поэтом?» — Бродский без затей ответил: «Вы знаете, Хайнц, у меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме „русский“. Поскольку я пишу на русском языке. Но я думаю, что можно сказать „советский“, да. Вполне. Вполне. В конце концов, это, при всех там его заслугах и преступлениях, все-таки режим реально существующий. И я при нем просуществовал тридцать два года. И он меня не уничтожил.

— Хорошо, что вы говорите об этом… То есть нельзя уже вычеркнуть. Это есть исторический факт и культурный факт.

— Культурный факт. Вот это самое главное. И, в общем, в ряде случаев многое очень в творчестве людей, которые живут в Советском Союзе, в России, инспирировано не *divine invasion* — не божественным вторжением — но идеей сопротивления, понимаете? Это надо всегда помнить. И в некотором роде можно

даже быть благодарным за это. Или, может быть, я оказался в таком замечательном положении, что могу быть благодарным. Когда живешь и… Вы знаете, это странная история, у меня, может быть, просто что-то не в порядке с нервами или с системой чувств, но у меня никогда не было ненависти, гнева, то есть гнев был, но ненависти к режиму и ко всем этим делам, в общем, не было. Или, по крайней мере, я не мог его персонифицировать. Меня губила всегда одна вещь — я всегда понимал, что это люди».

Я не собираюсь в своей книге делать из Бродского просоветского или антисоветского поэта, да ему это и не надо. Он был вне системы таких координат. Над ними. А вот из русскости своей он немало черпал для своих замыслов. Ее он не стыдился, ею гордился. Он осваивал русскость как свою метафизическую философию. Вот пример его философии: «Русский привык смотреть на свое существование как на опыт, который ставится на нем Провидением. Это означает, что основная задача российской культуры и российской философской мысли сводится к одному простому вопросу — оправдать свое существование. Желательно на метафизическом, иррациональном уровне».

О себе он говорил просто: «Я — русский, хотя и еврей». Этим своим еврейством он как бы обманул мировую интеллигенцию, заставив ее признать глубинную русскую метафизическую, провиденциальную философию. Только сейчас иные западные культурологи и публицисты стали писать о Бродском как чуть ли не о мракобесе — мол, кому мы премию дали?! Ныне американские профессора удивляются: «Смотрите, он всерьез писал о высоком и низком, о добром и злом, даже о Боге и дьяволе — и это сошло ему с рук в нашей среде! Чудотворец — не иначе». Именно как русский он то стыдился, то гордился действиями советской державы. Когда на писательской конференции в Лиссабоне в 1988 году все делегаты из России, от Татьяны Толстой до Анатолия Кима, не хотели брать на себя ответственность за советские танки в Чехословакии, мол, это не наши танки, не писательские, один лишь Бродский признал, что отвечает за всё, что делается в России. Это и есть патриотизм.

Я ни в коем случае не делаю из него поэта-почвенника, хотя иные его стихи из северной ссылки очень близки поэзии Рубцова или Горбовского. Разумеется, в нашем примитивном делении на западников и почвенников он был поэтом-западником. Но совершенно русским западником. Он как бы писал в изгнании свою «Божественную комедию», но не целиком, а по частям: рождественские стихи, имперские стихи, стихи на античные и библейские темы. В своем эссе о Марке Аврелии Бродский

цитирует императора: «Для Природы Целого вся мировая сущность подобна воску. Вот она слепила из него лошадку; сломав ее, она воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревце, затем человека, затем еще что-нибудь. Для ларца нет ничего ужасного в том, чтобы быть разобранным, как и в том, чтобы быть сколоченным». Так и сам поэт лепит из Природы поэтического Целого свой великий замысел. Этот замысел он лепил еще в юности, затем мощно развил в северной ссылке, закрепил позже в своем родном Питере и не оставлял без внимания в эмиграции.

Узнав о ссылке в Норенскую, Анна Ахматова сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Так всё и было. Иосиф Бродский сам осознанно делал свою биографию, не позволяя себе распускаться. Его любимый философ Ортега-и-Гассет писал: «Жизнь — неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас…» К сожалению, далеко не все люди осуществляют предназначенный им проект бытия, или, говоря по-восточному, следуют своему дао. Иосиф Бродский максимально старался осуществить именно предназначенный ему свыше жизненный проект и потому следовал своему величию замысла.

Его друг Игорь Ефимов вспоминал: «Уже в октябре 1964 года, во время ночных разговоров в деревне Норенской, Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живем, — это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, во вне. Всё, в чем не содержится такого устремления — хоть немного, — чуждо ему и неинтересно. Еще он говорил, какая это жуткая штука — самоконтроль, взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе, и единственное, что может спасти здесь, — это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыда и страхи — с последующим подчищением, с возвратом назад, — идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться, может быть, в пустоту, может быть, в гибельную — но только так. Позже я замечал, что возвращаться назад и подчищать он не очень склонен и что, действительно, некоторые вещи разваливаются от несоразмерности, кончаются неудачей, катастрофой, но даже эти катастрофы — великолепны в своей подлинности, как развалины Колизея или Парфенона».

Ему приходилось сложно, ибо по характеру своему он был не таким уж серьезным, скорее легкомысленным человеком, готовым

пускаться на всякие авантюры. Но сделав выбор, Иосиф Бродский всю жизнь старался не выпадать из формата своего бытия, из формата величия замысла: «Есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно делаешь серьезно, а в другом только делаешь вид, что работаешь серьезно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни…» На это его признание стараются не обращать внимания. А ведь так оно и было. Весь его донжуанский список, при том, что поэт всю жизнь, по сути, любил лишь одну женщину — Марину Басманову, его восторги по поводу многих незначительных поэтов, его противоречащие друг другу интервью, которые он раздавал направо и налево, делая себе неплохой пиар, это все была, по его же словам, — халтура. А вот в поэзии он всё соизмерял с величием замысла. Он не интересовался бытом, и потому мимо него прошли все неудобства и тяготы ссылки или политических преследований.

Да и все его разговоры о равнодушии к христианству — это тоже пиар, тоже халтура. Прочитайте хотя бы его «Исаака и Авраама», совершенно библейский текст вроде бы далекого от христианства человека. Многие восхищаются его прекрасной «Большой элегией Джону Донну», написанной в северной ссылке. Но никто при этом не читает самого Джона Донна. Откройте его книгу проповедей, прочтите его «Обращения к Господу в час нужды и бедствий», его «Схватку со смертью». Это же не проза, не поэзия, это ярчайшие проповеди, высокие образцы христианского богословия, это искусство умирания, отсылающее прямо к Священному Писанию. Мог ли такой библейской книгой увлечься атеист? А от проповедей Джона Донна прямой путь и к «Нравственной Библии», и к сборнику «Зерцало величия», вышедшему в Лондоне в 1612 году.

Прочитайте «Медитации и молитвы» Джона Донна, а потом перечитайте «Большую элегию Джону Донну» — и перестаньте говорить после этого о нехристанстве Иосифа Бродского. В интервью он отмахивался, особенно в Америке, от пристававших журналистов, халтурил, говорил всякую чепуху. Хотите узнать правду — читайте его поэзию. О Джоне Донне он говорил: «У Донна мне ужасно нравится этот перевод небесного на земной, то есть перевод бесконечного в конечное». «Большая элегия Джону Донну» не просто проникнута духом христианства, а явно написана богословски образованным человеком. Атеист или агностик так не напишет:

Все крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.

А гончие уж мчат с небес толпою.
«Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай…»

Впрочем, о христианстве своем он говорил еще на суде над ним. Судья Савельева весной 1964 года спрашивала его: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» Бродский отвечал: «Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?» Судья: «Не пытались ли вы окончить вуз, где готовят поэтов?» Бродский: «Я не думал, что это дается образованием. Я думал, что это… от Бога».

Я мало в чем согласен с Валерией Новодворской, но о Бродском она как филолог высказала верную мысль: «Стихи Бродского в нашем Храме — воздушное кружево, опасная, бездонная готика, пространство, зеркала, бездны. Он сродни Мандельштаму, чья плоть переходит в состояние мысли. Как у элементарной частицы. Закон неопределенности Гейзенберга: или движение, или масса. Массы у Бродского нет, как и у Мандельштама. Высший пилотаж. И тут же — зрелая, холодная, злая, сверкающая сатира, которой научили бесхитростного, доброго человека решившие извести его фараоны города Ленинграда».

Разве что я отделил бы его сверкающую сатиру от бездонной готики, сатира-то как раз имеет дно, и обычно двойное, как и его эпиграммы. Но мы же Пушкина и Лермонтова ценим отнюдь не за их эпиграммы, хотя и отдаем им должное. Здесь уж у Валерии Ильиничны прорвалась ее политическая позиция: не удержалась, решила и Бродского накрепко привязать к либералам. Никак не получится.

Впрочем, известный бродсковед Валентина Полухина как-то заметила на радио «Эхо Москвы»: «Все поэты — еретики, все они сомневаются в существовании Бога, допрашивают его, грешат

перед ним, хулиганствуют… Они по природе своей… потому что само творчество противоречиво и со всем несогласно… Все поэты еретики, все. Большие, я имею в виду, поэты. Большие поэты — все. Даже очень верующие официально поэты, они еретики». В каком-то смысле это так и есть. Но Иосиф Бродский скорее в жизни позволял себе еретичность, иногда чрезмерную, в поэзии — никогда. Там у него Рай и Ад, там царят пророческие высказывания и мысли о родине: «А что касается „Комедии Дивины“… ну, не знаю, но, видимо, нет — уже не напишу. Если бы я жил в России, дома, — тогда…»

Для своей единой и цельной «Божественной комедии» ему не хватало родины. В одном из последних стихотворений он писал с предельной откровенностью:

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.
<…>
И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито,
и за отверстие поблагодарит меня.

Я думаю, здесь и заключались величие его замысла, сила его честолюбия. Он готов был идти навстречу смерти, признавая ее вечную связь с жизнью, это тоже входило в его замысел: «Взглянем в лицо трагедии». То есть в лицо своей смерти.

ИОСИФ ИЗ БРОД

Поэт не раз вспоминал, что древний род Бродских идет из Галиции, из города Броды, принадлежавшего то Российской империи, то Австро-Венгерской, то Речи Посполитой, то Советскому Союзу. Бродского тянуло на эту свою «историческую родину», в старинный городок с богатым прошлым. Есть даже какие-то косвенные сведения, что в своих кочевьях по Советскому Союзу он побывал в Бродах. По крайней мере, для меня очевидно, что дух галицких Брод, еврейский юмор, скепсис, даже унылая ирония, передались ему во всей полноте. Лев Лосев, друг и биограф Бродского, неизменно заверял, что поэт считал всю Украину, включая и свои Броды, общим культурным пространством с Россией.

В своей книге о Бродском Лосев пишет: «Здесь надо упомянуть еще и ностальгическую симпатию Бродского к ушедшему миру центральноевропейской культуры. Она проявлялась в его любви к польскому языку и польской поэзии, к романам из австро-венгерской жизни Роберта Музиля и Йозефа Рота, даже к голливудской сентиментальной мелодраме „Майерлинг“ о двойном самоубийстве эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной, баронессы Марии Вечера. Южным форпостом этой исчезнувшей цивилизации был, „в глубине Адриатики дикой“, Триест, одно время резиденция другого австрийского эрцгерцога — Максимилиана, которому Бродский посвятил два стихотворения „Мексиканского дивертисмента“. Северо-восточным — описанный Йозефом Ротом в „Марше Радецкого“ галицийский городок Броды на границе Австро-Венгерской и Российской империй. Мотив этой прародины лишь подспудно звучит в нескольких стихотворениях Бродского („Холмы“, „Эклога 5-я (летняя)“, „На независимость Украины“), и лишь однажды он сказал об этом вслух, в интервью польскому журналисту: „Польша — это страна, к которой — хотя, может быть, глупо так говорить — я испытываю чувства, может быть, даже более сильные, чем к России. Это может быть связано… не знаю, очевидно что-то подсознательное, ведь, в конце концов, мои предки, они все оттуда — это ведь Броды — отсюда фамилия…“ Из этого сбивчивого высказывания становится ясно, что он ощущал этимологию своего имени: „Иосиф из Брод“».

Необходимо отметить определенное лукавство Бродского. Конечно же, он прекрасно знал, что Броды в его время находились в Львовской области, на территории советской Украины, а не в Польше, и не раз в истории переходили из рук в

руки. Но его с юности тянуло к Центральной Европе, он воспитывался на польской культуре, и он осознанно решил ассоциировать свои Броды именно с Польшей. Польшу он любил заочно, с юности, а к Украине никаких чувств не испытывал.

По поводу его возможной поездки в Броды Лев Лосев замечает: «Бывал ли Бродский в Бродах? Я никогда не слышал от него о поездках на Украину и полагал, что он видел ее только из окна поезда по дороге в Крым или Одессу. Однако в недатированной открытке родителям из Милана (хранится в музее Ахматовой в Петербурге) Бродский, сообщая, что зашел взглянуть на „Тайную вечерю“ Леонардо, добавляет: „Помню, видел я впервые изображение этого ‘Делового ужина’ в Млинах, в саду с чудными желтыми сливами“. „Млин“ — мельница, нередкий топоним на Украине. Есть населенный пункт с таким названием и неподалеку от Брод». Значит, можно допустить и его поездку в Броды. Но даже если он и ездил в Броды, что-то его в той поездке не устроило: столь примечательный, полный памятниками древности городок, к тому же его историческая родина — и ни одного стихотворения о нем.

О древности этого города говорит уже то, что первое письменное упоминание о Бродах зафиксировано еще в 1084 году в «Поучении Владимира Мономаха». Городок и тогда уже находился на границе Галицкого и Волынского княжеств. В 1441 году Броды переходят во владение польского шляхтича Яна Сенинского. С 1511 года они принадлежат Каменецким — подольским воеводам. В 1584 году Броды покупает Станислав Жолкевский, белзский воевода. Он получил от короля Стефана Батория соизволение на основание города с магдебургским правом, назвав его Любич в честь фамильного герба. Но название не прижилось, и уже через десять лет город вновь превращается в Броды. В 1629 году Броды переходят от Жолкевских к Станиславу Конецпольскому, который в 1631 году занимает должность великого коронного гетмана Речи Посполитой (третье лицо в Польше после короля и канцлера) и превращает Броды в свою резиденцию. По проекту французского инженера де Боплана, под наблюдением Андреа дель Аквы, Броды превращаются в город-крепость. Оборонную систему города увенчивал Бродский замок, расположенный на западной окраине. Город был серьезной военной крепостью поляков в ходе войны с казаками Богдана Хмельницкого, противостоял и туркам во второй половине XVII века.

В XVI веке в городе Броды поселилось семейство Твиас-Шор, которое дало местному еврейскому обществу немало известных раввинов, философов и торговцев. Считается, что

родоначальником рода Бродских был раввин Меир Твиас-Шор. В начале XIX столетия он перебрался из галицких Брод в городок Златополь под Киевом и там взял себе фамилию Бродский, на память о родовом гнезде. Меир был правнуком Сендера (Александра) Твиас-Шора — раввина, жившего в конце XVII века. Меир Бродский стал основателем династии сахарозаводчиков. Фамилия Бродский для России навсегда связана с поэтом Иосифом Бродским, однако на Украине, особенно в Киеве, услышав ее, скорее подумают о знаменитых сахарных королях Бродских.

В двадцатых годах прошлого века даже поговорка по Руси ходила: сахар — Бродского, чай — Высоцкого, Россия — Троцкого. Впрочем, так же привычно брали себе фамилию в честь родного городка и многие другие выходцы из еврейских местечек: Слоним — Слонимский, Слуцк — Слуцкий, Шпола — Шполянский… Иосиф Бродский вполне мог развивать эту тему со своим первым наставником, известным советским поэтом Борисом Слуцким.

Таким образом, из Брод вышли и распространились по России, Польше и всей Европе не только сахарозаводчики, но и музыканты (Вадим Бродский), художники (назову сразу двоих: сталинский лауреат, прекрасный портретист Исаак Бродский и книжный график Савва Бродский), физики и химики (Александр Бродский)… Но наиболее прославил эту фамилию нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

С XVI по XX век Броды несомненно являлись одним из главных центров еврейства Центральной Европы. В первой половине XVI века город был одной из сильнейших крепостей Речи Посполитой, воевать приходилось почти непрерывно, но и торговать тоже. Гетман Конецпольский для ускорения экономического развития города пригласил в Броды евреев и армян. Со времен этого гетмана и стали Броды «еврейской столицей» Восточных Кресов. Город расположен в пределах Бродовской равнины, через его южную часть протекает небольшая речка Бовдурка, правый приток Стыра. До 1918 года Броды находились на самой границе двух империй, между австро-венгерской Галицией и русской Волынью. Место неспокойное, но выгодное: оживленная экономическая зона, раздолье для международной торговли.

В конце XVII века Броды почти полностью выгорели, и местные евреи получили привилегию от Якуба Людвика Собеского, сына короля Яна III. В выданной им грамоте сказано, что «основываясь на прежних правах и привилегиях, данных евреям города Броды нашими предшественниками, погибших,

однако, в огне, и питая особое расположение к евреям, мы задумали сохранить за ними те права и привилегии, которые они (евреи) представили нам и нашим комиссарам». Евреям разрешалось строить дома для жилья, синагоги и училища повсюду в городе, на всех улицах, равно как на рынке; евреям давалось право огораживать синагогу и кладбище, не нанося этим, однако, ущерба правам и установлениям римско-католической церкви; им было дозволено построить баню, бойню и мясную лавку на рынке, «каковою они владели с давних пор». Лавки их могли торговать всегда, за исключением дней католических праздников и воскресений до вечерни; освобождались от налогов и постоев дома раввина и кантора, школа и богадельня. Все евреи были свободны от каких бы то ни было тяжелых полевых и садовых работ для надобностей замка или города; в городских расходах они обязаны участвовать лишь третьей долей (33 процента), ввиду платимой ими Речи Посполитой подушной подати. Самоуправление, данное еврейской общине, вместе со свободой торговли привлекало в Броды многих евреев из тогдашней Польши и России.

После раздела Польши Броды отошли к Австрии. Этот город, расположенный на самой границе между Австрией и Россией, принадлежащий то одной, то другой империи, иногда возвращавшийся в лоно укрепившейся Речи Посполитой, самим местонахождением притягивал к себе предприимчивых торговых людей. При этом он всегда был преимущественно еврейским. Император Австрии Иосиф II, посетивший Броды в 1774 году, сказал: «Теперь понятно, почему я зовусь иерусалимским королем» (один из титулов австрийских императоров). Пребывание императора в Бродах имело важное последствие: декретом Иосифа Броды были объявлены вольным торговым городом, что быстро отразилось на благосостоянии жителей. Сто лет длилась эта эпоха, благодатная и для вольного города, и для всех евреев. Торговали с Германией и Италией, Россией и Турцией. Самым лакомым оказался период правления в Европе Наполеона, совпавший с открытием Одесского порта. После поражения армий антифранцузской коалиции под Аустерлицем Наполеон Бонапарт навязал России и другим побежденным странам, в частности Австрии и Пруссии, эмбарго на поставку английских товаров в Россию и российского зерна в Англию. Нехватка зерна в самой Англии и отсутствие поставок из России, по мнению Наполеона, должны были сделать английское правительство более сговорчивым с завоевателями-французами. Однако Александр I информировал Англию, что он всей душой с нею и эмбарго английских колониальных товаров будет

номинальным, а границы останутся прозрачными.

Двадцать восьмого октября 1807 года Александр I подписал манифест по случаю разрыва с Англией торговых соглашений и конфискации всех английских товаров и складов английских купцов, расположившихся в Российской империи. Однако тайные заверения, которые Александр I дал английскому правительству, полностью выполнялись. Дороги между Одессой и еврейским местечком Броды были открыты для английских товаров, не обложенных таможенной пошлиной. Возникли крупные контрабандные шайки, которые промышляли провозом разнообразных товаров из Одессы через Броды в Австрию, Венгрию, Польшу, Пруссию и другие страны, вплоть до Франции. Из маленького еврейского местечка Броды, благодаря Наполеону и его эмбарго, стали богатым городом с высоким уровнем жизни ранее бесправного и нищего еврейского населения. Там появились первые богатые купцы — Шендерович, Сандошурский, Рошковский, Бродский. Согласно манифесту Александра I, они имели преимущество в ведении торговли во всех губерниях великой Российской империи. Особенно отличался Бродский; он и его компаньоны переехали в Одессу, организовали торговый дом. Компания Бродского, разумеется, занималась не только контрабандой, но и различными торговыми сделками.

Бродские евреи были «европеизированы» в гораздо большей степени, чем их русские собратья, и это привело к тому, что обосновавшиеся в Одессе бродчане в 1841 году решили создать свою собственную синагогу. Ее выстроили в Одессе, на пересечении улиц Жуковского и Пушкинской. Почти сто лет Бродская синагога по адресу улица Жуковского, 18, служила не только домом молитвы, но и культурным центром одесской еврейской интеллигенции. Сейчас это уникальное здание находится в стадии полного запустения и, похоже, в скором времени исчезнет совсем. Впрочем, и евреев в Одессе осталось немного…

Броды трудно было назвать польским или русским городом, а украинцев как нации тогда не существовало вовсе. В 1779 году евреи составляли половину населения города, в 1826 году здесь проживало 16 315 евреев (89 процентов населения), в 1880 году — 15 316 евреев (76,3 процента населения города), в 1921 году, по данным польской переписи, в Бродах было 7202 еврея (66,3 процента). После Первой мировой войны и Октябрьской революции Броды вновь отошли к Польше, а в сентябре 1939 года при разделе Польши Броды перешли к СССР. Это лишь ненадолго отсрочило трагедию местных евреев: вскоре после оккупации города в июле 1941-го все, кто не успел бежать, были загнаны в

гетто, а позже вывезены в лагерь Майданек и там уничтожены. В июле 1944 года под Бродами в первый раз в бой с частями Красной армии вступила дивизия СС «Галичина». В упорных боях она нашла свой бесславный конец, хотя бандеровские банды еще долго орудовали в окрестностях города. Сегодня в Бродах живут всего около 20 тысяч жителей, но в этом старинном городке можно и сейчас снимать любые исторические сериалы. Через Броды проходят важные железнодорожные и автомобильные магистрали, нефтепроводы «Дружба» и «Одесса — Броды».

В городе родилось немало известных людей, еще больше ведут отсюда свою родословную. Здесь жили и предки Исаака Бабеля, прошедшего через Броды с Первой конной. В знаменитой «Конармии» он писал: «Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами… На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге… О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог…»

О предках Бабеля по материнской линии, передавших писателю непревзойденный еврейский юмор, уходящий корнями в город Броды — столицу евреев Галиции, — надо упомянуть особо. В первые десятилетия XIX века в Одессу переселилось множество галицийских евреев: купцы, старьевщики, портные, торговцы вразнос, сапожники, меламеды, ювелиры, шамесы, извозчики, булочники и люди безо всякой профессии, надеявшиеся, однако, на новую жизнь, благополучие и удачу в молодом, растущем и богатеющем на глазах городе…

В 1818 году из города Броды в Одессу приехал семнадцатилетний Мозес-Фроим Лейзеров Швехвель, кое-как обустроился, а затем женился на своей ровеснице Фейге. Эти бродские евреи Мозес-Фроим и Фейга и приходятся прадедом и прабабкой по материнской линии Исааку Бабелю. Родившаяся в 1841 году его бабка Хая-Лея нигде и ничему не обучалась, по-еврейски читать-писать не умела, но была прекрасным бродским рассказчиком.

Так и передавались по наследству Исааку Бабелю и Иосифу Бродскому легенды и мифы мудрых бродчан. Я читаю в дневнике Бабеля 1920 года, на котором основана «Конармия»: «Как хорошо,

что у нас остались хоть камни». Камни остались в Бродах, остались старинные еврейские кладбища, остались развалины синагог и католических храмов, руины православных соборов, величественные контуры польских замков.

Протоиерей Андрей Ткачев в своей статье об Иосифе Бродском написал: «Долгая боль, не желающая прекращаться, — вот что приходит мне на мысль при произнесении фамилии Бродский. При этом сама фамилия не виновата. Евреев с родственными корнями, уходящими в городок Броды в Галиции, очень много. Биографии многих из них любопытны и вызывают весь спектр эмоций от уважения до иронии. Печаль рождает только поэт, родившийся в Петербурге, сказавший однажды:

> Ни страны, ни погоста не хочу выбирать.
> На Васильевский остров я приду умирать.

Печаль эта лично для меня многократно усиливается от невозможности поминать имя Иосифа у Чаши. Будь он православным, я отказался бы от чтения его стихов в пользу неизмеримо лучшего способа общения с его душой при Евхаристии… Нечто подобное пережил сам Бродский, который был зачарован поэзией Донна. Известный многим благодаря своей сентенции о колоколе, который „звонит по тебе“, сентенции, вынесенной Хемингуэем в эпиграф романа „По ком звонит колокол“, Донн был и впрямь фигурой незаурядной… Донн — священник, настоятель собора Святого Павла в Лондоне. От подобной поэзии рукой подать до христианства как такового. Сам Донн в зрелые годы перестал писать стихи, счел их юношеской забавой и сконцентрировался на проповедях, став одним из блестящих проповедников эпохи. Я вспоминаю об этом и в который раз думаю о том, что расстояние от Иосифа Александровича до богословия в какой-то момент было меньше вытянутой руки… Еще Бродский напорист. Он вгрызается в языковую ткань с упорством голодной мыши, вгрызающейся в сыр. Поэт любил повторять слова У. Одена о том, что поэты — это органы существования речи. Через поэтов язык жив, и язык сам, как некое лично живое существо, выговаривает прячущиеся в нем идеи… Бродский говорил, что именно язык рождает поэтов и поэзию, а не наоборот. От этой теории веет настоящим шаманизмом, но в случае с Бродским она работает. Поэт грызет языковую ткань. Он, словно кит, пропускающий сквозь себя десятки тонн воды ради планктона, пропускает через мозг и сердце речь, и благодарная речь шифруется в шедевры.

Упорство, необходимое для подобного шаманства, Бродский

берет из крови, точнее, еврейской крови…»

Читая эту глубокую статью русского священника, я подумал, что именно гены города Броды, вынуждающего своих жителей овладевать многими языками и для спасения во время оккупаций, и для мирной торговли, привели в итоге к карнавальности Иосифа Бродского. Так Броды находили брод к умственному развитию своих выходцев. Броды приучали к нежеланию петь хором.

Думаю, поэту Иосифу Бродскому интересно было бы побродить среди развалин замков, крепостей, среди средневековых синагог, костелов, православных храмов. Пройтись по улице Золотой и по майдану Свободы, по улице поэта Мицкевича, возложить цветы к памятнику польскому писателю Коженевскому. А вот памятник Михаилу Кутузову поэт сегодня уже бы не застал: его под крики «слава Украине!» снесли под корень нынешние незалежники. А ведь не случайно памятник славному русскому полководцу появился в Бродах: когда-то под этим городом отличились в польском походе Суворова и сам Кутузов, и его сподвижник, Петр Иванович Багратион. В 1915 году, во время Первой мировой войны, Броды посетил император Николай II. Интересно, что в городе некоторое время находился штаб Первой конной армии Семена Буденного, а в 1944 году опять же в лесу под Бродами бандеровцы убили знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова, героя книги «Это было под Ровно». В том же 1944 году советский ас, Герой Советского Союза Петр Иосифович Гучек в небе над Бродами сбил два немецких самолета, а третий протаранил. Так что память о себе в Бродах оставили и поляки, и русские, и немцы, и евреи, и даже турки с татарами, только украинских достопримечательностей здесь днем с огнем не найдешь. Да и откуда, если еще в 1939 году украинцы составляли всего десять процентов населения Брод!

За тысячелетнюю историю приграничного города и Австро-Венгерская, и Российская империи, и Речь Посполитая оставили свои зарубки, народили славных сынов и дочерей. Среди бродчан и знаменитый историк Отто Хауснер, и польский писатель Юзеф Коженевский, и один из основателей хасидизма Гершон бар Авраам Кутовер, и знаменитый советский разведчик, работавший в Берлине и Париже, а похороненный аж в Швейцарии Морис Бардах, и израильский писатель Садан Дов (Берл Шток), и Йозеф Рот, которого так ценил Иосиф Бродский. Этот австрийский писатель, знаменитый своим романом-хроникой о Габсбургской империи «Марш Радецкого», который включен в двадцатку лучших романов на немецком языке и дважды экранизирован, родился в Бродах, учился во Львовском и в Венском

университетах, воевал в Первую мировую войну, после ее окончания работал в немецких газетах и писал сатирические романы о жизни послевоенной Европы. Бежал от нацистов во Францию, последние годы сильно пил и нищенствовал. В 1939 году покончил жизнь самоубийством. Думаю, что его бродское происхождение стало одной из отправных точек для интереса Иосифа Бродского, так же как и происхождение Исаака Бабеля.

На Украине Бродский чуть не стал киноактером. В 1971 году режиссер Вадим Лысенко пригласил его сыграть в фильме «Поезд в далекий август» секретаря Одесского горкома КПСС Наума Гуревича. Фильм рассказывал об обороне Одессы во время Великой Отечественной войны. Может быть, во время съемок фильма поэт и ездил из Одессы в свои Броды? Когда съемки были завершены (уже отсняли и хроникальные кадры прибытия героев обороны в город, и их встречу с одесситами 30 лет спустя, и заседание штаба обороны с участием Бродского и Джигарханяна, сыгравшего роль разведчика), вдруг раздался звонок из Киева: потребовали срочно показать в Госкино Украины отснятые материалы. Приказали переснять все кадры, где присутствует Бродский ввиду «несоответствия между важными политическими задачами фильма и неблагонадежностью неизвестного поэта».

Режиссеру Вадиму Лысенко пришлось взять на роль Гуревича другого актера. Однако Лысенко переснял с участием нового актера только крупный план. На среднем и дальнем плане остался Иосиф Бродский, но его фамилию пришлось выбросить из титров. Может, с тех пор и невзлюбил поэт украинских чиновников? Может, поэтому и относил свою историческую родину не к Украине, а к Польше? Он наверняка знал, что при поляках Броды сохраняли свой еврейский облик, а в советской Украине от него остались одни воспоминания. Впрочем, точно так же исчезли из города и поляки, и русские. Многовековая столица галицкого еврейства, колыбель всех Бродских, на сегодня полностью лишена привычного интернационального облика. О евреях напоминают лишь развалины древней синагоги и древнее еврейское кладбище.

Иосифа из Брод этот город по наследству приучил к мастерству своего дела, к вечной благодарности миру и спокойной иронии в самые трудные минуты жизни.

«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»

Родился Иосиф Бродский 24 мая 1940 года в клинике профессора Тура, что на Выборгской стороне. К началу Великой Отечественной войны ему было чуть больше года. И отец его Александр Израилевич Бродский, и мать Мария Моисеевна Вольперт происходили из образованных еврейских семей. Предки отца родом из Брод, предки матери — из нынешней Латвии. Александр Израилевич Бродский родился в семье владельца типографии, любить и уважать книги приучился с малых лет. Позже родители содержали часовую мастерскую. Мать поэта Мария Моисеевна Вольперт родилась в Двинске (ныне Даугавпилс) в семье торгового агента по продаже знаменитых швейных машинок «Зингер», обучилась на бухгалтера, а ее сестра Дора Моисеевна стала актрисой БДТ и Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

«Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса — мои изобретения… „Не смейте называть меня так! — восклицала она сердито. — И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!“ Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за внешности. Она была определенно очень привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибалтийским обликом», — писал о маме Иосиф Бродский в своем знаменитом эссе «Полторы комнаты», целиком посвященном его ленинградскому детству и его родителям.

Ему самому с его стопроцентным природным еврейством просто невозможно было никем притворяться. Тем более и картавил он очень уж характерно, и внешность была ярко выраженная. Как позже не раз вспоминал в своих интервью Иосиф Бродский: «Впрочем, все и так сразу определяют, еврей ты или нет. Русские прекрасно умеют это различать. Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но такое случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я „р“ не выговариваю…» И далее: «Я абсолютный, стопроцентный еврей, то есть, на мой взгляд, быть евреем больше, чем я, уже нельзя. Здесь всё — и мать, и отец, и т. д. и т. п.».

Он с детства носил в себе эту отметину и постепенно привык никак не реагировать на «пятый пункт». «Понимание того, что я еврей, пришло ко мне довольно рано. Мою семью ничто не

связывало с иудаизмом, абсолютно ничто. Но у системы был способ заставить человека осознать свою этническую принадлежность. В Советском Союзе есть удостоверяющий документ — паспорт, в котором указываются ваши имя, фамилия, место рождения и национальность… В школе быть евреем означало постоянную готовность защищаться. Когда меня называли „жидом“, я лез с кулаками. Я вообще довольно болезненно реагировал на подобные „шутки“, воспринимал их как личное оскорбление. Меня задевало, что я — еврей. Теперь не нахожу в этом ничего оскорбительного, но такое отношение пришло позже… Когда я работал на заводе, даже когда сидел в тюрьме, я удивительно мало сталкивался с антисемитизмом. Сильнее всего антисемитизм проявлялся у литераторов, интеллектуалов. Вот где к национальности действительно относятся болезненно, ведь от пятого пункта зависит карьера…»

В 1947 году Иосиф пошел в школу № 203 на Кирочной улице, 8. В 1950 году он перешел в школу № 196 на Моховой улице, а в 1953 году поступил в седьмой класс в школу № 181 в Соляном переулке… и был оставлен, как двоечник, на второй год. Подал заявление в морское училище подводников, но не был принят. Перешел в школу № 289 на Нарвском проспекте, где продолжил учебу в седьмом классе. На семи классах его образование и закончилось. Впрочем, какое-то время он походил в восьмой класс в 191-ю школу, но недоучившись, где-то в апреле пошел на завод «Арсенал» учеником фрезеровщика. Там проработал восемь месяцев, затем ушел работать санитаром в морг. Более чем оригинальная биография для интеллигентного еврейского мальчика. Представляю, как, с каким ужасом на все эти скитания по школам и моргам смотрели его родители. Когда отец Иосифа слег с инфарктом, летом 1957 года Бродский по его настоянию срочно «свалил из морга».

Кто из моих сверстников помнит то время, 1950–1960-е годы, тот знает: все родители мечтали, чтобы их дети получили сначала среднее образование, затем обязательно поступили в институты и т. д. Такое варварское отношение своего сына к учебе родителей Иосифа более чем бесило. Кочегар в бане, матрос на маяке, разнорабочий и т. д. — самые грязные и непрестижные работы. Такое поведение очень сильно раздражало отца — офицера, капитана 3-го ранга. Как вспоминает Бродский: «Родители столько ругали меня, что я получил настоящую закалку против такого рода воздействий. Все неприятности, которые причинило мне государство, не шли с этим ни в какое сравнение».

В то время, когда его будущие друзья Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев уже учились в

Технологическом институте, Бродский проходил свои университеты в северных экспедициях. Какое уж тут тунеядство — я сам бывал пару раз в юности разнорабочим в экспедициях и представляю, какая тяжелая работа доставалась Иосифу. Не геологам же землю копать, ящики таскать, теодолиты носить; для этого есть разнорабочие: или алкаши, или выпущенные зэки, или такие, как Бродский, независимые юноши.

Интересно, что свою северную экспедицию летом 1957 года Бродский проходил на станции Малошуйке Архангельской области. Именно там когда-то моя семнадцатилетняя мама, школьная учительница, встретила моего отца, освобожденного зэка, который там же и остался работать, даже руководил строительством дороги от Мурманска до Вологды, позже спасшей всю страну. Не будь этой рокадной дороги, как бы союзники доставляли грузы из Мурманска на фронт, если путь через Карелию был перекрыт финнами? В этих местах Бродский работал в геологической партии, проходя в день до 30 километров, да еще по заболоченной местности, да еще с грузом в руках и на плечах. Нет, никак такой труженик в тунеядцы не годится — судью бы Савельеву отправить с теодолитом в руках через болота! Потому и была для Иосифа позже северная ссылка местом отдыха и активного творчества. А может быть, это было предначертано Богом? Северный край и вырастил для нас этого гигантского поэта.

Но я не случайно подчеркивал: оба родителя его были не просто из еврейских, а из интеллигентных еврейских семей. В сороковые годы XX века это уже много значило. Были же во множестве перекочевавшие в столичные города выходцы из глухих местечек Белоруссии и Волыни, где и культура была другая, а проще говоря — никакая. Для примера напомню высказывание Сергея Есенина, что и Клюев, и он сам — выходцы из верхнего, книжного слоя крестьянства, хотя для советских анкет они и указывали свое простое крестьянское происхождение. Все-таки прежде, чем появиться яркому таланту, необходимо пройти несколько ступеней культурного развития. Сразу из грязи да в князи ни у кого не получалось. Из еврейских ли местечек, из русских ли деревень, но в культуру чаще всего шли уже подготовленные люди. Хоть и происходил Иосиф родом из галицких Брод, но от своих местечковых предков ушел далеко.

Отец Бродского, Александр Израилевич, получил два высших образования: сперва окончил географический факультет Петроградского университета, затем Институт красной журналистики. Любил читать, был большим любителем истории. Иные мемуаристы и исследователи творчества Бродского

изображают Александра Израилевича (позже он стал называться Иванович) обычным службистом, простым советским «винтиком». Это далеко не так. Одна его восточная коллекция разбивает все домыслы о примитивном офицере-сталинисте. Озабоченные бытом офицеры везли домой не изысканный китайский фарфор и бронзу, а более прозаичные вещи. Зачем службисту, например, тяжеленная бронзовая джонка, хранящаяся ныне в музейной комнате Бродского в Петербурге? Сыну было с кого брать пример. Мать, Мария Моисеевна, свободно общалась на французском, идише и немецком. Бродский вспоминает, как «мать, в желто-розовом крепдешиновом платье, на высоких каблуках, всплескивает руками и восклицает: Ach! Oh wunderbar! — по-немецки, на языке ее латвийского детства». Было от кого перехватить культуру.

В большинстве и наших, и зарубежных биографий Бродского с этого начинают: родился в еврейской семье. На этом и останавливаются. Но тогда не понять ни имперскость поэзии Бродского, ни его величие замысла. Я же продолжу…

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в семье советского морского офицера. Поверьте мне, в те годы для воспитания и мышления ребенка эта, вторая сторона медали значила куда больше, чем первая, национальная. Думаю, что детство Бродского прошло под большим влиянием, пусть и неявным, морского офицерства его отца. Недаром он и сам, уже после окончания семилетки, хотел поступить в училище подводников. Отец воевал на финской войне, затем на Великой Отечественной, позже был отправлен в Китай, где и прослужил фотокорреспондентом до 1948 года. Вернулся с китайскими трофеями: кроме упомянутой бронзовой джонки были кимоно, фарфоровые сервизы, был и чемодан, с которым Иосиф уехал в эмиграцию — сейчас он стал частью памятника поэту.

Друг детства Оси Бродского, живший в соседнем доме Мирсаид Сапаров вспоминает: «Наши отцы работали в одной системе. Отец Оси, Александр Иванович, был фотографом. Много снимал блокадный Ленинград. Кстати, до сих пор не понимаю, почему никому в голову еще не пришло сделать выставку его фотографий, поскольку большинство известных блокадных снимков — его работа. После войны он сначала работал завфотолабораторией в Центральном военно-морском музее. А потом фотокорреспондентом в газете „Советская Балтика“. А мой отец, Ариф Сапаров, после войны, в 1947 году, написал знаменитую документальную повесть „Дорога жизни“, которую проиллюстрировал фотографиями Александра Бродского».

Они оба родились в 1940 году, в мае, с разницей в 20 дней,

жили рядом, пошли учиться в одну, 203-ю школу имени Грибоедова, вместе раскачивались на цепях ограды Спасо-Преображенского собора, играли в Летнем саду, лечились в одних детских поликлиниках и даже ездили в одни и те же пионерские лагеря Порткоммора. Мирсаид Сапаров прекрасно помнит общее детство: «Александр Иванович служил на флоте и очень любил флот. Он даже на гражданке ходил в кителе и фуражке. Другим я его даже представить себе не могу. Когда я приходил к Осе в гости, его мама, Мария Моисеевна, могла быть в платье, в халате, а Александра Ивановича помню только в кителе. И эта любовь к флоту от отца перешла к сыну. Помните, Бродский писал в очерке „Полторы комнаты“: „По глубокому моему убеждению, за вычетом литературы двух последних столетий и, возможно, архитектуры своей бывшей столицы, единственное, чем может гордиться Россия, это историей собственного флота. Не из-за эффектных его побед, коих было не так уж много, но ввиду благородства духа, оживлявшего сие предприятие“. Он мечтал стать капитаном дальнего плавания. А я его разубеждал. Я через своего отца имел довольно прозаическое представление о буднях моряков и говорил Осе, что работа капитана тяжела и однообразна, что она скучна и что надо выбирать творческие профессии. „Какие это?“ — спрашивал Ося. „Можно, например, стать писателем“, — отвечал я ему…»

Может быть, насчет писательства Мирсаид и присочинил нынче, изображая себя чуть ли не пророком, но детали общего детства он помнит отчетливо. «Мы вместе пошли в 203-ю школу, рядом с кинотеатром „Спартак“. И он пошел в первый класс в длинных брюках. Это была заслуга его матери. Мария Моисеевна была бухгалтером, но подрабатывала шитьем. Я часто видел ее за швейной машинкой, когда приходил к Бродским. И она сшила ему пару длинных черных брюк, в которых он и ходил. А мне отец привез тогда из Германии короткие „тирольские“ штаны, которые зимой надо было носить с чулками. Как я ненавидел эти штаны, эти чулки, и как я завидовал Осе!.. (Такие детали не придумаешь! — *В. Б.)*

Мы шатались по городу. Я уже переехал на Мичуринскую улицу, а все равно встречались. Могли просто встать посреди двора и разговаривать. Иногда ходили в Дом офицеров, в школьный зал публичной библиотеки. Там тоже разговаривали, иногда спорили. Часто ходили в кино. Тогда в „Спартаке“ показывали трофейные фильмы. Одни названия чего стоят — „В сетях шпионажа“, „Девушка моей мечты“… Я не ходил на фильмы „про любовь“. Смотрел только про войну. А Ося смотрел и про любовь. Ему, например, понравился фильм „Дорога на эшафот“ (о

Марии Стюарт). Его взволновала там тема любви и преданности. Потом он даже написал цикл „Двадцать сонетов к Марии Стюарт“, посвященный этой картине. Кстати, я составил список фильмов, которые мы смотрели с Бродским в разные годы: с сорок седьмого по семидесятый… Среди этих картин столько бесспорных шедевров…»

Иосиф запомнился Мирсаиду не только черными брюками, но и своей очаровательной рыжиной, которой ни у кого другого не было. Помнит он и начало увлечения стихами, где-то с седьмого класса, и даже его первые откровенно советские строчки: «Шагать до седьмого пота. Такая у нас работа». В 1955 году семья Бродских переехала в знаменитый дом Мурузи, где и образовались «полторы комнаты». Ося делился с другом Мирсой впечатлениями от книг, от встреч с поэтами. Рассказывал то о гениальном Глебе Горбовском, то о Жене Рейне. «Помню, мы сидим в эркере и рассматриваем репродукцию Модильяни, которую подарила Осе Оля Бродович. Рядом ходит Александр Иванович и ворчит — мол, сидят два идиота… И передавал слова, якобы сказанные ему Малевичем (а Александр Иванович был близко знаком с этим и другими художниками): „Я дурачу идиотов, поскольку это им жизненно необходимо“…»

Очевидно, от отца и перенял юный Иосиф Бродский нелюбовь к крутому авангарду что в живописи, что в поэзии, так и остался до конца дней своих традиционалистом. От отца пошла и любовь к морю, к морскому Андреевскому флагу. «Когда я был ребенком, я много чего хотел. Во-первых, я хотел стать военным моряком или, скорее, летчиком. Но это отпало сразу, потому что по национальности я еврей. Евреям не разрешали летать на самолете. Потом я решил пойти в училище для моряков-подводников. Мой отец во время войны служил на флоте, и я был влюблен в морскую форму…»

В училище для моряков-подводников Иосиф Бродский и на самом деле пробовал поступить. В одних эмигрантских интервью он говорит, что не был принят из-за здоровья, в других ссылается на свое еврейство. Всё могло быть и так, и так. Но мне приходилось как журналисту плавать в северных морях на подводной лодке, и я заметил: среди офицеров-подводников было немало евреев. Для такой службы необходимы хорошо подготовленные люди, грамотные специалисты, и потому, насколько я понимаю, на «пятый пункт» особого внимания не обращали. А вот здоровье у Иосифа и на самом деле было слабовато. Да и рост — 172 сантиметра — великоват для подводника.

Жаль, что не поступил: поэтом все равно бы стал — от судьбы

не уйти, но поэзия была бы более боевая и романтическая, как у Лермонтова или Гумилева. Впрочем, влияние войны несомненно сохранилось в его поэзии:

Кошмар столетья — ядерный грибок,
но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде,
иного ничего не бравши в рот,
мы умудрялись продолжать свой род,
твердили генералов имена,
и модно хаки в наши времена;
всегда и терпеливы и скромны,
мы жили от войны и до войны,
от маленькой войны и до большой,
мы все в крови — в своей или чужой.

Сам Иосиф Бродский о своем детстве не любил вспоминать: нормальное советское детство сына морского офицера, о чем тут говорить? «Русские не придают детству большого значения. Я, по крайней мере, не придаю. Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии». Я бы оспорил такие категоричные утверждения своего героя. Наверняка остались в памяти и военное детство, и отцовские трофеи, да и сами живые родители. В доказательство своей неправоты Иосиф Бродский и написал «Полторы комнаты»:

«Нас было трое в этих наших полутора комнатах: отец, мать и я. Семья, обычная советская семья того времени. Время было послевоенное, и очень немногие могли позволить себе иметь больше чем одного ребенка. У некоторых не было возможности даже иметь отца — невредимого и присутствующего: большой террор и война поработали повсеместно, в моем городе — особенно.

Поэтому следовало полагать, что нам повезло, если учесть к тому же, что мы — евреи. Втроем мы пережили войну (говорю „втроем“, так как и я тоже родился до нее, в 1940 году); однако родители уцелели еще и в тридцатые.

Думаю, они считали, что им повезло, хотя никогда ничего такого не говорилось. Вообще они не слишком прислушивались к себе, только когда состарились и болезни начали осаждать их. Но и тогда они не говорили о себе и о смерти в той манере, что вселяет ужас в слушателя или побуждает его к состраданию. Они просто ворчали, безадресно жаловались на боли или принимались обсуждать то или иное лекарство. Ближе всего мать

подходила к этой теме, когда, указывая на очень хрупкий китайский сервиз, говорила: „Он перейдет к тебе, когда ты женишься или…“ — и обрывала фразу…»

Ясно, что эту блестящую эссеистическую прозу Иосиф Бродский написал не ради воспоминаний о собственном детстве, а в память о своих уже ушедших в мир иной родителях. Так что благодаря Марии Моисеевне и Александру Ивановичу мы можем вполне отчетливо представлять годы детства самого поэта. Тоска по ним обостряла и его память: «Он пережил свою жену на тринадцать месяцев. Из семидесяти восьми лет ее жизни и восьмидесяти его я провел с ними только тридцать два года. Мне почти ничего не известно о том, как они встретились, о том, что предшествовало их свадьбе; я даже не знаю, в каком году они поженились. И я не знаю, как они жили без меня свои последние одиннадцать или двенадцать лет. Поскольку мне никогда не проникнуть в это, лучше предположить, что распорядок хранил обыденность, что они, возможно, даже остались в выигрыше в смысле денег и свободы от страха, что меня опять арестуют. Если бы не то, что я не мог поддержать их в старости, что меня не оказалось рядом, когда они умирали.

Говорю это не столько из чувства вины, сколь из эгоистического отчасти стремления ребенка следовать за родителями в течение всей их жизни; ибо всякий ребенок так или иначе повторяет родителей в развитии. Я мог бы сказать, что в конечном счете желаешь узнать от них о своем будущем, о собственном старении; желаешь взять у родителей и последний урок: как умереть. Даже если никаких уроков брать не хочется, знаешь, что учишься у них, хотя бы и невольно. „Неужели я тоже буду так выглядеть, когда состарюсь?.. Это сердечное — или другое — недомогание наследственно?“

Я не знаю и уже не узнаю, что они чувствовали на протяжении последних лет своей жизни. Сколько раз их охватывал страх, сколько раз были они на грани смерти, что ощущали, когда наступало облегчение, как вновь обретали надежду, что мы втроем опять окажемся вместе. „Сынок, — повторяла мать по телефону, — единственное, чего я хочу от жизни, — снова увидеть тебя. — И сразу: — Что ты делал пять минут назад, перед тем как позвонил?“ — „Ничего, мыл посуду“. — „А, очень хорошо, очень правильно: мыть посуду — это иногда полезно для здоровья“…»

О бесчисленных попытках Бродского вызвать родителей к себе в гости я еще вспомню, но его полторы комнаты уже навсегда останутся в истории русской и американской литературы. Там он начинал печатать свои стихи на трофейной, вывезенной из Китая

пишущей машинке, там в своем отгороженном закутке он встречался с друзьями, там как-то довелось побывать и мне, туда он приводил и свою возлюбленную Марину. «В том конце моей половины была дверь. Когда отец не работал в темном закутке, я входил и выходил, пользуясь ею. „Чтобы не беспокоить вас“, — говорил я родителям, но в действительности с целью избежать их наблюдения и необходимости знакомить с ними моих гостей и наоборот. Для затемнения подоплеки этих визитов я держал электропроигрыватель, и родители постепенно прониклись ненавистью к И. С. Баху.

Еще позднее, когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли, я дополнительно разгородил свою половину посредством перестановки тех двух шкафов таким образом, чтобы они отделяли мою кровать и письменный стол от темного закутка. Между ними я втиснул третий, который бездействовал в коридоре. Отодрал у него заднюю стенку, оставив дверцу нетронутой. В результате чего гостю приходилось попадать в мой *Lebensraum*[1], минуя две двери и одну занавеску. Первой дверью была та, что вела в коридор; затем вы оказывались в отцовском закутке и отодвигали занавеску; оставалось открыть дверцу бывшего платяного шкафа. На шкафы я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и все же они не доходили до потолка. Суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности, и некая Марина могла обнажить не только бюст…»

Вот в такой половинке, в таком огороженном закутке и сформировалась поэтическая личность Иосифа Бродского. Там он стал поэтом, там он стал и мужчиной. Может быть, при его независимом характере, при постоянном общении с родителями у него бы и не возникло позже острой потребности в памяти о них, не возникла бы и проза «Полторы комнаты», но почти тринадцатилетний запрет на общение заставил позабыть о конфликтах с отцом и помнить в его офицерстве лишь все самое светлое.

«Вспоминаю их не от тоски, но оттого, что именно тут моя мать провела четверть жизни. Семейные люди редко едят не дома; в России — почти никогда. Я не помню ни ее, ни отца за столиком в ресторане или даже в кафетерии. Она была лучшим поваром, которого я когда-либо знал, за исключением, пожалуй, Честера Каллмана, однако у того в распоряжении было больше ингредиентов. Очень часто вспоминаю ее на кухне в переднике — лицо раскраснелось и очки слегка запотели — отгоняющей меня от плиты, когда я пытаюсь схватить что-нибудь прямо с огня. Верхняя губа блестит от пота; коротко стриженные, крашенные

хной седые волосы беспорядочно вьются. „Отойди! — Она сердится. — Что за нетерпение!“ Больше я этого не услышу никогда…»

И как это привычно по-советски — конфликт отцов сталинского времени и детей оттепели: «„Опять ты читаешь своего Дос Пассоса? — скажет она, накрывая на стол. — А кто будет читать Тургенева?“ — „Что ты хочешь от него, — отзовется отец, складывая газету, — одно слово — бездельник“…»

Так и меня отрывал отец от Хемингуэя, ругался из-за увиденного Оскара Уайльда, так было в миллионах советских семей.

В раннем детстве Иосиф своего отца практически не видел. Как в 1940 году ушел Александр Иванович на войну в Финляндию, так с перерывами и воевал до 1948 года, вернувшись домой уже из Китая, куда был командирован с группой военных советников. За годы войны Александр Иванович как морской офицер был и на Баренцевом море, и в Севастополе, и на Ленинградском фронте. Думаю, давно пора уже организовать выставку блокадных фотографий военного корреспондента Александра Бродского.

Естественно, выросший в полной свободе независимый уличный сорванец с трудом находил общий язык с отцом, привыкшим к военной командной обстановке. Он и в обычных школах не находил общего языка почти ни с кем. В каком-то смысле, чисто по-лермонтовски, с малых лет вел независимую и одинокую жизнь. Если уж на то пошло, он не был похож на интеллигентного еврейского мальчика со скрипкой. Менял школы, одну, вторую, третью. В 1955 году ушел из восьмого класса средней школы № 196 на Моховой, так больше нигде и не учился. Потом, после семи классов, менял места работы, выбирая отнюдь не легкие профессии. Позже, на суде по обвинению в тунеядстве, были перечислены 13 опробованных им профессий: фрезеровщик, техник-геофизик, санитар, кочегар, фотограф, переводчик… Вот такой питерский сорванец.

Поэтому его и тянуло всегда к таким же отчаянным сорванцам, как Глеб Горбовский, поэтому он привык с детства к полублатной лексике, вырос скорее на улице, чем в школе. Уйдя из восьмого класса, поступил работать на военный завод фрезеровщиком; выбрав для себя самообразование, сделал главным занятием многочтение. Пожелав стать хирургом, начал работать помощником прозектора в морге госпиталя тюрьмы «Кресты»: «В шестнадцать лет я хотел стать хирургом, даже целый месяц ходил в морг анатомировать трупы». В 1956-м впервые, как многие в его возрасте, попытался рифмовать. Людмила Штерн

вспоминает: «Всерьез Бродский начал, по его словам, „баловаться стишками“ с шестнадцати лет, случайно прочтя сборник Бориса Слуцкого». Первая публикация — в 17 лет, в 1957 году.

В эмиграции ему явно не хватало общения с родителями, которых к нему упорно не пускали без всяких объяснений. «То, что они хотели видеть меня перед смертью, не имело ничего общего с желанием или попыткой уклониться от взрыва. Они не были готовы эмигрировать, закончить свои дни в Америке. Ощущали себя слишком старыми для таких перемен, и в лучшем случае Америка была для них названием места, где они могли бы встретиться с сыном. Для них она казалась реальной только в смысле их сомнений, удастся ли им переезд, если им разрешат выехать. И тем не менее в какие только игры не играли двое немощных стариков со всей этой сволочью, ответственной за выдачу разрешения!»

Это одна из самых горьких страниц его жизни — невозможность общения с родителями. Ни во время болезней, инфарктов, подтвержденных официальными справками, ни по мере угасания родителей в Ленинграде. Что только не придумывали: то отец один пытался оформить визу на выезд в гости к сыну, оставляя жену как заложницу дома. То такую же попытку делала мать. Писали в министерства и ведомства, находили самые веские доводы — и всё напрасно. Парадокс в том, что уезжать навсегда сами родители не хотели, и когда им предлагали выехать по израильской визе, отказывались. Это и понятно: старому советскому офицеру нечего было делать в США. А просто навестить сына никак не дозволялось по чьему-то подлому замыслу. Это при том, что поэт Иосиф Бродский никакой антисоветской политикой в эмиграции не занимался. Между тем разрешили выехать к мужу жене Андрея Синявского Марии Розановой. Разрешили выехать к Солженицыну его жене Наталье Дмитриевне. Самым главным советским диссидентам, откровенным врагам советской власти. Да и мало ли кому, чуть ли не родственникам террористов разрешали выезжать за рубеж. А вот к поэту Иосифу Бродскому родителей в гости не пускали. Узнать бы имя этих конкретных питерских высоких чиновников, этих иезуитов, издевающихся над святыми родительскими и сыновними чувствами! В знак протеста Бродский даже эссе о своих родителях стал писать по-английски, мстя родному русскому языку, на который он сам же и молился:

«Я пишу о них по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы; резерв, растущий вместе с числом тех, кто пожелает прочесть это. Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели реальность в „иноземном кодексе совести“,

хочу, чтобы глаголы движения английского языка повторили их жесты. Это не воскресит их, но, по крайней мере, английская грамматика в состоянии послужить лучшим запасным выходом из печных труб государственного крематория, нежели русская. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничижению, кончающимся физическим развоплощением. Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаясь по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения выбраться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно именно по-русски слышали в ответ двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку „нецелесообразной“. Повторение этой формулы по меньшей мере обнаруживает некоторую фамильярность обращения государства с русским языком. А кроме того, даже напиши я это по-русски, слова эти не увидели бы света дня под русским небом. Кто б тогда прочел их? Горстка эмигрантов, чьи родители либо умерли, либо умрут при сходных обстоятельствах? История, слишком хорошо им знакомая. Они знают, что чувствуешь, когда не разрешено повидать мать или отца при смерти; молчание, воцаряющееся вслед за требованием срочной визы для выезда на похороны близкого. А затем становится слишком поздно, и, повесив телефонную трубку, он или она бредет из дому в иностранный полдень, ощущая нечто, для чего ни в одном языке нет слов и что никаким стоном не передать тоже… Что мог бы я сказать им? Каким образом исцелить? Ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с неотвратимостью России, и никому с пером в руке их не вылечить: нет, это по плечу лишь Всевышнему, именно у него на это достаточно времени. Пусть английский язык приютит моих мертвецов».

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ КРЕЩЕНИЕ

Череповец стал для маленького Оси Бродского не просто городом спасения от голода и блокады, но, насколько мне известно, и городом, где его крестили. Многие из почитателей поэта отмахиваются от якобы недостоверного факта крещения или же не придают ему значения. Меня это удивляет. Зачем матери поэта Марии Моисеевне придумывать всю эту историю крещения, зачем рассказывать о ней своему близкому другу Наталье Грудининой? Если Грудинина, доверенное лицо Бродского, важный свидетель на суде, придумала эту историю с крещением, можно ли ей доверять и во всех остальных показаниях? Значит, всё можно считать фантазиями? И наконец, зачем Виктору Кривулину, отнюдь не священнику, а вполне богемному, талантливому, известному поэту, придумывать историю с крещением Бродского?

Да и не от одного Кривулина известна история о крещении в Череповце. Ее вспоминает и вдова Кривулина Ольга Кушлина: «Так получилось, что мне пришлось заказывать панихиду по Иосифу на сороковины в Преображенском соборе Питера, и я предварительно говорила о спорности вопроса о его крещении с настоятелем… Служили очень трудно как-то, было всем тяжело невыносимо (м. б., есть особый чин, как при крещении — „крещается, аки некрещен…“? Точно не знаю). И согласились не сразу, но не из-за этого спорного момента, а просто „по-советски“ трусили (собор рядом с домом Мурузи). А по сведениям, крестила его сама нянька, человек глубоко верующий, что допустимо, если нет возможности позвать священника (моя прабабка в Туркмении даже получила на это благословение церкви — была повитухой в отдаленном городке и крестила младенцев, которых сама принимала)… Кривулин же просто опрашивал всех, чьему свидетельству можно было верить, — и не из праздного любопытства, а как раз перед панихидой. Человеком он был глубоко религиозным, потому и пытался всё выяснить. Так что в книге Лосева — неточности, сведения от Грудининой пришли к Кривулину от другого человека (имени называть не имею права)».

В любом случае не понимаю, почему этот вопрос как-то стыдливо обходят во всех книгах о поэте. Факт возможного крещения или некрещения любопытен для биографа, независимо от его религиозности и вероисповедания, как и любой другой факт биографии Бродского. Как и его двухлетнее пребывание в Вологодской области в эвакуации в самые тяжелые годы войны. Наверняка Иосиф Бродский позже в разговорах с Николаем

Рубцовым мог упоминать свою «вологодскую ссылку» в малолетнем возрасте. Рубцов не случайно хранил в своей «бархатной» записной книжке на двенадцатой странице телефон Иосифа Бродского. Он достаточно живо (и отнюдь не скептически, как считают иные) описал выступление Бродского на турнире поэтов во Дворце культуры имени Максима Горького с участием А. Кушнера, Г. Горбовского, В. Сосноры в своем письме приятелю, тоже литератору Герману Гоппе в марте 1960 года:

«Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. Он, конечно, не завоевал приза, но в зале не было равнодушных во время его выступления. Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал:

— У каждого свой хрлам!
У каждого свой грлоб!
Шуму было! Одни кричат:
— При чем тут поэзия?!
— Долой его!
Другие вопят:
— Бродский, еще!
— Еще! Еще!»

Да и стихотворение не случайное: «У каждого свой храм…». Вот и вернемся опять к первоначальному храму Иосифа Бродского, к его череповецкому крещению.

В книге Льва Лосева читаем: «1942, 21 апреля после блокадной зимы Мария Моисеевна с сыном уехали в эвакуацию в Череповец. По рассказам Натальи Грудининой (в передаче Виктора Кривулина), Мария Моисеевна доверительно сказала ей, что женщина, которая присматривала за маленьким Иосифом в Череповце, крестила его». Подтверждают этот рассказ и другие близкие друзья Иосифа Бродского, та же Валентина Полухина. Именно в Череповце, по семейным преданиям, Бродский научился читать. В конце пребывания в городе он выучил наизусть первое стихотворение Пушкина. Сам Иосиф вспоминает: «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку. Три или четыре белые ступеньки ведут из прихожей в кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку — птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка (родители матери. — *В. Б.),* мама и я. Моя кроватка стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив — мамина

кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу. <…> Хозяев я совсем не помню. Был только их сын — Шурка, которого я из-за своей дикции звал Хунка».

Думаю, это череповецкое крещение, пусть и неосознанно, провиденциально всю жизнь сказывалось в его творчестве, как бы он сам шутливо ни отмахивался от своей воцерковленности.

Когда началась война, Осе Бродскому было чуть больше года. Увлеченные всеобщей любовью к «вождю народов» родители при рождении назвали мальчика Иосифом в честь Сталина. Блокада и оказалась его первым жизненным испытанием. Немцы стремительно наступали, в сентябре 1941 года подошли к Ленинграду. От центра города врага отделяли всего десять километров. Из магазинов исчезли продукты, начался голод. В разговоре с Соломоном Волковым поэт вспоминает о том времени: «Мать тащит меня на саночках по улицам, заваленным снегом. Вечер, лучи прожекторов шарят по небу. Мать протаскивает меня мимо пустой булочной. Это около Спасо-Преображенского собора, недалеко от нашего дома. Это и есть детство»… Еще до эвакуации в Череповец маленький Ося пережил первые месяцы блокады, а его отец, военный корреспондент, позже участвовал в ее прорыве. Так что Иосиф Бродский по всем правилам и законам — настоящий блокадник. Тем более я рад, что его, как и сотни тысяч других блокадников, спас наш Русский Север.

Север вообще очень много значил в жизни поэта, от его череповецкой эвакуации в раннем детстве до работы в геологической экспедиции в 1958 году в Малошуйке Онежского района Архангельской области и заканчивая знаменитой коношской ссылкой. Без Севера он уже не мог полноценно творить, и не случайно в эмиграции Бродский часто приезжал в Швецию, дышать привычным северным воздухом. Даже свадьбу со своей итальянской невестой Марией он сыграл на своем родном прибалтийском Севере, в Стокгольме.

Бродский не только частенько вспоминал череповецкий период в интервью, но и отражал его в стихах. К примеру, он пишет песенку о своем любимом красном свитере («потетель» — точный перевод английского *sweater),* в котором можно не мерзнуть даже на берегах череповецкой реки Шексны.

В потетеле английской красной шерсти я
не бздюм крещенских холодов нашествия,

и будущее за Шексной, за Воркслою
теперь мне видится одетым в вещь заморскую.

Я думаю: обзаведясь валютою,
мы одолели бы природу лютую.

Я вижу гордые строенья с ванными,
заполненными до краев славянами,

и тучи с птицами, с пропеллером скрещенными,
чтобы не связываться зря с крещеными,

чьи нравы строгие и рук в лицо сование
смягчает тайное голосование.

Я рад, что этот северный импульс поэта был замечен самими северянами. Была подготовлена и проехала по северным местам Бродского передвижная экспозиция «Фотопрочтение Иосифа Бродского». Северные фотографы по-своему прочли три стихотворения, написанные в Архангельской пересыльной тюрьме и во время ссылки в деревне Норенской. Места, которые вдохновляли поэта, запечатлены на снимках профессиональных фотографов и фотографов-любителей. Мэр Череповца Юрий Кузин признавался на открытии фотовыставки: «С удовольствием ознакомился с фотовыставкой. Могу сказать, что Иосиф Бродский — это величайший поэт, и его творчество интересно многим череповчанам, и я отношу себя к числу поклонников его творчества. Хотел бы пригласить на выставку череповчан, я думаю, что они получат удовольствие».

«В Череповце поэт провел одни из самых трудных месяцев детства, — рассказала заведующая городским художественным музеем Светлана Пономарева. — Родители привезли его сюда в декабре 1941-го из блокадного Ленинграда в эвакуацию. Сохранились снимки нашего города того времени, сделанные отцом будущего поэта — военным корреспондентом. Здесь Иосиф Бродский научился читать, окреп и даже, по рассказам родных, был крещен».

Светлана Владимировна даже подготовила экскурсию по выставке «Бродский. Эвакуация. Череповец» (фото, документы, живопись) в художественном музее. В Интернете началось ее активное обсуждение. Не обошлось и без упреков: «При жизни ни Бродский, ни Башлачев, ни Рубцов, ни Северянин… не были интересны Череповцу. А теперь танцы с бубнами на памяти вдруг „великих“». Впрочем, упрек необоснованный, и правильно заметил другой череповчанин: «Когда, например, Башлачев умер,

я еще только родился. Что же мне теперь, не иметь тяготения к его творчеству? К моменту скорбной кончины Бродского я был уже постарше, хотя и на то время не смог бы хотя бы чуть-чуть проникнуться той глубиной мысли, что предвнес автор. Теперь же и сам пишу, для себя и, порой, читаю, даже отечественных авторов. Возможно, окажется и лицемерием идти многим на выставку, но для некоторых это вполне реальный шанс погрузиться в приятную для себя атмосферу…»

Так и происходит, по сути, новое рождение северного русского поэта Иосифа Бродского.

В череповецкой газете «Речь» нашелся свой поклонник Бродского, журналист Сергей Виноградов, который, пожалуй, первым обратил внимание своих земляков на пребывание в городе великого русского поэта и даже на его возможное крещение. Предоставлю ему слово: «С тех пор как Иосиф Бродский стал знаменитым, а позже — классиком, мировая культурная общественность широко отметила не одну круглую дату, связанную с поэтом. Череповец, где он в раннем детстве провел около двух лет своей жизни, по большому счету, впервые присоединился к торжеству. В планах музейщиков — более активно пользоваться „второй строчкой в биографиях Бродского“, наладив взаимодействие с другими „строчками“ — прежде всего Санкт-Петербургом, где поэт родился… Одной из первых совместных акций в перспективе и стала череповецко-питерская выставка к 70-летию приезда Бродского в Череповец. Наиболее интересными экспонатами стоит признать фотографии двух- и трехгодовалого Иосифа в Череповце (многих из них не только череповчане, но и никто из почитателей поэзии Бродского никогда не видел). На одном из снимков он запечатлен в момент катания на санках с горки. Эти санки, а по местному — чунки, не менее красноречиво говорят о месте съемок, чем какой-нибудь знаменитый архитектурный объект в качестве фона. Череповчане славились изготовлением чунок, на которых возились дрова. На выставке представлено одно такое „средство передвижения“, созданное сегодняшними мастерами по старым рецептам. К сожалению, стоит констатировать, что фотографии — едва ли не единственный след Бродского в Череповце. Известно, что снимки сделал отец поэта, в те годы — военный корреспондент, которому ненадолго удалось вырваться к семье».

После публикации 27 мая 2010 года в газете «Речь» статьи Виноградова, приуроченной к семидесятилетию Бродского, в редакцию, как часто бывает, обратился и пенсионер, помнящий, где и когда останавливался в Череповце маленький Ося с мамой и теткой. Лев Басалаев прочел заметку, рассказывающую о

пребывании двухлетнего Бродского в Череповце в 1942 году, и сам пришел в редакцию. Прочитав, что на сегодня дома́, в которых жили Бродские, не определены (известно, что мать с сыном переезжали, а сам поэт называет в воспоминаниях улицу Ленина), Лев Сергеевич решил устранить пробел. По его словам, Бродские в 1942 году прожили несколько месяцев в деревянной избе Басалаевых в Новом переулке, ныне не существующем. Дом стоял неподалеку от железнодорожного вокзала, рядом с нынешним зданием торгового комплекса, известного как «Универбыт».

«Сам бы я вряд ли вспомнил — мне брат Саня рассказал, он все же на два года меня старше, и память у него лучше, — говорит Лев Сергеевич. — Я помню, что женщина с маленьким мальчиком приехала в наш дом зимой, сразу с вокзала. Мне тогда было пять лет, и на ребенка я смотрел как старший. Дом был наш собственный, еще дед вывез его в начале века из деревни, и Бродские поселились у нас как квартиранты — матери деньги платили за аренду. У нас было две комнаты, в одной жили мы, в другой они, общая столовая и кухня. Что запомнилось? То, что у них всегда водились продукты, которых мы и не едали: оладьи пекли, курицу жарили. Запах был такой, что из дома не хотелось уходить. Общего стола у нас не было, обедали отдельно. А еще помню, как наша жилица убеждала мою мать, что бежать из Череповца не нужно — мы же все тогда боялись прихода немца в наш город. Говорила (помню, что немного картавила): „Ирина Ивановна, сюда не дойдут, я точно знаю“. Мать Бродского я хорошо помню, даже визуально, а об Иосифе ничего определенного сказать не могу. Мальчик как мальчик, иногда побегает-покричит, но сорванцом не был. Я, если честно, мало на него внимания обращал. Они пожили у нас несколько месяцев, а потом съехали, когда и почему, я не запомнил. Я тогда сыпной тиф подхватил и надолго в больницу лег».

Сергей Виноградов в другой своей газетной заметке о поэте от 3 июня 2010 года с сожалением добавляет: «Впрочем, хотя место жительства Иосифа Бродского и раскрылось, мемориальную доску помещать все одно некуда: избу Басалаевых давно снесли. „Если бы наш дом существовал и по сей день, он бы числился на проспекте Луначарского, — говорит Лев Сергеевич. — Но его снесли лет двадцать пять — тридцать назад. Сейчас на его месте небольшой пустырь с тополями“. Близость железнодорожного вокзала коренным образом повлияла на его жизнь: не одно десятилетие череповчанин отработал машинистом тепловоза. О том, что Иосиф Бродский в детские годы жил в их доме, брат Александр сообщил Льву Сергеевичу много лет назад.

„Но я о нем только слышал, ничего не читал, — говорит он. — В газетах его не печатали, в библиотеках тоже его книг не было. Я не так давно узнал, что он известный и выдающийся человек, но и сейчас, признаюсь, не добрался до его стихов“…»

Бродский в своих интервью уже в эмиграции неоднократно упоминал о Череповце и череповецких впечатлениях, указывая их как самые ранние воспоминания своей жизни. Место жительства маленького Иосифа и его матери достоверно неизвестно, но предположительно деревянная изба, выделенная блокадникам, находилась рядом с современным кинотеатром «Киномир». Другой дом, где они жили, находился в районе вокзала, сейчас там тоже большие многоэтажные дома.

«Череповец имеет все права считаться важной вехой в жизни Иосифа Бродского, — считает автор выставки в художественном музее к семидесятилетию поэта Светлана Пономарева. — В большинстве биографий поэта, русских и иностранных, наш город упоминается уже во второй строчке: родился в Ленинграде, блокадные годы провел в эвакуации в Череповце. И пусть маленький Бродский прожил здесь относительно недолго, свое влияние город, безусловно, оказал. Сюда привезли слабого, заморенного голодом ребенка, а в Ленинград он возвращался щекастым румяным мальчиком, что хорошо видно на фото».

Если бы не было в жизни Череповца, вполне может быть, не было бы и Бродского — нобелевского лауреата. Есть разные версии, когда именно Бродские, Иосиф и его мать, приехали в город. Сама Мария Моисеевна указывает на декабрь 1941 года, но биографы, включая Льва Лосева, считают, что это случилось уже весной 1942-го. С продолжительностью череповецкого пребывания та же история: в интервью Соломону Волкову Иосиф Бродский предположительно заявляет: «На короткий срок, меньше года, в Череповец». В автобиографии для НКВД, которую уже после возвращения из Череповца вместе с партийной характеристикой заполняла мать Иосифа и в которой вряд ли Мария Моисеевна стала бы что-то сочинять, она пишет, что приехала в эвакуацию в Череповец в декабре 1941 года, а вернулась в Ленинград в самом конце 1944 года. Значит, так оно и было. Это вольный поэт в американской эмиграции мог вольно вспоминать, что вроде бы он был в Череповце меньше года. Для подотчетных документов в сталинское время такие вольности со сроками были недопустимы. «Дом, где жили эвакуированные, — пишет Виноградов, — также неизвестен — поэт упоминает в воспоминаниях деревянный дом на улице Ленина, который ныне вытеснен пятиэтажками. Зато можно с уверенностью говорить о том, чем занималась мать Бродского, пока сынишка катался с

горок: работала секретарем в местном лагере НКВД № 158, куда была определена за знание немецкого языка. Третьим членом семьи во время жизни Бродских в Череповце была няня. Видимо, из местных жительниц. Ее фигура в последние десятилетия стала очень активно упоминаться в исследованиях жизни и творчества Бродского».

Внесу уточнения: во-первых, с Марией Моисеевной и Осей в эвакуацию в Череповец приехали еще ее мать и отец, бабушка и дедушка поэта. Во-вторых, его череповецкая няня, молодая и крепкая женщина по имени Груня, очевидно и возила крестить малыша, что я постарался исследовать во время поездки в Череповец. Местным краеведам я посоветовал получше поискать эту череповчанку, которая, возможно, и до сих пор жива. Или же ее родственники, дети, внуки могли слышать воспоминания бабушки. Наверняка няня Груня дожила до нобелевской славы ее маленького воспитанника Оси, что-то и порассказывала своим детям. Уверен, мы еще узнаем точно, когда и где в Череповце крестили в 1943 году маленького Осю Бродского.

В Череповец я приехал, списавшись заранее с местным краеведом, моей доброй знакомой Зиной Леляновой. У нее и остановились вместе с женой — у нее и ее рыжих котов, которых она обожает, как и Иосиф Бродский. С Зиной вместе мы походили и по улице Ленина, где когда-то в деревянном доме в полуподвальном помещении жили Бродские, и по Новому переулку, куда они переехали из тесноты в более просторный дом Басалаевых. Погуляли мы и в ныне сохранившейся Макарьинской роще, возле которой размещался лагерь для военнопленных, где работала секретарем управления лагеря Мария Моисеевна и куда она неоднократно привозила сына Осю. Значит, не так уж плохо содержали финских и немецких пленных, если мама привозила прямо в лагерь своего маленького сына.

Я понимаю, почему и сам поэт, и его биографы никогда не упоминали об этом месте работы — мол, надо же, мать нобелевского лауреата, оказывается, работала в НКВД… Я лично не вижу в этом факте ничего особо компрометирующего. Во-первых, в Советском Союзе в лагерной системе работали многие, и далеко не все из них совершали какие-то жестокости и гнусности. Во-вторых, по воспоминаниям пленных финнов, их жизнь в череповецком лагере № 158 мало чем отличалась от всего советского быта в годы войны. В своей хронике Валентина Полухина комментирует: «Это был лагерь для немецких военнопленных. Очевидно, сыграло роль то, что Мария Моисеевна знала немецкий язык». Биограф опять ищет оправдательную интонацию. Но, во-первых, все-таки работала

Мария Моисеевна не переводчиком, а секретарем в управлении лагеря, а во-вторых, в основном в череповецком лагере содержались не немцы, а финские военнопленные, вряд ли знающие немецкий язык. Читаю в документах той поры: «Начальнику Управления НКВД по делам военнопленных и интернированных майору государственной безопасности тов. Сопруненко не позднее 20 июня 1942 г. организовать лагеря-распределители для приема, всесторонней обработки и дальнейшей переотправки военнопленных: а) для Карельского и Волховского фронтов — Череповецкий лагерь в г. Череповце Вологодской области, на базе существующего Череповецкого спец-лагеря НКВД; назначить начальниками и комиссарами лагерей — распределителей Череповецкого: начальником — капитана госбезопасности тов. Королева, комиссаром — старшего майора милиции тов. Щербакова».

Лагерь № 158 был организован в Череповце в соответствии с Приказом НКВД СССР от 5 июня 1942 года № 001156 «Об изменении организационной структуры лагерей и приемных пунктов НКВД СССР для военнопленных» на базе ранее существовавшего спецлагеря НКВД для освобожденных из немецкого плена военнослужащих Красной армии. Изначально он действовал как лагерь-распределитель, а весной 1944 года был преобразован в стационарный лагерь для военнопленных рядового и унтер-офицерского составов. «Лагерь расположен на сухом, здоровом лесистом участке. Почва участка и дорог глинистая, что представляет известные затруднения для транспорта и контингента в весенне-осенний период. Лагерь с трех сторон окружен колхозными полями и только с одной стороны примыкает к ближайшему поселку. 500 м от лагеря протекает река Шексна».

Капрал финской армии Лаури Юссила описывал этот лагерь, уже вернувшись после войны домой, в газете «Sotilaan Aani»: «Наш лагерь, находящийся в середине березового леса, располагается в прекрасном, здоровом месте. Ребята шутят, что Маннергейм ездит поправлять здоровье в Швейцарию, а мы тут сами как в санатории». Наибольшее количество военнопленных в Вологодской области содержалось в лагере № 158 под Череповцом. С армейских приемных пунктов Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов сюда посту пали пленные немцы, финны, испанцы из знаменитой «Голубой дивизии». В отличие от фашистских лагерей, где советские бойцы тысячами умирали от голода и эпидемий, неприятельские солдаты и офицеры в советском плену получали гарантированный паек и медицинское обеспечение, снабжались теплой одеждой и обувью.

Тысячи из них работали на промышленных предприятиях области: целлюлозно-бумажном комбинате в Соколе, заводе «Красная звезда» в Череповце, стеклозаводе в Чагоде, Вологодском паровозовагоноремонтном заводе.

Работа русских и финнов, зачастую в одном цехе, поневоле заставляла людей вступать в контакт друг с другом. Обычный характер, как отмечалось в спец-сообщениях органов НКВД, приобрели дружеские беседы, ухаживания, тайные встречи, совместные выпивки и прочие «интимные связи». Военнопленные за годы войны были долгое время лишены общения с противоположным полом. Все это благоприятствовало установлению «запрещенных отношений». Сближение происходило также между обитателями лагерных бараков и младшим обслуживающим персоналом лагеря. Лагерная документация пестрит упоминаниями о фактах подобных неуставных отношений. Например, в докладной записке дежурный офицер лагеря сообщал, что во время дежурства он увидел возле спецгоспиталя медсестру и военнопленного, которые целовались. Увидев офицера, влюбленные убежали. Вероятно, немало нынешних череповчан ведут происхождение от заключенных лагеря, который располагался в Макарьинской роще.

Согласно документам НКВД, с 1941 по 1944 год через лагерь № 158, а также его отделения в Вологде, Устюжне и Чагоде прошли 1806 финских военнопленных. Официальное количество умерших в лагере — 109 человек. 25 августа 1992 года на кладбище в Череповце, где производилось погребение скончавшихся финских военнопленных, установлен памятник-мемориал, первый в России памятник пленным финнам.

Вполне полагаю, что немало военнопленных уже после войны вспоминали с симпатией доброжелательную к ним и трудолюбивую, обязательную во всем Марию Моисеевну Бродскую. Да и мать поэта относилась к ним с уважением. Как мы знаем, в Финляндии никогда не существовало так называемого «еврейского вопроса», да и немцам финны не давали вмешиваться во взаимоотношения между нациями в своей стране.

В Череповце же, по семейным воспоминаниям, будущий поэт научился читать и даже выучил наизусть в четыре года стихотворение Александра Пушкина. «Читать Иосиф научился рано, едва ли не в четыре года, — пишет Лев Лосев. — Мать поэта рассказала, как в Череповце в 1943 году вошла в комнату и застала трехлетнего сына с книгой в руках. Она взяла посмотреть, что за книга. Оказалось, Ницше „Так говорил Заратустра“. Она вернула ребенку книгу, но вверх ногами. Иосиф тут же

перевернул ее в правильное положение. Это было рассказано не к тому, что он в трехлетнем возрасте увлекался Ницше, а к тому, что таким образом получил представление о буквах».

Вспоминая свои череповецкие младенческие годы, в 1962 году Иосиф Бродский писал в стихотворении «Благодарю великого Творца…», слегка иронизируя над событиями:

> За знание трехсот немецких слов
> Благодарю я собственную мать:
> Могла военнопленных понимать —
> Покуда я в избе орал «уа»,
> В концлагере нашлось ей амплуа…

Сам Иосиф Бродский уже в Америке вспоминал: «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: „Мама, а скоро мы будем тонуть?“…»

Я пешком прошел путь от дома, где жил Бродский у вокзала, до места лагеря № 158, через реку Ягорбу, впадающую чуть подалее в Шексну. Сейчас через Ягорбу перекинут мост и садиться в переполненную лодку уже не надо. Как мне подтвердили местные краеведы, лагерь почти не охранялся, финские военнопленные работали вместе с череповчанами на местных заводах и стройках, вражды не было. Почему бы маме и не привезти трехлетнего ребенка в лагерь, чтобы вместе пообедать, если няня Груня по каким-то делам куда-то уехала? Жили они поначалу вместе с другими блокадниками в доме у вокзала, часто ходили гулять к вокзалу. Оттуда у Иосифа еще одно страшное воспоминание, относящееся уже к периоду возвращения четырехлетнего малыша в родной город: «Тогда же все рвались назад, теплушки были битком набиты, хотя в Ленинград пускали по пропускам. Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступах. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом в выцветших желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромая, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар».

Я выяснил абсолютно точно: в годы войны в самом Череповце работающих храмов не было ни одного. Где же было предполагаемое крещение Иосифа Бродского? Конечно, можно предположить, что няня Груня крестила его у себя дома. Такое

бывало, поскольку нянями часто работали монашки, жившие в Череповце после закрытия женского монастыря. Однако вряд ли на эту роль годится молодая няня Груня. Хотя в самом Череповце действующих храмов не было, совсем рядом с городом, в нескольких километрах, находился церковный ансамбль Степановского прихода, основанный еще в XIV веке. С 1668 года по благословению патриарха Иосифа II в селе Степановском открывается церковь Святых Богоотец Иоакима и Анны. В этом Богоиоакимовском храме не раз служил будущий патриарх Алексий I (Симанский). Зимой на саночках, летом пешком или на телеге, а может, и на машине люди со всех окрестных деревень тянулись к Степановскому приходу, расположенному на удобной дороге, неподалеку от Череповца. Не знаю, под покровительством каких небесных и земных сил, но храм Богоиоакимовский не закрывался и в годы войны. 10 октября 1942 года было выдано разрешение на возобновление богослужений и крещений в Степановском приходе. Служил в храме во время войны и в первые послевоенные годы незадолго до этого выпущенный из лагерей священник Павел Петрович Орнатский. Он организовал в годы войны сбор средств на нужды фронта и собрал из средств прихожан около двух миллионов рублей, за что удостоился личной благодарственной телеграммы Иосифа Сталина.

Скорее всего, из этих же деревень была и няня Груня, ведь городские девушки в те годы в няни не шли. Знаю по нашей Карелии — у меня тоже в первые послевоенные годы в Петрозаводске няней была девушка из ближней деревни; потом я встречался с ней, она работала в крупном универмаге. Люди тогда, в 1940-е годы, любыми способами старались выехать из обнищавших, оголодавших деревень, девушки шли домработницами, нянями до тех пор, пока не получат прописки. Вот и Осина няня Груня тоже была из деревни Степановского прихода. С ведома ли Марии Моисеевны или самостоятельно (северяне всегда отличались крепкой верой), но няня Груня решилась крестить своего воспитанника, по всей видимости, в Степановской церкви — а значит, крестил его известный священник, отец Павел Орнатский. Мы с женой, Зиной Леляновой и журналистом Сергеем Виноградовым, ничего до нас и не знавшим об этом храме, побывали в столь историческом с любой точки зрения приходе. Расположен храм на высоком холме, так что он виден издалека и всегда многолюден.

И надо же случиться такому, уверен, не случайному совпадению: когда мы дошли до храма Иоакима и Анны, там начиналось крещение такого же, как Ося, двухлетнего малыша. Очевидно, он и плакал так же, как Ося. И кутали его после

окунания в купель в теплые пеленки. Служил при нас в храме протоиерей Валерий Белов. Он очень уважительно отозвался о Павле Орнатском, крестившем в годы войны всех приносимых ему череповчан и маленьких блокадников. Как он мне сообщил, к сожалению, архивы тех военных лет позже были утеряны, и указать точно время крещения Иосифа Бродского, сказать, кто был его крестным отцом, он никак не может. Впрочем, всё в руце Божией: может, архив еще отыщется или найдутся следы няни Груни.

Если Мария Моисеевна не соврала своей доверенной подруге Наталье Грудининой, если Наталья Грудинина не соврала своим близким друзьям, то в 1943 году степановская крестьянка Груня, нянчившая в Череповце Иосифа Бродского, отвезла на саночках или отнесла на руках в храм Иоакима и Анны своего воспитанника и отдала в руки священника отца Павла Орнатского. Сама же Груня и была, скорее всего, крестной матерью поэта.

Версию о череповецком крещении Бродского активно поддерживает и ведущий на сегодня бродсковед, профессор Валентина Полухина. В интервью с Ириной Чайковской она говорит: «Для меня Бродский был христианином. Дело в том, что мне еще давно Виктор Кривулин поведал один секрет о том, что мать Бродского, Мария Моисеевна, доверительно рассказала Наталье Грудининой, что женщина, присматривавшая за маленьким Иосифом в эвакуации в Череповце в 1942 году, тайно от матери крестила его. Уверена, что Иосиф об этом знал. Но он также знал и русскую поговорку: „Жид крещеный, что вор прощеный“. Ни тем ни другим он быть не хотел, вот и придумывал для себя иные „звания“. Помните, он говорит: „Я плохой еврей, плохой христианин, я плохой американец, надеюсь, что и плохой русский“. Я ведь не могу сказать, что я плохая мусульманка, потому что я никакая не мусульманка. Сказать „я плохой христианин“ может только христианин. Он вообще считал дурным тоном говорить на эту тему. Для него вера была весьма личной темой».

Всем оппонентам, упорно оспаривающим христианскую направленность поэзии Бродского, я просто посоветую перечитать его рождественские стихи:

> В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
> чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
> младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
> мело, как только в пустыне может зимой мести.
> <…>

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Вряд ли такие стихи мог написать человек, равнодушный к христианской теме. Интересно, что в стихах он более христианин, чем в своих интервью, где часто уходит от ответа или же прикрывает свое христианство тем, что он не варвар. Зачем же он писал почти к каждому Рождеству стихотворение? Неужто для забавы?

Если череповецкая нянька действительно его крестила, значит, формально он был православным, хотя это крещение, возможно, нигде и не было зарегистрировано. В советские годы многих из нас бабки тайно крестили, и что же, кому предъявлять доказательства? Бог всё видит, а соседям и знать незачем.

Я ездил в Череповец, чтобы подышать атмосферой этого северного города, походить по местам, где предположительно жил Иосиф Бродский. Я понимал, что где бы нянька его ни крестила — у себя дома или в деревенском храме под Череповцом, — это никогда не афишировалось. Полностью согласен с Валентиной Полухиной, которая деликатно, но последовательно говорит: «Но знал ли об этом сам Иосиф, что его крестили? Если мама ему когда-то рассказала, то это он как-то нес в себе, что он был крещеный. Когда началась мода на крещение, Иосиф отказывался, его звали, он отказывался от этого. Но есть фотографии, когда Иосиф… крест у него на груди. Когда ему об этом сказали, он сказал: „Ну, знаете, было модно“. Крещеный еврей — понимаете, это такое уязвимое место. Если он знал, что он крещеный, он никогда никому об этом не мог сказать. Во-первых, это действительно очень личное дело, во-вторых… многое в его стихах и особенно в его интервью говорит о том, что он человек верующий. Потому что евреи на него нападали за то, что он в Израиль отказывался ехать, русские нападали за то, что он отказывался в Россию вернуться. Поэтому он должен был отбиваться на два фронта. Он… придумал формулу: „Я плохой еврей, я плохой русский, и я не думаю, что я хороший американец. Но я хороший поэт“».

Израильский публицист Михаэль Дорфман пишет об известном ему крещении Бродского: «Помню, тогда израильские газеты много писали о Иосифе Бродском, пытались зачислить его в число отказников-сионистов. Когда Бродский наконец прилетел в Вену, то вышел из самолета с большим „архиерейским“ крестом

на шее, ясно показывая, что к Израилю он не хочет иметь отношения. Израильское ТВ тогда сняло сюжет о прибытии Бродского. Крещеный еврей в ортодоксальных еврейских кругах считался как бы мертвым. Он назывался „мешумед“, буквально уничтоженный, о нем надо было отслужить поминальный обряд „шива“ и игнорировать его, как будто его нет. Крещение одного из членов семьи накладывало позорное пятно на репутацию всей семьи. Отражалось оно даже на последующих поколениях, затрудняло поиск достойной партии для женихов и невест, которых считают порченными».

Хотя и далек всегда был Иосиф Бродский от Израиля, но считаться мертвым в американских еврейских кругах он не хотел, вот и молчал, уже будучи в эмиграции, о своем крещении. Перед Богом он отвечал своим творчеством, а в быту, особенно еврейско-американском, свое христианство никогда не выпячивал. В Москве его рождественские стихи были изданы отдельной книжечкой в 1993 году, по инициативе Петра Вайля. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее: «От христианина-заочника».

Но есть фотографии первого периода эмиграции, где на груди Бродского отчетливо виден православный крестик. В беседе со шведским исследователем Бенгтом Янгфельдтом (газета «Svenska Dagbladet» от 10 декабря 1987 года) Бродский привычно уклонился от четкого ответа:

«— А как же крест, который на вас надет на одной из фотографий, сделанных сразу после отъезда?

— Это был 1972 год. В то время я относился к этому более, так сказать, систематически. Потом это прошло. Опять же, если хотите, здесь связь с Пастернаком. После его „стихов из романа“ масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевилась новозаветными идеями. Отчасти такова была форма сопротивления системе, с другой стороны, за этим стоит замечательное культурное наследие, с третьей — чисто религиозный аспект, но с последним у меня отношения всегда были не слишком благополучными…»

Ни «да» ни «нет». Трудно сказать, систематически ли относился к этому поэт, связано ли это было с Пастернаком, с новозаветными идеями, но вряд ли он стал бы носить крестик без крещения. Скорее всего, поэт, конечно же, знал о нем. Еще в 1973 году протоиерей Александр Шмеман пишет в дневнике о выступлении Бродского в Нью-Йорке, в Пен-клубе: «Вчера длинный вечер у сына Сережи с Бродским… Дома он простой и милый. По словам Сережи, в Пен-клубе, днем, после чтения им его стихов, на вопрос какого-то еврея, почему он христианин,

Бродский ответил: „Потому что я не варвар…“».

Нельзя забыть и одно из самых глубоких православных стихотворений в русской поэзии, созданное в марте 1972-го, — «Сретенье». Чтобы написать такие торжественно-проникновенные строки, мало знать евангельский сюжет — необходимо всей глубиной души ощутить ту духовную христианскую реальность, которая за ними стоит.

Он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

«Сретенье» Бродского написано в память о встрече с Анной Ахматовой, оказавшей решающее влияние на становление личности Бродского. Он размышляет, вспоминая их встречи: «Она научила, как надо жить. Как писать стихи, научить нельзя. Как жить — можно». Обсуждалась в разговорах Анны Ахматовой с Иосифом Бродским и библейская тема, рассуждали о том, кто бы мог продолжить линию религиозной русской поэзии. От Ахматовой Бродскому осталось своего рода поэтическое завещание — рождественский цикл. «Сретенье» родилось в 1972 году, став одним из последних стихотворений, написанных им на родине; вскоре 32-летнего поэта выдворят за пределы Советского Союза. «Сретенье» по-славянски значит «встреча», встреча человека с Богом. Этого поэт Иосиф Бродский и не скрывает. Дрожь по телу идет, когда читаешь эти строки, пронизанные живым присутствием Бога.

Священник Михаил Ардов писал о Бродском: «Новый завет и христианство, безусловно, было частью его миросозерцания. Потому что, заметим, каждый год к Рождеству он писал обязательно стихотворение рождественское. Мало того, некоторые из них просто превосходные, я считаю, что одно или два даже превосходят знаменитое стихотворение Бориса Пастернака. Кроме того, у него есть превосходное стихотворение под названием „Сретенье“, посвященное памяти Ахматовой. Тут есть разгадка, потому что Ахматова была крещена в честь Анны Пророчицы, той самой женщины, которая участвовала в этом событии, Сретеньи, когда пречистая дева Мария и Иосиф Обручник принесли в иерусалимский храм младенца Христа. И

само по себе замечательное стихотворение, кончается оно поразительно совершенно, потому что он описывает, как Симеон Богоприимец прямо из храма идет, и идет не просто, а он идет, как пишет замечательно Бродский, в глухонемые владения смерти. „Он шел по пространству, лишенному тверди“ — это уже почти богословие. Вот так это хорошо. И еще два момента. У Бродского есть такой маленький сборничек, 13 эссе, и там есть его речь, сказанная в 1984 году на каком-то университетском акте, так называется „Актовая речь“. Там он обращается к студентам, окончившим, очевидно, курс, и предупреждает их, что они будут встречаться в мире со злом и беспрерывно, просто зло многолико, многообразно, им надо быть к этому готовыми. И дальше он полемизирует с Львом Толстым, Ганди, Мартином Лютером Кингом, которые призывали к некоему пассивному сопротивлению, основываясь на известном месте из Нагорной проповеди господа Иисуса Христа, что, если тебя ударят по одной щеке, подставь другую. А Бродский в данном случае как хороший проповедник, я думаю, хорошему священнику по плечу такую проповедь сказать, он говорит, что это только начало фразы, а Господь говорил тирадами. И дальше он говорит, что, если кто-то у тебя попросит рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Если кто-то попросит тебя идти одно поприще, ты иди с ним два. То есть он призывает не к пассивности, а к активности, в конце концов…»

Литературовед Елена Айзенштейн, автор прекрасных книг о творчестве Бориса Пастернака, написала серьезное исследование о рождественских стихах Иосифа Бродского, отметив неслучайность интереса поэта к евангельской теме. В жизни он, может быть, и был «замаскированным христианином», тем более с учетом американской жизни и несомненного честолюбивого желания быть в мировом литературном мейнстриме, когда он в интервью вышучивал и самого себя, и свое христианство, и свою русскость. Но, как говаривал Пушкин, поэт может увлечься суетой, поддакивать власть имущим, вести обычный образ жизни, но наступает момент, когда он вспоминает о своем долге перед Небом и согражданами. Отказывается от «суетного света», от мелочных проблем светской жизни и вспоминает о своем предназначении.

И потому я нисколько не осуждаю гражданина Америки, погруженного в заботы суетного света, Иосифа Бродского, но призываю читателей прежде всего читать его божественные, христианские стихи. Он и был тем христианским «колоколом с эхом в сгустившейся сини», никогда не забывавшим в душе своей о череповецком крещении.

Елена Айзенштейн замечает в своей статье: «Любопытно

отметить, что стихи рождественской тематики начинают появляться с 1961 года, в роковые времена, предшествовавшие заключению и ссылке. Вероятно, вера в Бога, в свое предназначение помогала Бродскому переносить испытания, которые выпадали на его долю. В стихах 1963 года поражает, как живописно, ярко, как очевидец событий, поэт изображает Рождество, словно все это он видел своими глазами…» Какое уж тут поверхностное соприкосновение с христианством?!

Спаситель родился в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

Другое яркое рождественское стихотворение написано уже в ссылке в деревне Норенской Архангельской области 1 января 1965 года. И в самом стихотворении «Волхвы забудут адрес твой…» уже явно слышны мотивы грусти и одиночества, смирения и надежды на Бога:

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь.
Поскольку больше дней, чем свеч,
сулит нам календарь.

Важным для него стало и рождественское стихотворение 1990 года, написанное вскоре после свадьбы в Стокгольме. Это ведь тоже не выносится напоказ, но, познакомившись с русской аристократкой Марией Соццани (по матери Берсенева-Трубецкая) 11 января 1990 года в Париже, где он читал лекцию в колледже *Ecole Normale Supérieure,* свадьбу поэт решил праздновать в похожем на Петербург северном шведском городе 1 сентября того же года. Уже потом они с женой поехали в Америку, на место жительства. Почему же Бродский не пожелал сыграть свадьбу в Америке, где он жил и работал, или в Милане, где жила его

невеста, а уехал все на тот же почти Русский Север? И вот под Новый год, 25 декабря 1990-го, он пишет рождественское стихотворение о том, как хорошо быть вместе: с Богом, с любимой…

Не важно, что было вокруг, и не важно,
о чем там пурга завывала протяжно,
что тесно им было в пастушьей квартире,
что места другого им не было в мире.

Во-первых, они были вместе. Второе,
и главное, было, что их было трое,
и все, что творилось, варилось, дарилось
отныне как минимум на три делилось.

Последний раз поэт написал рождественское стихотворение «Бегство в Египет» в 1995 году. У Бродского к тому времени, 9 июня 1993 года, уже родилась дочурка Анна Мария Александра. Вроде бы о дочке и жене Марии пишет поэт: «Мария молилась; костер гудел», «Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то еще, дремал». При этом мы знаем, что, согласно замыслу стихотворения, младенец — это Христос.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

Друг Бродского и тоже нобелевский лауреат, поэт Дерек Уолкотт писал о нем: «Бродский считал писание стихов божественным призванием… Он никогда не эксплуатировал свое еврейство. Никогда не изображал из себя жертву — будь то в жизни или в творчестве… Ясное представление о Бродском сводится к тому, часто он был по-средневековому предан своему ремеслу… ремеслу в смысле созидания, божественного провидения. Многие его стихи по своей структуре напоминают интерьеры собора с его алтарем, с его сводами и т. д. — целая концепция стихотворения как архитектурного сооружения, собора…»

Где-то с конца пятидесятых годов XX века российские интеллектуалы из евреев испытывали тягу к христианству. Они разуверились в коммунизме, к которому были более чем причастны, были далеки и от своей родовой иудейской веры.

Даже выход романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и резкая критика его властями привлекали русских евреев именно к православию, к которому тянулись и автор романа, и его герой. Именно с этого времени Бродский начинает появляться с крестиком на шее, не забывая о своем череповецком крещении.

Думаю, никому не говоря, он так и нес в себе свой храм через всю жизнь.

Его поведение в жизни, нежелание мстить ни своей родине, ни неверным друзьям и возлюбленным, чувство благодарности и к периоду северной ссылки, и к своему родному городу — чисто христианские чувства. Только христианин мог написать такие стихи:

> Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
> жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
> Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
> перешел на шепот. Теперь мне сорок.
> Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
> Только с горем я чувствую солидарность.
> Но пока мне рот не забили глиной,
> из него раздаваться будет лишь благодарность.

Кроме смирения и чувства благодарности к миру Иосиф Бродский называет еще один важный критерий христианства: «По сути, есть один критерий, который не отвергает самый утонченный человек: вы должны относиться к себе подобным так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Это колоссальная мысль, данная нам христианством…»

В своих интервью уже в эмиграции Бродский противился навязываемому ему — особенно американской интеллигенцией — образу борца с советской властью. Литературовед Арина Волгина писала, что Бродский «не любил рассказывать в интервью о лишениях, перенесенных им в советских психушках и тюрьмах, настойчиво уходя от имиджа „жертвы режима“ к имиджу „self-made man“». Он делал утверждения вроде: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне». И даже: «Я-то считаю, что я вообще все это заслужил». В «Диалогах с Иосифом Бродским» Соломона Волкова Бродский заявлял по поводу записи суда Фридой Вигдоровой: «Я говорю об этом так, как на самом деле думаю. И тогда я думал так же. Я отказываюсь все это драматизировать!»

К стыду нашему, сегодня не просто стараются не замечать христианские мотивы у Бродского и его крещение, но даже

высмеивают его за это. Как это делает, к примеру, Виктор Ерофеев: «Бродский боялся неправильно вписаться в бессмертие, но именно это и произошло. Он был печальным концом великой русской литературы, которая, если вспомнить Достоевского, пыталась поймать Бога за задние лапы, и в этом ей крайне не везло. Богооставленность переживалась Бродским мучительно…»

Так и пишут оппоненты Бродского в духе этого желчного либерала и его литературоведческих опусов, в которых «конец литературы» фигурирует почти дежурно… Как бы в ответ таким, как Виктор Ерофеев, Бродский писал отнюдь не о богооставленности, а наоборот: «Я убежден, что Ему… должно нравиться то, что я делаю, иначе какой Ему смысл в моем существовании?» Вспомним и его изумительные стихи: «Бог сохраняет все; особенно — слова прощенья и любви, как собственный свой голос».

А я, читая его рождественские стихи, вспоминаю и самого поэта, и Марину Басманову, и красавицу жену Марию, вспоминаю и Вифлеем, где «…звезда, пламенея в ночи, / смотрела, как трех караванов дороги / сходились в пещеру Христа, как лучи». Искренне жалею, что Иосиф Бродский упорно не желал съездить в Израиль и посетить святые места, о которых столько писал. Он увидел бы, что Вифлеем находится не в ущелье, а скорее, на холме, и не в пустыне, а на взгорье. Да и лютые стужи в Вифлееме редки, но, впрочем, поэзия не обязана соприкасаться с географической реальностью. У нее другие законы.

Незадолго до смерти, в январе 1996 года, Бродский написал, подводя итоги всему сделанному им: «В общем, мне кажется, что моя работа по большому счету есть работа во славу Бога… Не важно, что я там провозглашаю в каких-то заявлениях. Ему это по душе».

Думаю, когда писал такие строчки, он вспоминал и о Череповце, и о своем (вспомним письмо Рубцова!) *хрламе.* И впрямь, неважно, сколько раз в сиюминутной суете он открещивался от своего *хрлама.* Главное, что Бог не открещивался от него, главное, что «Ему это было по душе»…

Тогда же он писал в блокнот Елене Чернышевой:

Пусть Вам напомнит этот томик,
Что автор был не жлоб, не гомик,
Не трус, не сноб, не либерал,
Но — грустных мыслей генерал.

Он и был тайным череповецким генералом грустных, порой самоуничижительных мыслей. И непреложный факт: когда

Бродского выслали в Вену в июне 1972 года, он вылетел в красном свитере и с золотым крестиком на груди. Как мне рассказал Яков Гордин, этот крест подарил Иосифу он. Позже в Америке поэту объяснили, что надо хотя бы в жизни соблюдать политическую осторожность, если хочешь добиться успехов, как «нью-йоркский элитарный интеллектуал», и потому он в многочисленных интервью уже отмалчивался или острил по поводу своего христианства, но в стихах оставался прежним. Поэта и после смерти отпели по протестантскому, а потом и по православному канонам, урну с прахом вначале установили в нише на американском кладбище, а позже перевезли на «остров мертвых» Сан-Микеле, что в Венеции.

МОРСКАЯ ДУША

Иосиф Бродский был с детства обречен на любовь к морю. Во-первых, его любимый отец был морским офицером, и маленький Ося примерял на себя все морские фуражки, тельняшки и кортики Александра Ивановича. Во-вторых, когда отец после войны вернулся в Ленинград, он несколько лет работал в Военно-морском музее, а вместе с ним там часто бывал и его сынишка. Он даже школу иногда не посещал, убегая вместо занятий в музей.

Его пропускали, зная, что он сын заведующего фотолабораторией, а он, не заходя к отцу, просто бродил по залам, впитывая в себя историю русского флота. «Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы — анфас и в профиль — в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине».

Впрочем, у него и дома хранилась привезенная отцом из Китая маленькая бронзовая модель джонки, на которой он отправлялся в мысленные путешествия. Школу он не терпел любую, и поэтому глупо, как сейчас делают многие исследователи его творчества, выводить частую смену школ, а затем и вовсе уход из 8-го класса 191-й ленинградской школы, тем, что ему не нравилась советская система образования. Неплохая была все-таки система даже на мировом уровне. Думаю, так же Иосиф бросал бы школу и в любом другом месте, хоть в Древнем Риме, хоть в Венеции, хоть в Израиле… А вот во Второе Балтийское морское училище, на отделение подводников, он пытался поступить в 1954 году, но не получилось. А жаль — хорошим бы морским офицером был и стихи бы наверняка писал, но совсем другие. Сам Иосиф в одних интервью объясняет свое непоступление тем, что не прошел по здоровью, в других — тем, что он еврей. Может, и то и другое вместе? «Национальность, пятый пункт. Я сдал все экзамены и прошел медицинскую комиссию. Но когда выяснилось, что я еврей — уж не знаю, почему они это так долго выясняли, — они меня перепроверили. И вроде выяснилось, что с глазами лажа, астигматизм левого глаза…»

Но любовь к морю у Иосифа никуда не подевалась, он даже какое-то время работал матросом на маяке. Не случайно он так любил именно Андреевский флаг и в своих имперских мечтах желал, чтобы флагом его империи был Андреевский крест на белом поле. Этот флаг ему нравился гораздо больше, чем

«двуглавая имперская птица или полумасонский серп и молот». Кстати, так мимоходом Иосиф Бродский высказал свое презрительное отношение к масонству.

Третьей, может быть, главной причиной рождения «морской души» Бродского было само его всегдашнее проживание близ морей и океанов. Как родился у одного моря, так и похоронен на острове в другом море. Не случайно и в конце жизни, уже после женитьбы на Марии, он все так же любил красоваться в морской фуражке.

Он сам признается:

> Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
> серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
> и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
> вьющийся между ними, как мокрый волос…

Более того, все его переезды и странствия всегда заканчивались тем или иным морским пейзажем. Как мне признавались его шведские друзья, он и отель в Стокгольме всегда просил заказать такой, чтобы был прямо на берегу Балтики. Даже его любимый кот напоминал о «серых цинковых волнах», о ласково называемой им «водичке» и носил имя Миссисипи. Он переезжал из одной империи в другую, не забывая о третьей, крайне важной для его поэзии — Римской империи. Империи менялись, а море оставалось… Все мы помним его строчки: «Если выпало в Империи родиться, / Лучше жить в глухой провинции у моря…»

Вообще, вся его поэзия, особенно поздняя, напоминает письма, упакованные в бутылки и брошенные в открытое море, куда-то — неизвестно когда и неизвестно куда — обязательно доплывут. Его жизнь, по большому счету непутевая, кроме последних семейных идиллических лет с женой и дочерью — это письмо в бутылке, брошенное в море:

> Я честно плыл, но попался риф,
> и он насквозь пропорол мне бок.
> Я пальцы смочил, но Финский залив
> тут оказался весьма глубок…

И остаются от него одни воспоминания «при виде волн… в беге строк и в гуденье слов…». «Морская душа» рождает морскую поэзию… Филолог из Эстонии, тоже, кстати, морской прибалтийской страны, Михаил Лотман написал блестящую

работу о поэзии Иосифа Бродского «С видом на море». И в самом деле, вся поэзия Бродского, включая ленинградскую, ссыльную поморскую, американскую, венецианскую, стокгольмскую, дублинскую, — это поэзия «с видом на море».

Поэт Иосиф Бродский, гражданин Иосиф Бродский в течение жизни менялся неоднократно и радикально, но со своей «морской душой» он никогда не расставался, море в поэзии Бродского, русского ли периода, американского, странствий по Швеции, Италии, Мексике, оставалось все тем же морем. В этом, как и в своей любви, он был постоянен. Его привлекала прежде всего стихия моря, не подвластная никому. В этом он был солидарен с чуждым ему Александром Блоком, который после гибели «Титаника» сожалел о гибели людей, при всем этом признавая, что стихия океана выше… Вот и Бродский пишет о том же: «Потом он прыгает, крестясь, / В прибой, но в схватке рукопашной / Он терпит крах…»

Анна Александрова в своей диссертации о Бродском отмечает: «В раннем творчестве поэта преобладает абстрактное изображение воды, характерное для романтической традиции. Это обусловливается влиянием бардовской поэзии на раннего Бродского, к которому позже присоединилась традиция М. Цветаевой. В ранних произведениях вода изображается как романтическая „темная вода“, царство ужаса и смерти („Холмы“, „Ты поскачешь во мраке“). Наряду с абстрактным изображением воды молодого поэта привлекает сама ее сущность. Побывав в Крыму в 1962 году, Бродский начинает описывать воду более конкретно. Так, целый пласт стихотворений 1962–1964 годов соотносится с любовной темой („Пророчество“, „Песни счастливой зимы“), море выступает как идиллический фон для любви, как стихия чувственного и одновременно умиротворяющего характера. Ритм шума морских волн воплощает цикличность бытия и вечность любовного чувства. Наряду с этим реализуется традиционный мотив моря как пространственной границы, как „места в нигде“, где можно отгородиться от хаоса реальности… Далее начиная с 1964 года развитие этой темы идет в двух различных направлениях: 1) Вода — субстанция, способная поглощать людей, память о них, их тела (традиционный образ Леты). Субстанция времени алогична, обладает собственным сознанием. Подобное представление постепенно складывается у Бродского. Одно из его ответвлений — тема утопления и мотивы утопленничества, которое поэт почти сразу начал связывать с „пропажей“ человека во времени… 2) Амбивалентно поэт рассматривает воду как атрибут дихотомии „свобода — рабство“. Ключевым здесь становится образ империи как „душной страны“,

жители которой постоянно обуреваемы жаждой, а море в империи изображается либо как замерзшее („Anno Domini“, 1968), либо как недвижимое и мелеющее. Жизнь „в глухой провинции у моря“ („Письма римского другу“, 1972) противопоставляется душному миру столицы…»

Увы, часто исследователи в своей научности мертвят дух живой поэзии Иосифа Бродского, к тому же постоянно раздираемого собственными противоречиями. То он в своих первых эмигрантских интервью признается в определенной «советскости», и этот мотив в той или иной мере сопровождает его до конца жизни, то, оправдывая свою эмиграцию (прежде всего перед самим собой), начинает демонизировать родину:

> Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
> Но было бы чудней изображать барана,
> дрожать, но раздражать на склоне дней тирана…

Уж кем-кем, но тираном дряхлеющий Леонид Брежнев никогда не был. Тем более при этом величием своей державы Иосиф Бродский всегда так или иначе гордился — не зря же позировал в советской футболке. Но все его воспоминания о родине неизбежно переходили на морскую или, в крайнем случае, водную тему. Да и сами его путешествия по Крыму, по Поморскому Северу, по Прибалтике, даже по Якутии так или иначе связаны с водной гладью. Беломорье, Лена, Коктебель и Ялта, Вильнюс и Таллин, кругом одна вода, сплошные водные пространства. Он поневоле «привык к свинцу небес и к айвазовским бурям…».

Он родился у самого синего моря, жил у моря, уехал в США, в «Империю, чьи края / опускаются в воду…» («Колыбельная Трескового мыса»). Он поселился в Нью-Йорке, рядом с «водичкой», умер у океана, похоронен на острове посреди моря — вот уж поистине «морская душа»! Морской темы в его поэзии гораздо больше, чем еврейской, американской или итальянской. После русской темы, пожалуй, второе место займет. Исследователи уже немало писали о морском восприятии Иосифа Бродского. Вот, к примеру, Михаил Лотман: «Море в поэзии Бродского предстает в двух категориях: в пространственной и временной.

1. Море как пространственная категория непосредственно связано с поэтической моделью мира Бродского и имеет символический смысл… „В состязании с сушей“ море выступает как активное начало, когда-нибудь оно окончательно захлестнет сушу:

Когда-нибудь оно, а не — увы —
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы „не надо“,
вздымая гребни выше головы…

(Второе Рождество на берегу…)

Море сначала стирает индивидуальные особенности попавшей в него вещи:

И только корабль не отличается от корабля.
Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног у которого ушла земля…

(Новый Жюль Верн, II)

И наконец разрушает и полностью поглощает ее … „Море полно сюрпризов“, в этой непредсказуемости еще одно преимущество моря перед сушей:

Море гораздо разнообразней суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.

(Новый Жюль Верн, V)

Таким образом, море живет по своим законам, отличным от законов суши и человека…

Горбунову (поэма „Горбунов и Горчаков“) в сумасшедшем доме снится море. Море — это „нечто большее, чем мы, / что греет нас, само себя не грея“, и поэтому море для Горбунова оказывается реальнее, пусть даже и во сне, чем Горчаков „на табурете“.

Предпочтение воды другим стихиям является одной из причин внимания Бродского к морю:

Что на вершину посмотреть, что в корень —
почувствуешь головокружение, рвоту;
и я предпочитаю воду…

(Реки)

В эссе „Набережная неисцелимых“ Бродский пишет: „В любом случае я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — поскольку я северянин — к ее серости“. Море для Бродского — это освобождение. Именно на берег моря он уехал бы жить с любимой женщиной, отгородившись от мира, от враждебного государства „высоченной дамбой“ (Пророчество). Море становится метафорой свободы от пространственных ограничений, а нарушение календарного цикла — метафорой свободы от ограничений временных.

Море значительнее человека, оно неподвластно ему.

2. Море как временная категория. Время в поэзии Бродского может трактоваться как продолжение пространства. Часто время у Бродского связано с морем. Сам Бродский в эссе „Набережная неисцелимых“ по этому поводу писал: „Под всякий Новый год… <…> я стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, новой пригоршни времени“ …

Время для Бродского — это абсолют. Однако время, воплощаясь в море и расширяя его, само начинает сужаться. Море как временная категория начинает приобретать конкретные координаты во времени: „Октябрь. Море поутру / лежит щекой на волнорезе“ (С видом на море, I).

Если указано время, чаще всего становится очевидным и место в пространстве:

> Январь в Крыму. На черноморский брег
> зима приходит как бы для забавы…

(Зимним вечером в Ялте)

Признание Бродского в том, что он на Рождество старается быть рядом с морем, ассоциируется с периодически повторяемым в его рождественских стихах символом звезды. Эти символы поэзии Бродского взаимосвязаны, и так же как время отражается в море, в нем отражается и звезда: „Звезда желтеет на волне“… (Загадка ангелу). Связь образа моря и рождественских мотивов подчеркивается еще и тем, что море у Бродского мы видим чаще всего в осеннее или зимнее время. Север, а также Балтийское море ассоциируются у Бродского с серым цветом — цветом „времени и бревен“ (Пятая годовщина)…»

Иосиф Бродский в течение всей жизни, всегда в период

тревог и переломов, прежде всего возвращался к своему началу: к морю:

Когда так много позади
всего, в особенности — горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.

В море, по мнению Бродского, сходятся не только время и пространство, но и рождение и смерть. Бродский всегда стремился оказаться поближе к «водичке», особенно сильно его притягивала «серая балтийская вода», вода Русского Севера и Петербурга. И в странствиях своих поздних он всегда старался найти себе свой приморский Петербург: в Америке, в Швеции, в Венеции… Разве что вулканический Коктебель привлекал его в неменьшей степени, являлся как бы продолжением родного Петербурга, его черноморской окраиной.

Море у Бродского воспринимается как колыбель и могила всего живого. Его поэзия и впрямь носит морскую фуражку. Может, это еще и тайная связь с любимым отцом? Не случайно поэт перенес ожившего будто бы отца из Петербурга на другой океанский край — в Австралию.

Ты ожил, снилось мне, и уехал
В Австралию. Голос с трехкратным эхом
Окликал и жаловался на климат
И обои: квартиру никак не снимут,
Жалко не в центре, а около океана,
Третий этаж без лифта, зато есть ванна…

С морем у него связан весь мир, он сравнивает с морем и оперный театр, и равнинный пейзаж, и отношения с любимой. И вместо будильника у него крик морских чаек, как в стихотворении 1990 года «Я проснулся от крика чаек в Дублине…». Они и на самом деле там громко кричат, впрочем, так же и на Соловках. «Крики дублинских чаек… раздирали клювами слух, как занавес…» Даже вместо неба и ночной луны у Иосифа Бродского «звезда морская в окне лучами / штору шевелит, покуда спишь» (Лагуна, 1973). Море соединяет воедино лучше всяких телефонов и самолетов мировые пространства, Австралию и Мексику, Ирландию и Швецию, Россию и Италию. Всего-то оглянуться на тот, другой берег — там и увидишь поэта.

Впрочем, морской пейзаж для него всегда часть времени и

пространства. Перемещаясь от побережья Балтики в советские времена к побережью Черного моря, своего любимого Коктебеля, позже в Венецию, в Адриатику, он перемещался вроде бы в пространстве, но по-прежнему оставался на морском берегу.

В советский период жизни Коктебель притягивал Иосифа Бродского как магнит. Его манили и карнавальная атмосфера приморского курорта, и его незримая связь с любимым Серебряным веком. Волошин. Гумилев, Цветаева, Ахматова — все его ранние кумиры побывали там.

Первый раз в Коктебель Иосиф Бродский приехал вместе с тогдашним своим другом Анатолием Найманом в 1967 году. Михаил Ардов вспоминает: «Мы ужинаем на кухне в коктебельском доме Габричевских — Наталья Алексеевна, Бродский, мой приятель Александр Авдеенко и я. Иосифа сильно раздражает жужжание, он поднимается и резким движением руки сбивает осу…

— Так, — растерянно произносит Наталья Алексеевна, — готово…

Оса угодила ей за вырез платья. Бродский хватается за голову. За столом тишина, общая растерянность. Через минуту оса выбирается, не причинив нашей хозяйке никакого вреда…

Этот незначащий эпизод запомнился мне еще и потому, что Бродский упомянул о нем в своем стихотворении.

В ту осень… Наталья Алексеевна написала его портрет, по-моему, весьма удачный. А Иосиф на оборотной стороне картона собственноручно начертал сонет, который начинался так:

Мадам, Вы написали мой портрет,
Портрет поэта, хвата, рукосуя…
……
За то, что Вам адресовал осу я…»

Позже Томас Венцлова рассказывал: «Говорят, что Александр Габричевский, познакомившись с Бродским, сразу сказал: „Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни“. — „Побойся Бога, — ответили окружающие, — ты видел Стравинского, Кандинского и даже Льва Толстого“. — „Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни“, — невозмутимо повторил Габричевский». Через год, в 1968 году, Габричевский скончался. Но мистический, эзотерический, горно-морской Коктебель звал Иосифа снова и снова. В 1969 году, в январе, он сначала едет в Ялту, где пишет любовно-детективную поэму «Посвящается Ялте» и известное стихотворение «Зимним вечером в Ялте»:

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состоянье удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют рестораций. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» — «Налейте».

Как поэт признается, хотя мгновения и не столь прекрасные, но неповторимые… К тому же уносят его вдаль от несостоявшейся любви. Всех озадачивает его большое стихотворение или поэма «Посвящается Ялте»: что это за убийство загадочное, кого убили? И кто убийца — не сам ли Бродский? Так фигурально, не реально, он заканчивает свой роман с балериной Марианной Кузнецовой. Позже дочь поэта от этого романа рассказывала: «Бродский посвятил маме стихотворение „Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве…“ (1987). Но об отце она мне практически ничего не рассказывала… Я узнала о некоторых нюансах буквально года за полтора до смерти Иосифа. Толком ее расспросить я не успела. Зато нашла открытки, которые он присылал ей из Ялты, еще откуда-то, с забавными полуматерными стихами».

Литературоведы Екатерина Дайс и Игорь Сид уже составили толковую версию: «Инцидент в Ялте — смерть неординарного человека, по поводу которой его дама и ее любовники дают свидетельские показания — просто метафора разрыва с возлюбленной, ушедшей к другому. Сформулируем гипотезу впервые: по-видимому, петербургская история Иосифа Бродского, Марии Кузнецовой и, вероятно, Гарика Воскова послужила отправной точкой для поэмы „Посвящается Ялте“. Место действия здесь, как в театре, довольно условно. Крым — лучшие театральные декорации для извечной драмы любви, ревности и измены…»

Но Ялта, дав ему возможность покончить с любовным романом, не насытила самим Крымом. Осенью, в октябре 1969 года, ему удалось получить путевку в писательский Дом творчества «Коктебель». По сути, Коктебель и был идеальной имперской «глухой провинцией у моря». Тут тебе и остатки античности, его любимой Римской империи, тут и древние скифы, при этом, как говаривали, «любимая песочница советской империи». Все сразу. Да еще и богема, которой Иосиф тоже не чурался. Там можно было чувствовать себя и «несоветским

человеком». Вспоминает все тот же Михаил Ардов, давний коктебелец со стажем: «В тот год друзья раздобыли Бродскому путевку в коктебельский писательский дом, а я тогда жил у Габричевских. Собственно, уже у одной Натальи Алексеевны, Александр Георгиевич скончался за год до этого — в сентябре 1968-го. Бродский там пришелся ко двору. Мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио… Шумно отметили день моего рождения 21 октября. Бродский по этому случаю сочинил пространную шутливую оду. А еще мы ходили в совхозный сад джимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось. Он даже шуточную оду ко дню моего рождения окончил так:

За сотню строк наджимболосив,
Я Вас приветствую. Иосиф».

Тогда же Наталья Северцова написала его коктебельский портрет, к которому он на обороте сделал посвящение художнице: «Пускай же благодарностью прервется / Моим пером сплетаемая нить…»

«Я не придерживаюсь и не ищу какой-то одной манеры. По-моему, всякий осколок, всякая соломинка может заговорить языком искусства, если художник сумеет извлечь из них ту красоту, которая в них скрыта, как во всей окружающей жизни», — писала художница Наталья Северцова (1901–1970). Она была женой выдающегося искусствоведа, философа, переводчика Александра Габричевского. Актриса, ученица известного театрального режиссера Юрия Завадского, Северцова стала хозяйкой легендарного дома в Коктебеле, где бывали знаменитые поэты, музыканты, художники: Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Роберт Фальк, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер… Одним из последних ее любимых гостей был и Иосиф Бродский, живший у нее в 1967 году и часто бывавший в октябре 1969 года. Там он написал сонет «Madam, благодарю за мой портрет…», адресованный хозяйке дома.

С тех пор Коктебель казался ему кусочком рая. Что еще надо неприхотливому в быту поэту: полная свобода, почти не ограниченная властями, которых в том же Коктебеле и не видно вовсе, возможность писать, прекрасный коктебельский коньяк и всегда шумное море. Да еще мистический, дающий энергию Карадаг. В стихотворении, посвященном Наталье Северцовой и датированном октябрем 1969-го, он пишет:

Не рыдай, что будущего нет.
Это — тоже в перечне примет
места, именуемого Раем.
Запрягай же, жизнь моя сестра,
в бричку яблонь серую. Пора!
<…>
То не в церковь белую к венцу —
прямо к света нашего концу,
точно в рощу вместе за грибами.

Запомним: «Место, именуемое Раем…» И вроде бы уже была сырая осень, поэт ходил по берегу моря в курточке, укрывался от ветра и брызг, но на лице его явно написанная радость от жизни, от поэзии, от девушек, от моря, от вулкана, от рая. Я считаю сделанное тогда фото одной из самых удачных фотографий Иосифа Бродского. Балюстраду на берегу моря хорошо помнят все коктебельцы, для меня это тоже с 1970-х годов одно из самых любимых мест. На снимке видны и море, и пляж, и даже любимый кот выглядывает из куртки; из-под капюшона виден и один острый наблюдающий глаз поэта. Не знаю, кто сделал фотографию — может, Яков Гордин, тоже находившийся там, может, Анатолий Найман?

Впрочем, там была целая компания молодых литераторов, допущенных в октябре до писательского Дома творчества — летом давали путевки самым именитым и чиновным. В такой атмосфере и стихи писались легко:

Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это — временный, но выход
за скобки года, из ворот
тюрьмы. Посмеиваясь криво,
пусть Время взяток не берет —
Пространство, друг, сребролюбиво!
Орел двугривенника прав,
четыре времени поправ!

В этом октябрьском стихотворении «С видом на море», посвященном Ирине Медведевой, он подробнейшим образом описывает все детали коктебельского быта, все закоулки пейзажа.

Здесь виноградники с холма

бегут темно-зеленым туком.
Хозяйки белые дома
здесь топят розоватым буком.

Так и видишь эти бегущие вниз с холма виноградники на горе Волошина, видишь эти приветливые небольшие белые домики местных жителей.

…свершивший туалет без мыла
пророк, застигнутый врасплох
при сотворении кумира,
свой первый кофе пьет уже
на набережной в неглиже.

Набережная Коктебеля, знаменитая площадка перед Домом творчества писателей, тут же дом самого Макса Волошина, его памятник, площадка заканчивается литературным салоном моего друга Славы Ложко. Слава уже пробил памятник Николаю Гумилеву в Коктебеле, пора бы ему заняться проектом памятника Иосифу Бродскому. Не в его ли салоне поэт пил свой первый кофе в неглиже?

…Обзаведясь
в киоске прессою вчерашней,
он размещается в одном
из алюминиевых кресел;
гниют баркасы кверху дном,
дымит на горизонте крейсер,
и сохнут водоросли на
затылке плоском валуна.

Точнейший быт отдыхающего в Коктебеле литератора. Прыгает в прибой, освежается, пьет кофе и «лезет в гору без усилий…», на ту самую гору Волошина, где и находится могила знаменитого русского поэта. Это уже какая-то иная творческая реальность жизни.

Когда так много позади
всего, в особенности — горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно

и глубже. Это превосходство —
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит.

Это стихотворение давно бы уже надо выбить на камне при подъезде к Коктебелю. Я понимаю: в советское время Бродского нельзя было вспоминать по одним причинам, в украинские времена — по другим (всем памятно стихотворение «На независимость Украины»), но сегодня коктебельцам пора уже озаботиться этим.

Из Коктебеля поэт ездил и в Бахчисарай, где написал шутливые стихи: «Где раньше ханский был шатер, / устроил хамский пир шахтер…» Писатель Юрий Кувалдин вспоминает те коктебельские времена: «Шумело море в конце октября 1969 года. Было тепло, и кое-кто даже купался. Мы сидели на палубе. Володя Купченко, Иосиф Бродский, Александр Горловский из Загорска и я в роли писателя Юрия Кувалдина, принесшего бутылку коньяку. А тут и вина молодого мутного было достаточно. Я приехал сюда из Риги, от художника Яна Паулюка. Было еще человек десять-пятнадцать без вести пропавших с лица земли. Юный, рыжий и конопатый, Иосиф Бродский, глядя куда-то в даль моря, прочитал: „Октябрь. Море поутру/ лежит щекой на волнорезе…“ Читал он всегда с большой охотой, подвывал свои стихи так поэтически-монотонно, что ни один чтец так читать не может. Бродский бывал в Коктебеле несколько раз…»

Конечно, Иосиф Бродский из всей группы так называемых «ахматовских сирот» был самым глубокомысленным и склонным к мистицизму. Евгений Рейн позже вспоминал времена своего знакомства с Бродским: «У него еще была какая-то своя компания, которая в основном интересовалась не стихами, а какими-то эзотерическими вещами типа дзен-буддизма… Всякими восточными мистическими обстоятельствами. Это были Андрей Волохонский, Гарик Гинзбург-Восков, еще какие-то люди…» В эту мистику, естественно, входила — а вот многом и определяла ее — мистика моря.

Бывал он в Крыму и в январе 1970 года, в ялтинском Доме творчества Литфонда, приехал туда же и в январе 1971-го. Написал там стихи: «Второе Рождество на берегу / незамерзающего Понта./ Звезда Царей над изгородью порта…» И каждый раз, очевидно, заезжал в Коктебель. В те же годы приезжал и в Одессу, которой тоже были посвящены стихи. Тут

тебе и море, и знаменитая одесская лестница, по которой поэт взбегал, как тот революционный матрос из фильма «Броненосец „Потемкин“»: «Как тот матрос… / ногтем перила, скулы серебря / слезой, как рыбу, я втащил себя», и не менее знаменитый памятник Пушкину, перед которым Бродский почувствовал «тоску родства», и все та же стихия вольного моря. «Так набегает на / пляж в Ланжероне за волной волна / земле верна».

Потом советская империя ушла навсегда, но выросла в его жизни другая империя на другом берегу, общее у них — все та же морская, океанская стихия. И так до конца жизни. У него и любовь большая, от начала до конца, развивалась на морском берегу.

В конце концов, так ли важны конкретные детали и подробности, которые на долгие десятилетия Иосиф Бродский укрыл от глаз людских, когда писал: «Я не возражаю против филологических штудий, связанных с моими худ. произведениями — они, что называется, достояние публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние, с Божьей помощью принадлежала и принадлежит только мне… Что мне представляется самым дурным в этой затее, это — то, что подобные сочинения служат той же самой цели, что и события в них описываемые: что они низводят литературу до уровня политической реальности. Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы — уж простите за резкость тона — грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, — скажет французик из Бордо, — все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И „Стихотворения“ покупать не станет… Мне не себя, мне его жалко…» Конечно, Иосиф Александрович слегка преувеличил будущий интерес к диссидентству. Сегодня оно никого не интересует, но зато в моде клубничка, интимные подробности. И здесь все же интереснее не любовные детали его отношений с Мариной, Марианной или еще кем-либо, а то, как из этих чувственных отношений рождались великолепные стихи, созвучные и любви, и морю-океану.

К примеру, начало любовного романа с Мариной Басмановой связано с морем и морским берегом: «Мы будем жить с тобой на берегу…» А прощание с любимой у него неизбежно связано… с гнилью отлива:

> Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
> ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
> Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем

бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Да, Марина для него навсегда оставалась молодой и красивой, веселой и беспечной, себе же он оставил на будущее только гнилье океанского отлива…

Все свои важнейшие события в жизни он связывает с океанами и морями, отливами и приливами, берегами и мостами, от рождения в балтийском Петербурге до нынешней могилы в Венеции, на острове Сан-Микеле. А дальше его ждали уже звезды: «Снявши пробу с / двух океанов и континентов, я / чувствую то же почти, что глобус. / То есть, дальше некуда. Дальше — ряд / звезд. И они горят…»

ПЕРСИДСКИЙ СЛЕД

Как вспоминал Иосиф Бродский, первым сборником стихов, который он взял сам в библиотеке, был сборник великого персидского поэта Саади «Гулистан». Тогда же, в 16–17 лет, началось увлечение восточной философией; он прочитал Бхагават-гиту, Махабхарату, «Дао дэ цзин», познакомился с учениями буддизма, даосизма, зороастризма. В 1957 году в редакции ленинградской молодежной газеты «Смена», куда носил показывать свои стихи, он встретился с Олегом Шахматовым, бывшим военным летчиком, лет на семь старше его, но таким же неуправляемым и авантюрным. Тот привел Иосифа в кружок Александра Уманского, талантливого дилетанта, пишущего оккультные трактаты, началось его увлечение Востоком и разного рода метафизическими учениями.

Несомненно, был в этом и некий вызов зашоренному советскому обществу. Мистическая Персия, да еще и преломленная через книгу Ницше «Так говорил Заратустра», оказалась на какой-то момент чрезвычайно близка Бродскому. В соединении с явным неприятием господствующей в Советском Союзе системы это увлечение Востоком чуть было не привело к трагическим результатам.

Олег Шахматов, к тому времени уже ушедший из авиации, изгнанный за пьянство и скандалы из Ленинградской консерватории, сумел восстановиться лишь в Самаркандской консерватории и стал усердно заманивать к себе в гости молодого друга Осю Бродского. Ведущий вольную жизнь, прерываемую лишь летними работами в экспедициях, Иосиф Бродский с радостью, чуть подкопив деньжат, сел на самолет и в декабре 1960 года полетел на столь загадочный для него Восток. Заодно взял с собой новый трактат Александра Уманского для передачи Шахматову. Позднее, в своих беседах с Соломоном Волковым, Бродский вспоминал о Шахматове: «Уманский больше всего на свете интересовался философией, йогой. <…> И Шахматов начал читать все эти книжки. Представляете себе, что происходит в голове офицера Советской армии, военного летчика к тому же, когда он впервые в жизни берет в руки Гегеля, Рамакришну, Вивекананду, Бертрана Рассела и Карла Маркса?» При этом Иосиф отмечал даровитость и активность своего нового приятеля: «Шахматов был человеком весьма незаурядным: колоссальная к музыке способность, играл на гитаре, вообще талантливая фигура. Общаться с ним было интересно». Поэтому после двух предложений подряд Иосиф, может, уже и с какими-то

тайными помыслами, решился на полет в Самарканд. Позднее он описал свой первый полет из Москвы на Восток в стихотворении «Ночной полет» в 1962 году:

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звезды глядел,
и в кармане моем заблудившийся ключ
все звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;
был далек от меня мой родной Ленинград,
и все ближе — пески.
<…>
Счастье этой земли, что взаправду кругла,
что зрачок не берет из угла,
куда загнан, свободы угла,
но и наоборот:
что в кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.

Он оказался в Средней Азии, как бродячий дервиш, как Велимир Хлебников в послереволюционных скитаниях по тому же Востоку. Олег Шахматов был нужен ему скорее как поводырь, проводник по местности. До Персии еще было далековато, но всё вокруг уже было пронизано персидской древней культурой. Никакая советская власть не могла переделать загадочную атмосферу Востока. Спать Иосифу Бродскому в Самарканде было негде, сам Шахматов жил при консерватории тоже на каких-то птичьих правах, пришлось Иосифу и впрямь, подобно дервишу, ночевать и дневать в древних мечетях Шах-и-Зинды.

Позже, в своем увлекательном эссе «Путешествие в Стамбул», где он подводит итоги и прощается с былыми восточными пристрастиями, Иосиф все же вспоминает Самарканд с восхищением: «Я видел мечети Средней Азии — мечети Самарканда, Бухары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Как не сказал Ленин, ничего не знаю лучше Шах-и-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они — шедевры масштаба и колорита, они — свидетельства лиричности Ислама. Их глазурь, их изумруд и кобальт запечатлеваются на вашей сетчатке в немалой степени благодаря

контрасту с желто-бурым колоритом окружающего их ландшафта. Контраст этот, эта память о цветовой (по крайней мере) альтернативе реальному миру, и был, возможно, поводом к их появлению. В них действительно ощущается идеосинкретичность, самоувлеченность, желание за(со)вершить самих себя. Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы — в пустыне».

И впрямь, один из самых загадочных и неповторимых архитектурных памятников Самарканда — комплекс Шах-и-Зинда, состоящий из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц.

Шах-и-Зинда — место захоронения царственных особ и знати. Основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда — Кусама ибн Аббаса. Его так и назвали «Шах-и-Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой царь». Он был одним из тех, кто проповедовал ислам в этом крае, и позже этот комплекс стал важным местом паломничества, почитаемым в народе как святыня. По преданию, ибн Аббас пришел с проповедью в Самарканд в 640 году, провел там 13 лет и был обезглавлен зороастрийцами во время молитвы. Еще в средние века паломничество к могиле «Живого царя» приравнивалось к хаджу в Мекку. Так что Бродский с его ночлегами в Шах-и-Зинде и впрямь стал дервишем или, согласно его же ранним стихам, пилигримом.

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.

Но этого паломничества к «Живому царю» дерзкому Иосифу было мало. От Самарканда уже лежал прямой путь в Тегеран, а то и в Мекку. Еще в Ленинграде, узнав о бывшей летной профессии Шахматова, Бродский напрямую спросил друга: «С таким умением и сидеть здесь?» В Самарканде от абстрактных мечтаний Иосиф перешел к конкретному плану действий. «Как-то Иосиф узнал, что я поступил в самаркандскую консерваторию и хочу стать профессиональным музыкантом, — вспоминал Олег Шахматов. — Что тут началось! Он орал на меня, топал ногами и называл… В общем, самыми мягкими эпитетами, которыми он меня тут же наградил, были „дурак“, „идиот“ и „кретин“… Когда

Бродский узнал, что я — военный летчик, знаешь, что он мне сказал? „Как же, Олег, ты можешь жить ЗДЕСЬ, имея ТАКУЮ профессию?!“ Намек понял? А я не сразу разобрался, к чему он клонит. Тем более тогда Иосиф поторопился сменить тему разговора. Я думаю, он был не только хорошим поэтом, но и прекрасным психологом. Скажем, заставить меня бросить самаркандскую консерваторию можно было только на форте фортиссимо, а вот уговорить угнать за границу самолет — хватило и пиано пианиссимо. Словом, уговаривать меня ему долго не пришлось, я сразу согласился бежать из Союза вместе с Иосифом…»

В голове Бродского созрела идея: вместе с Олегом захватить небольшой однопилотный самолетик и из Самарканда улететь дальше, в Афганистан или Иран. Через много лет после того первого разговора с Шахматовым о побеге лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский расскажет в интервью «Литературной газете»: «Мы закупили все места в маленьком пассажирском самолетике типа Як-12. Я должен был трахнуть летчика по голове, а Олег взять управление. План у нас был простой — перелететь в Афганистан и пешком добраться до Кабула…»

Они друг друга стоили — оба дерзкие и независимые, оба увлечены Востоком, Персией, оба не принимали советскую систему. У Бродского было больше идей, больше фантазии; у Шахматова — армейский опыт, более трезвый взгляд на жизнь. Все фантазии Иосифа Олег укладывал в их общую дорожную карту. Зато и авантюризма хватало через край. Может быть, сам Олег и не придумал бы такой план побега, но уж увлеченный идеей Иосифа, он этот план постоянно уточнял на месте. Как позже рассказывал Бродский С. Волкову: «Идея сбежать за границу была моя. Вот я и предложил вечно бедствующему приятелю захватить самолет и махнуть в Афганистан. Дело было в Самарканде, до границы — рукой подать. Я должен был стукнуть пилота по голове камнем, а приятель, бывший военный летчик, сесть за штурвал. Мы поднимаемся на большую высоту, потом планируем и идем над границей, так что никакие радары нас бы не засекли. Все было продумано до мелочей, даже билеты были куплены. На оставшуюся от билетов сдачу я купил грецких орехов и колол их тем самым камнем, которым должен был врезать летчику. Колю, значит, я эти орехи и вдруг понимаю, что орех-то внутри выглядит, как человеческий мозг… И я подумал: с какой это стати я буду бить его по голове. И кому нужен этот Афганистан».

Журналист Григорий Саркисов сумел взять интервью у Олега Шахматова, после перестройки осевшего в Литве. При всем его

авантюризме, бывший военный летчик, бывший заключенный, сразу же взялся уточнять план Бродского. Саркисов пишет после встречи с Шахматовым: «С точки зрения здравого смысла это был, мягко выражаясь, полный идиотизм — ведь в то время, в шестидесятые годы, Афганистан находился под сильным советским влиянием. Беглецов бы отловили и передали советским властям сами афганцы. Но не забудем — этот план побега придумал поэт! А поэты по земле не ходят, поэты парят в поднебесье, и им детали побегов продумывать не с руки… В то время летчик Олег Шахматов служил при штабе Особой воздушной армии. По долгу службы Олег знал расположение всех американских военных баз как на севере, так и на юге. Знал он и другое: окажись они с Иосифом в Кабуле, там их сердечно встретили бы советские товарищи. „Конечно, они бросили бы нам как землякам воды и лепешку хлеба за решетку, — говорит Олег Иванович. — Но потом бы нас переправили в Союз, и уж тогда мы с Иосифом вряд ли отделались бы ссылкой в Мордовию. За удавшийся побег в Советском Союзе ставили к стенке без особых разговоров“». Шахматов уточняет: бежать из Самарканда надо не в Афганистан, где в ту пору у короля все советники были из советских военных, а в проамериканский Иран, в Персию и долететь на самолетике лучше всего до американской военной базы в Мешхеде. Шахматов даже сообщает, что они купили билеты на самолет на рейс Самарканд — Термез, летящий в сторону границы, но рейс перенесли. А если бы не перенесли? Как сложилась бы судьба поэта при любых раскладах?

Попытка силой захватить самолет, да еще с применением насилия, — очень серьезная вещь, недопустимая в любом демократическом государстве. Даже если бы Шахматов и Бродский добровольно отказались от «преступного замысла», за ними до конца жизни должны были следить, что в «тоталитарном» СССР, что где-нибудь в США. В справке офицера ленинградского УКГБ Волкова говорится, что в январе 1962 года с Бродским проведена «профилактическая работа» (имеются в виду допросы 29–31 января). Но и после «профилактики» за ним продолжали непрерывно следить. Ведь ровно через десять лет после неудавшегося полета Бродского в Персию, 15 октября 1970 года, террористы — отец и сын Бразинскасы — угнали Ан-24 с сорока шестью пассажирами на борту, следовавший из Батуми в Сухуми. При захвате самолета была убита бортпроводница Надежда Курченко. Самолет приземлился в Турции, правительство которой отказалось выдать угонщиков, позволив им эмигрировать в США. Впоследствии Бразинскас-младший уже в США был осужден за убийство на бытовой почве своего отца. А

что случилось бы с психикой поэта Иосифа Бродского?

Передумал ли сам Бродский, чуть не ставший убийцей, не хватило ли у них с Шахматовым денег, или они узнали, что в самолете слишком мало топлива для полета в Персию, но сам Бог отвел поэта от чуть не состоявшейся смертельной авантюры. Ведь они уже и билеты на рейс купили, и камень был в рюкзаке припрятан, и легкий чешский самолетик «Супер-45», на котором предстояло лететь, основательно изучен. Вот взлетели бы, и ударил бы Иосиф Бродский своим булыжником пилота по голове, и даже долетели бы до американской базы в Иране, а дальше что? Даже если бы, как и в случае с Бразинскасами, американцы не выдали Советскому Союзу угонщиков, какова была бы судьба поэта? Смог бы вольный или невольный убийца писать столь проникновенные стихи? Думаю, нет. Судьба пусть и невольной убийцы поэта Николая Рубцова, весьма небездарной поэтессы Людмилы Дербиной — яркий тому пример. По большому счету после убийства, пусть и в драке, и в эффектном состоянии, поэтесса так и не состоялась, хотя и поддерживали ее такие миротворцы, как Евгений Евтушенко. Отвел Бог в свое время от дуэльных убийств наших великих поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, не дал состояться смертельному выстрелу Николая Гумилева во время их дуэли с Максимилианом Волошиным. А ведь Гумилев был опытным стрелком, боевым офицером — представьте, что этот замечательный русский поэт убил бы другого поэта? Опять Бог не дал…

Всё делали в той самаркандской суете не подумавши, наспех. Вот уж была бы «персидская стрела»! Я думаю, независимо от всех выдуманных — единственной настоящей причиной отмены побега стало ясное понимание Иосифа, что ударить человека камнем он не сможет, что так поступать нельзя. Журналист Григорий Саркисов продолжает беседу с Шахматовым: «Вот Бродский в интервью „Литературной газете“ в 1997 году говорил, что вы купили четыре билета на тот самолет и что вы уже заняли место в том самолете. Простите, но как же вы собирались покинуть борт? И потом, даже если бы вы этот „борт“ покинули, каким образом надеялись избежать встречи с советскими товарищами в Афганистане?

— Удивил! — усмехнулся Олег Иванович. — Мне тут многие на эту несостыковку намекали, не ты один такой умный. А дело-то — в деталях. Смотри — я сидел на правом сиденье впереди, а Бродский — сзади, за креслом пилота. Летчик нашего самолета был молоденьким щуплым пареньком, так что Иосиф мог его и убить своим булыжником… Ну, сели мы в самолет. А летчик ушел в диспетчерскую. Мы сидим с Иосифом, болтаем о том о сем.

Волнуемся, конечно… И еще я ему сказал: начиная с этого момента ты меня не знаешь. Иосиф послушал, кивнул своей умной головой, и мы стали ждать пилота. Тот скоро вышел из диспетчерской и направился к самолету. Пока он шел, я мысленно уже проиграл все варианты, вплоть до возможности ухода от советских перехватчиков.

Но Шахматов предполагал, а летчик располагал. „Ребята, — подойдя к самолету, загундел щуплый пилот, — дело уже к вечеру, а фиг я найду в Термезе пассажиров! Не полечу! Или полечу, но только если вы оплатите обратный рейс!“ Пока летчик вымогал у пассажиров денежку, Шахматов пытался выяснить, полностью ли заправлен самолет. Это было практически невозможно: если бы это был Як-12, количество горючего можно было определить по мерникам, но Шахматов совершенно не знал самолет „Супер-45“ и его системы (иначе он бы давно взлетел сам, не дожидаясь пилота)… В то героическое время в приграничных зонах самолетные баки никогда не заполняли горючим „под завязку“ — именно по причине близости границы. Чтобы у пилота не возникло непреодолимое искушение рвануть из советского рая… Словом, горючего у пилота действительно не было. И он требовал оплатить рейс до Термеза и обратно. А у Бродского с Шахматовым на двоих был один рубль. Так думает Шахматов. На самом деле, как пишет Бродский, этот рубль он потратил еще до посадки в самолет, купив на все деньги, то бишь на рубль, орехи. Видимо, чтобы питаться по дороге к Кабулу…»

Так что весь этот персидский план, по мнению Олега Шахматова, к счастью, не состоялся из-за нехватки денежек у несостоявшихся персидских паломников.

Анатолий Найман рассказывает свою версию побега: «Дело в том, что Бродский в возрасте, не могу сказать, в каком точно, может быть 20–21 год, познакомился и попал под короткое влияние такого человека по фамилии Уманский, который был философ, молодой такой философ, не числившийся нигде, а, скорее, то, что называемый уличный философ, который написал работу философскую то ли о солипсизме и монизме, в общем, такая у него была работа. И он хотел передать это на Запад. И Бродский немедленно, как любитель всяких таких авантюрных ситуаций, вызвался помочь. И они узнали о приезде в Ленинград американца, который впоследствии был адвокатом, если я не ошибаюсь, Освальда. Фамилия его была Белли, я точно не помню. Они пришли к нему в номер гостиницы, опять-таки, мне кажется, это была „Европейская“ гостиница, и пытались ему это отдать. Тот, проинструктированный Государственным департаментом, счел их за провокаторов и отказался это принимать и уехал;

поскольку он был туристом, он уехал в Самарканд, тогда линии были заранее наметанные. Он уехал в Самарканд… Потом я не очень знаю, там поджидал некто Шахматов. Он был пилот, военный пилот. Но у него как-то не заладилось в армии, он был уволен из армии, и какое-то было у него прошлое туманное, неразборчивое. И потерпев второе поражение, даже не встретившись с этим адвокатом, они решили угонять самолет. Как-то так уже договорились, что они все это сделают. Бродский пишет об этом и в интервью говорил о том, что он представил себе, как это сделать. Есть даже фотография какая-то Бродского возле маленького самолетика. Он представил себе все это в реальности и отказался от этого дела. В Ленинграде их „повязали“. Я не могу сказать точно последовательность. Я повторяю то, что я однажды уже говорил и даже писал. Они приехали в Ленинград, их всех арестовали. Тогда был месячник или полгода социалистической законности, поэтому нельзя было бесконечно держать. Не помню, сколько его продержали, две недели, три дня, не очень хорошо помню. Но то, что говорил следователю Бродский, те говорили, что следователь спрашивал, те отвечали прямо на вопрос, Бродский же, поскольку он был фигурой, как теперь более или менее миру известно, неординарной, он говорил нечто, что сбивало совершенно весь план следствия с толку, и поэтому его из этого дела выбросили. Кажется, его вызывали как свидетеля, но свели его участие до минимума тогда, и они его выбросили из этого дела».

А вот как эта история звучит в найденной историком Ольгой Эдельман справке прокурора Отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Шарутина и заместителя начальника отделения Следственного отдела КГБ при Совете министров СССР Цветкова, где анализируется другая справка по делу Бродского, составленная ленинградским кагэбэшником Волковым: «В справке указано о знакомстве Бродского с осужденными за антисоветскую агитацию Шахматовым и Уманским, вместе с которыми он вынашивал мысль об измене Родине… Шахматов и Уманский 25-го мая 1962-го года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый… Участие же Бродского по этому делу выразилось в следующем: С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957-го года в редакции газеты „Смена“ в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещали его. После осуждения Шахматова в 1960-м году за хулиганство последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал

его приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде. В конце декабря 1960-го года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись „Господин президент“ и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали. Установлено также и то, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора — не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград…»

Вернувшись домой, Иосиф постарался забыть про персидскую авантюру. Но Шахматова с оружием где-то через год задержали, и он, непонятно зачем, заодно рассказал чекистам всю историю с неудавшимся побегом. Заодно поведал и об антисоветских сочинениях Уманского, решив вместо уголовника стать политическим заключенным. Ради этого и предал своих товарищей, что ему Бродский уже до конца жизни не простил. Иосифу тогда повезло: кроме показаний Шахматова, других свидетельств его причастности к заговору не оказалось. Как считают, активно посодействовала нейтрализации дела о побеге и мама Иосифа Мария Моисеевна, работавшая в бухгалтерии ленинградского «Большого дома». Ход делу о неудавшемся побеге в Персию дан не был. Но папка с документами на Иосифа Бродского с тех пор пополнялась. Рано или поздно это должно было кончиться судебным процессом. Интересно, что позже Бродский написал рассказ о неудавшемся персидском полете, но этот рассказ был изъят ленинградской милицией и до сих пор хранится где-то в архивах МВД. Может, еще удастся его отыскать?

Меня в этой персидской истории интересует еще одна вечная загадка России. Я понимаю стремление молодого бунтаря бежать на Запад, его неприятие существующего режима, но почему, подобно Бразинскасам, он решил лететь не в насквозь проамериканизированную Турцию, не в Японию, не в Швецию? Почему из Питера вырываться на Запад надо через древнюю Персию? Иными словами, почему русских поэтов веками притягивал и притягивает Восток? Почему Бродский превращается в некое подобие лермонтовского Печорина, рвущегося в Персию? Конечно, Печорин — это придуманный герой: даже описывая сам себя, Лермонтов в чем-то преувеличил

достоинства своего героя, в чем-то максимально принизил его. Он выдавал мечты за действительность, он безжалостно бичевал сам себя. Вот его Печорин и в Персию едет, и погибает по дороге обратно, как бы реализовывая все тайные мечты самого автора. Значит, Персия была и тайной мечтой Иосифа Бродского? И он сам был подобен своей «персидской стреле»?

В Персию мечтал попасть и сам Лермонтов, который писал Сергею Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч.». Мечтал о Персии и его друг, поэт-декабрист Александр Одоевский, который в 1835 году сожалел о несбывшемся «проекте отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым». Еще один русский поэт, Дмитрий Веневитинов, писал брату в период русско-персидской войны: «Молю Бога, чтобы поскорее был мир с Персией, хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями». И уже незадолго до смерти в 1827 году мечтательно планировал: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения». Вот и Печорин утолил свою тягу к Востоку, реализуя в романе несбывшуюся мечту самого Лермонтова уехать от всей постылой казарменной николаевщины в неведомую Персию. А там уж можно на обратном пути где-нибудь и умереть по дороге. Вспомним и «Персидские мотивы» Сергея Есенина: «Ты сказала, что Саади / целовал лишь только в грудь. / Подожди ты, Бога ради,/ обучусь когда-нибудь». Вот и Иосиф Бродский взял себе в учителя все того же перса Саади. Вспомним и сбывшееся путешествие в Персию Велимира Хлебникова в годы Гражданской войны. О Персии писал и Николай Гумилев, так схожий своей непримиримостью с Бродским. Персия мелькает в стихах всех ведущих поэтов Серебряного века. Что нас всех, русских литераторов, притягивает к этой древнейшей цивилизации? Что бы ни говорили ныне умудренные бродсковеды, но я сам жил в те же 1960-е и думаю, что любые потенциальные беглецы из Советского Союза, замышляя самые фантастические планы побега, все-таки смотрели на запад, на юго-запад, но никак не на Персию. Это уже на социальное неприятие Бродским нашей системы наложилось его поэтическое восприятие мира. Бежать, так уж с томиком Саади в Персию!

Позже он бы и сам с радостью позабыл эту авантюру с булыжником в кармане, никто бы и не узнал. Хвастаться по большому счету нечем: чуть не убил невинного человека. Но предательство Олега Шахматова сделало эту авантюру общеизвестной. Самому Шахматову от его доносов лишь увеличили срок, но по его доносу такой же срок (пять лет) дали и

Уманскому: вот уж кто ненавидел своего бывшего приятеля до конца дней своих. Так что Бродскому, можно сказать, повезло: нашлись заступники, до суда дело не довели. Но, как пишет Анатолий Найман: «КГБ, во всяком случае Ленинградский КГБ, не та организация, которая выпускает людей и забывает о них. И поэтому он становился более заметным. Хотя не надо сейчас преувеличивать эту заметность его в то время. Осуждение за тунеядство тогда было общепринятым таким. Едва человек был как-то, не очень он вписывался, его за тунеядство отправляли. Между прочим, тунеядство, понятно, расширительная такая вещь, но всякий творческий работник, он действительно с социальной точки зрения тунеядец. Одним словом, они решили его списать по тунеядству. Ну, там какой-то такой мальчишка-еврей, картавящий, которого щелкнуть ногтем — и нет его».

Уже давно ведутся дискуссии: состоялось бы дело о тунеядстве 1964 года, если бы не та персидская авантюра? Друг Бродского Яков Гордин считает, что роль этого неудавшегося побега в судьбе поэта преувеличена. Без всяких Персий, при явной чуждости его поэзии господствующей системе, рано или поздно тот или иной суд состоялся бы. Косте Азадовскому приписали наркотики, кому-то срок давали за бытовую драку и т. д. Алика Гинзбурга посадили якобы за подделку документов. Гордин пишет: «Активность КГБ спровоцировал именно стиль поведения Бродского в последующее после задержания время. Кто тогда не писал „упаднических“ стихов? Очень многие. Большинство молодых поэтов. Дело было не в антисоветскости стихов Бродского, дело в том, что они были чужие. А своей талантливостью и интенсивностью они разрушали те культурно-психологические стереотипы, на страже которых стояли руководство Союза писателей и соответствующий отдел КГБ. „Деспотизм“ прекрасно оценил стихи Бродского. Недаром на суде речь шла преимущественно об их пагубном влиянии на молодежь. Бродского репрессировали как поэта, а не как потенциального беглеца за рубеж. Свести же дело к самаркандскому эпизоду, игнорируя все последующее, — значит недопустимо упростить и банализировать суть драмы 1964 года».

Я мог бы согласиться с версией уважаемого мной Якова Аркадьевича, одного из немногих до конца верных друзей поэта, но нельзя не учитывать и человеческий, и даже ленинградский фактор. В Ленинграде Иосифа Бродского с неизбежностью ждали бы суд и приговор. Но в той же Москве не менее дерзкие и независимые «смогисты», и тунеядствующие, и бунтующие, так никакого суда и не дождались. В Москве, чтобы быть осужденным, смогисту Галанскову надо было выйти на

Пушкинскую площадь с политическими лозунгами. Американский приятель Бродского, совладелец ресторана «Русский самовар» Роман Каплан, названный в том же «Вечернем Ленинграде» если не трутнем, то «навозной мухой», сообразил вовремя смыться из сурового Ленинграда и спокойненько осесть в более добродушной Москве. Благополучно переехали в столицу и Андрей Битов, и Евгений Рейн. Вполне допускаю, что в Москве без персидских авантюр Иосифа Бродского никто бы и не посадил. Другая была бы поэтическая судьба. Думаю, и в двадцатые годы в Москве бы Николая Гумилева не расстреляли. Хотя и приехал Яков Саулович Агранов из Москвы, но именно в Питере он мог позволить себе так вызывающе расстрелять великого русского поэта. В чем-то необычностью судеб они схожи: Николай Гумилев и Иосиф Бродский. И абсурдностью приговора, которым вряд ли гордятся ленинградские чекисты что двадцатых, что шестидесятых годов.

Персидский след придает этому абсурду какую-то конспирологичность. Думаю, что и сам Иосиф Бродский охотно романтизировал свой процесс 1964 года. Конечно, поэту интереснее быть не мелким тунеядцем, а неудавшимся угонщиком самолета и беглецом в загадочную Персию.

СУД НАД ТУНЕЯДЦЕМ

Я согласен с Яковом Гординым, что и без попытки побега в Персию рано или поздно советская репрессивная система дотянулась бы до Бродского. Очень уж он не вписывался в привычные стереотипы поведения. И все-таки этот неудавшийся побег ускорил вялотекущий процесс слежки за инакомыслящим. Тем более что и бывший приятель Иосифа Олег Шахматов сдал его на следствии по полной программе, сам отправившись в лагеря на целых пять лет. На суде в 1964 году над тунеядцем Бродским ему припомнили дружбу с Шахматовым. А перед этим натравили на поэта псевдодружинников Якова Лернера.

Чем так возмутил молодой поэт ленинградских блюстителей порядка? Неужто и впрямь тем, что работать предпочитал в летних геологических экспедициях, а все остальное время занимался творчеством? Кто бывал в экспедициях, знает, как много приходится трудиться подсобным рабочим. Думаю, к абсурдному обвинению в тунеядстве ленинградские власти обратились за неимением чего-то более серьезного. Никакого антисоветского негатива в стихах Иосифа Бродского не обнаружили, политикой молодой поэт не занимался. Между тем влияние его поэзии на молодежь стало резко увеличиваться. Его стихи уже широко распространялись не только в литературных кругах, но и в самой широкой аудитории. У меня до сих пор хранятся напечатанные на машинке стихи Иосифа Бродского 1960-х годов «Пилигримы», «Каждый пред Богом наг…», «Приходит время сожалений…», «Шествие», «Рождественский романс».

В 1960 году на «Турнире поэтов» во Дворце культуры имени А. М. Горького Бродский прочитал «Еврейское кладбище». Не самое лучшее даже из ранних его стихов, явно написанное под влиянием Бориса Слуцкого. Прочитанное на «Турнире поэтов», к примеру, не Бродским, а кем-то другим, оно не было бы никем замечено. Не было в этом стихотворении и пафосного педалирования еврейской темы, скорее, звучала печальная ирония.

…И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.

И вдруг разгорелся невиданный скандал. Антисоветскими были не стихи поэта — несоветскими были его поведение, его свобода высказываний, свобода держать себя, искусство говорить свободно. К тому же, отвечая оппонентам, Иосиф Бродский прочитал еще с вызовом и бунтарством свое:

Каждый пред Богом
наг,
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность — удел
быков…
<…>
Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!
…Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.

Для того времени и в той атмосфере это было чуть ли не восстание декабристов. А предъявить юридически как бы и нечего. Вот и стали собирать досье на тунеядца. Яков Гордин рассказывает: «Он никогда не стремился к духовному вождизму, но возможности и место свое понял достаточно рано. А мясорубка шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов это осознание своей особости еще более прояснила и утвердила в нем достаточно редкое ощущение — „право имею“.

13 июня 1965 года он писал мне из ссылки: „Я собираюсь сейчас устроить тебе маленькую Ясную Поляну; мое положение если не обязывает к этому, то позволяет. Точнее: мое расположение, географическое… Смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все что угодно. (Речь, естественно, шла о писании стихов, а не о

бытовом поведении. — *Я. Г.)* Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если ты весел — тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь — это твоя жизнь. Ничьи — пусть самые высокие — правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае они похожи на твои. Будь независим. Независимость — лучшее качество, лучшее слово на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) — это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты: а то приходится сводить фиг знает с кем"…

С самого начала — жажда независимости как сквозного жизненного принципа явственно обособляла Бродского. И этот буквально излучаемый им экзистенциальный нонконформизм привлекал к нему, к его стихам, к его жизни молодых людей. Его стихи ходили в списках. На них писали музыку. Он стал очень известен. Но — и я настаиваю на этом — для того чтобы понять происшедшее в шестьдесят четвертом году, нужно представлять себе Иосифа Бродского как явление…»

По сути, его и судили в 1964 году не за антисоветизм, а за независимость поведения, за творческую автономию личности. Он и в компании «ахматовских сирот» выделялся все той же творческой независимостью, отмеченной самой Ахматовой. К тому же и атмосфера в Ленинграде была гораздо более подневольная, чем в Москве. Питерские начальники и идеологи не допускали ничего, подобного тем же московским «смогистам». Вот и выбрана была цель — самая крупная по возможному влиянию, не Битов, не Рейн, не Соснора, а Бродский.

И потому Яков Аркадьевич Гордин считает, что: «Бродский мог познакомиться с Шахматовым и Уманским, мог не познакомиться, это не изменило бы ход событий, поскольку он, Бродский, по сути дела, сам этот ход событий и направлял, определяя его единственно для него возможным способом существование в культуре. И когда говорят, что Дзержинский районный суд осудил невиновного, то с этим трудно согласиться. Перед ними он был виноват…»

Натравили на поэта мелкого мошенника Якова Лернера с его «народной дружиной». И вот 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появился фельетон «Окололитературный трутень», который уже не раз перепечатывался, но все же хочется представить его читателям полностью.

> «Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами.

Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы. Приятели звали его запросто — Осей. В иных местах его величали полным именем — Иосиф Бродский.

Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично.

С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую школьную тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно. „Кладбище“, „Умру, умру…“ — по одним лишь этим названиям можно судить о своеобразном уклоне в творчестве Бродского. Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательские попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное сотворить он не мог: силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу?

Вот как высокопарно возвещает Иосиф Бродский о сотворенной им поэме-мистерии:

„Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она гимн баналу. Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов“.

Кстати, провинциальные приказчики тоже обожали романсы. И исполняли их с особым надрывом, под гитару.

А вот так называемые желания Бродского:

От простудного продувания

Я укрыться хочу в книжный шкаф.

Вот требования, которые он предъявляет:

Накормите голодное ухо
Хоть сухариком…

Вот его откровенно-циничные признания:

Я жую всеобщую нелепость
И живу единым этим хлебом.

А вот отрывок из так называемой мистерии:

Я шел по переулку,
Как ножницы — шаги.
Вышагиваю я
Средь бела дня
По перекрестку,
Как по бумаге
Шагает некто
Наоборот — во мраке.

И это именуется романсом? Да это же абракадабра!

Уйдя из литературного объединения, став кустарем-одиночкой, Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского университета, в библиотеке имени Маяковского, во Дворце культуры имени Ленсовета. Настоящие любители поэзии отвергали его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь „остренькое“, „пикантное“. Они подняли восторженный визг по поводу стихов Иосифа Бродского…

Кто же составлял и составляет окружение Бродского, кто поддерживает его своими восторженными „ахами“ и „охами“?

Марианна Волнянская, 1944 года рождения, ради

богемной жизни оставившая в одиночестве мать-пенсионерку, которая глубоко переживает это; приятельница Волнянской — Нежданова, проповедница учения йогов и всяческой мистики; Владимир Швейгольц, физиономию которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах, выпускаемых народными дружинами (этот Швейгольц не гнушается обирать бесстыдно мать, требуя, чтобы она давала ему из своей небольшой зарплаты деньги на карманные расходы); уголовник Анатолий Гейхман; бездельник Ефим Славинский, предпочитающий пару месяцев околачиваться в различных экспедициях, а остальное время вообще нигде не работать, вертеться возле иностранцев. Среди ближайших друзей Бродского — жалкая окололитературная личность Владимир Герасимов и скупщик иностранного барахла Шилинский, более известный под именем Жоры.

Эта группка не только расточает Бродскому похвалы, но и пытается распространять образцы его творчества среди молодежи. Некий Леонид Аронзон перепечатывает их на своей пишущей машинке, а Григорий Ковалев, Валентина Бабушкина и В. Широков, по кличке „Граф“, подсовывают стишки желающим.

Как видите, Иосиф Бродский не очень разборчив в своих знакомствах. Ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, только бы вскарабкаться. Ведь он причислил себя к сонму „избранных“. Он счел себя не просто поэтом, а „поэтом всех поэтов“. Некогда Игорь Северянин произнес: „Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен: я повсеградно оэкранен, и повсесердно утвержден!“ Но сделал он это в сущности ради бравады. Иосиф Бродский же уверяет всерьез, что и он „повсесердно утвержден“.

О том, какого мнения Бродский о самом себе, свидетельствует, в частности, такой факт. 14 февраля 1960 года во Дворце культуры имени Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала: „Это не поэзия, а чепуха!“ Бродский самонадеянно ответил: „Что позволено Юпитеру, не позволено быку“.

Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. К сожалению, никто на этом вечере, в том числе и

председательствующая — поэтесса Н. Грудинина, не дал зарвавшемуся наглецу надлежащего отпора. Но мы еще не сказали главного. Литературные упражнения Бродского вовсе не ограничивались словесным жонглированием. Тарабарщина, кладбищенско-похоронная тематика — это только часть „невинных“ увлечений Бродского. Есть у него стансы и поэмы, в которых авторское „кредо“ отражено более ярко. „Мы — пыль мироздания“, — авторитетно заявляет он в стихотворении „Самоанализ в августе“. В другом, посвященном Нонне С., он пишет: „Настройте, Нонна, и меня иа этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки“. И наконец еще одно заявление: „Люблю я родину чужую“.

Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся иа Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он „любит родину чужую“, Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине.

Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил „философский трактат“ некоего А. Уманского. Суть этого „трактата“ состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. „В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно“, — поучал этот вконец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов.

Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостанице „Самарканд“ он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бейл пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.

— У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, — сказал Бродский американцу. — Не хотите ли ознакомиться?

— С удовольствием сделаю это, — ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: — Идет, мы издадим ее

у себя. Как прикажете подписать?

— Только не именем автора.

— Хорошо. Мы подпишем по-нашему: Джон Смит.

Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили. „Философский трактат“ остался в кармане у Бродского.

Там же, в Самарканде, Бродский пытался осуществить свой план измены Родине. Вместе с Шахматовым он ходил на аэродром, чтобы захватить самолет и улететь на нем за границу. Они даже облюбовали один самолет, но, определив, что бензина в баках для полета за границу не хватит, решили выждать более удобного случая.

Таково неприглядное лицо этого человека, который, оказывается, не только пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства.

Но, учитывая, что Бродский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность.

Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно-полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае подкинет толику денег отец — внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать наконец работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем.

Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде.

Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!

А. Ионин, Я. Лернер, М. Медведев».

Авторы пасквиля переврали всё, что могли, приписали Бродскому стихи Дмитрия Бобышева, досочинили, соединив строки из разных стихов, «антипатриотическую» строчку «Люблю я родину чужую», хотя и сама по себе любовь к чужой родине не исключает любви к своей. К тому же, вырывая фразы из контекста, можно любого нашего классика обвинить в русофобии. Все обвинения предельно нелепы — даже неловко за такой низкий уровень наших правоохранительных органов…

Поэт написал опровержение, но оно оказалось никому не нужно. Операция уже была запланирована чуть ли не самим первым секретарем обкома партии Толстиковым. Что же, Анна Ахматова оказалась права: молодому поэту мгновенно создали мировую славу. Клеветники сами не понимали, что они делают. 8 января 1964 года в той же газете «Вечерний Ленинград» опубликовали еще одну статью «Тунеядцам не место в нашем городе», грозно заканчивающуюся: «Никакие попытки уйти от суда общественности не помогут Бродскому и его защитникам. Наша замечательная молодежь говорит им: хватит! Довольно Бродскому быть трутнем, живущим за счет общества. Пусть берется за дело. А не хочет работать — пусть пеняет на себя». Вообще-то среди поэтов такого труженика, как Иосиф Бродский, найти было трудно. Надо сказать, что и в органах этим процессом особо не гордились, так грубо и аляповато всё было сработано. Тем более что этот позор вскоре был вынесен и на мировую арену.

Друзья пытались спасти поэта, отправили его в Москву, даже поместили на время в психбольницу, но на беду в это же время стала разворачиваться любовная интрига между Бобышевым и Мариной Басмановой, и Бродский, наплевав на все возможные аресты, помчался спасать свою любовь. 13 февраля вечером его арестовали и доставили в Дзержинское районное управление милиции. 18 февраля 1964 года начался уже исторический судебный процесс, на котором поэзия официально была приравнена к тунеядству. Судья Савельева, общественный обвинитель Сорокин, тенденциозно подобранные свидетели приложили все усилия, чтобы наказать Бродского по максимуму — и добились своего.

Есть несколько вариантов записей этого суда. Литературную запись сделала журналистка Фрида Абрамовна Вигдорова. Эта запись вскоре была издана за рубежом и ходила в самиздате под названием «Судилище», часто без упоминания имени Вигдоровой. Формально, юридически ее никак нельзя назвать стенограммой: это литературно обработанная запись, выстроенная по всем законам жанра.

Яков Гордин, присутствовавший на суде, позже написал: «Поразительно для меня было, что этот юноша, которого только теперь я впервые имел возможность подробно разглядеть и наблюдать, да притом еще в обстоятельствах жестоко для него экстремальных, излучал какой-то покой отстраненности — Савельева не могла ни оскорбить его, ни вывести из себя, он и не пугался ее поминутных грубых окриков, хотя был сейчас всецело в ее острых когтях; покой его, видимо, объяснялся не отвагой — чем-то иным: просторное, с крупными библейскими чертами лицо его выражало порой растерянность оттого, что его никак не могут понять, а он в свою очередь тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность; он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия…

Когда мы выходили из этого треклятого зала, в коридорах и на лестнице густились еще более обильные толпы молодежи. Случайно я оказался притиснутым вплотную к судье Савельевой. Удивленно приподняв свои подбритые брови, она негромко произнесла:

— Не понимаю, почему собралось столько народу!

Я ответил:

— Не каждый день судят поэта».

Судебный процесс делился на две части. Предварительный суд, психиатрическая экспертиза (три дня в психбольнице) и главное заседание 13 марта. Заседание состоялось в клубе на Фонтанке, 22, в большом зале, заполненном народом. Длилось оно часов пять. Итогом стал приговор:

«Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГБ в 1961 году и в 1962 году — милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты „Вечерний Ленинград“. Поэтому суд применяет указ от 4/V. 1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда».

На следующий день все в том же «Вечернем Ленинграде» появилась заметка: «Суд над тунеядцем Бродским», в которой говорилось:

«Просторный зал клуба 15-го ремонтно-строительного управления вчера заполнили трудящиеся Дзержинского района. Здесь состоялся суд над тунеядцем И. Бродским. О нем писалось в

статье „Окололитературный трутень“, напечатанной в № 281 нашей газеты за 1963 год.

Выездную сессию районного народного суда открыла председательствующая — судья Е. А. Савельева. Народные заседатели — рабочий Т. А. Тяглый и пенсионерка М. И. Лебедева.

Зачитывается заключение Дзержинского райотдела милиции. Бродскому — 24 года, образование — 7 классов, постоянно нигде не работает, возомнив себя литературным гением. Неприглядное лицо этого тунеядца особенно ярко вскрывается при допросе.

— Ваш общий трудовой стаж? — спрашивает судья.

— Я этого точно не помню, — отвечает Бродский под смех присутствующих.

Где уж тут помнить, если с 1956 года Бродский переменил 13 мест работы, задерживаясь на каждом из них от одного до трех месяцев. А последние годы он вообще нигде не работал.

Рисуясь, Бродский вещает о своей якобы гениальности, произносит громкие фразы, бесстыдно заявляет, что лишь последующие поколения могут понять его стихи. Это заявление вызывает дружный смех в зале.

Несмотря на совершенно ясное для всех антиобщественное поведение Бродского, у него, как ни странно, нашлись защитники. Поэтесса Н. Грудинина, старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук В. Адмони, доцент Педагогического института имени А. И. Герцена Е. Эткинд, выступившие на процессе как свидетели защиты, с пеной у рта пытались доказать, что Бродский, опубликовавший всего несколько стишков, отнюдь не тунеядец. Об этом же твердила и адвокат З. Топорова.

Но свидетели обвинения полностью изобличили Бродского в тунеядстве, во вредном, тлетворном влиянии его виршей на молодежь. Об этом с возмущением говорили писатель Е. Воеводин, заведующая кафедрой Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной Р. Ромашова, пенсионер А. Николаев, трубоукладчик УНР-20 П. Денисов, начальник Дома обороны И. Смирнов, заместитель директора Эрмитажа П. Логунов. Они отмечали также, что во многом виноваты родители Бродского, потакавшие сыну, поощрявшие его безделье. Отец его, А. Бродский, по существу содержал великовозрастного лоботряса.

С яркой речью выступил на процессе общественный обвинитель — представитель народной дружины Дзержинского района Ф. Сорокин.

Внимательно выслушав стороны и тщательно изучив

имеющиеся в деле документы, народный суд вынес постановление: в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года выселить И. Бродского из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду на пять лет. Это постановление было с большим одобрением встречено присутствовавшими в зале».

Надо сказать, что на суде особенно позорно вел себя представитель Союза писателей, бездарный литератор Евгений Воеводин, полностью поддержавший обвинение, не прочитав при этом, по собственному признанию, ни строчки стихов Бродского. Не пожелали защитить своего коллегу и мэтры из Ленинградского Союза писателей во главе с А. Прокофьевым, резолюция которых существенно повлияла на ход дела:

«ВЫПИСКА

из протокола № 19 Заседания Секретариата и членов Партбюро Ленинградского Отделения СП РСФСР от 17 декабря 1963 г. Присутствовали: тт. Прокофьев, Браун, Чепуров, Гранин, Шестинский, Ходза, Сергеев, Федоренко, Бейлин, Абрамкин, Капица, Дмитриевский, Азаров, Новиков, Воеводин, Миллер, Подзелинский, Шейнин, Кукушкин, командир оперативного отряда дружины „Гипрошахта“ Я. М. Лернер.

Слушали: Письмо прокурора Дзержинского района. Тов. Лернер зачитывает письмо прокурора Дзержинского района о И. Бродском с требованием предать его общественному суду. Тов. Лернер дает характеристику И. Бродскому, иллюстрируя ее выдержками из его дневника и писем, адресованных ему, а также в адрес „Вечернего Ленинграда“ по поводу напечатанной статьи „Окололитературный трутень“. Тов. Лернер просит секретариат выделить 4–6 человек писателей для участия в общественном суде.

Выступили: тт. Прокофьев, Браун, Капица, Дмитриевский, Чепуров, Кукушкин, Азаров, Абрамкин, Брыкин, Федоренко, Гранин, Шейнин, Новиков, Подзелинский, Ходза, Шестинский, и единогласно

Постановили: 1. В категорической форме согласиться с мнением прокурора о предании общественному суду И. Бродского. Имея в виду антисоветские высказывания Бродского и некоторых его единомысленников, просить прокурора возбудить против Бродского и его сообщников уголовное дело.

2. Просить горком ВЛКСМ вместе с ЛО ССП

ознакомиться с деятельностью кафе поэтов.

3. Считать совершенно своевременным и правильным выступление „Вечернего Ленинграда“ со статьей „Окололитературный трутень“.

4. Поручить выступить на общественном суде тт. Н. Л. Брауна, В. В. Торопыгина, А. П. Эльяшевича и О. Н. Шестинского. Просить суд включить в состав президиума суда О. Н. Шестинского.

Первый секретарь ЛО СП РСФСР А. ПРОКОФЬЕВ (подпись)».

Можно предположить, что, не откажись Даниил Гранин и прочие литераторы от своего будущего собрата, судьба Бродского могла бы быть иной. Правда, хватало и достойных писателей, поддержавших поэта, от Корнея Чуковского до Анны Ахматовой.

Появилось и заявление молодых ленинградских писателей самых разных направлений, от почвенников до западников, не побоявшихся опротестовать решение суда:

«В Комиссию по работе с молодыми авторами при Ленинградском отделении

Союза Советских писателей.

Уважаемые товарищи!

В Ленинграде работает большое число молодых прозаиков, поэтов, переводчиков и критиков, которые, не являясь членами Союза писателей, уже несколько лет серьезно занимаются литературным трудом и неоднократно публиковали свои произведения в сборниках и журналах. Эти люди разного возраста, разного жизненного опыта и разных профессий объединены интересом к центральным проблемам жизни нашей страны, нравственному росту и становлению нового человека, его внутреннему миру.

Большинство молодых авторов совмещают напряженную творческую работу с трудом по своей основной профессии, с учебой. Некоторая часть вступает в договорные отношения с издающими организациями и фактически находится на положении профессиональных литераторов. Молодые авторы, которые не порывают с производственной деятельностью, в творческих интересах бывают вынуждены на некоторое время прервать ее. Не являясь членами Союза писателей, эти люди оказываются не защищенными от возможных обвинений в тунеядстве со стороны лиц, не

компетентных в этой области и не способных разобраться в существе дела.

Как правило, молодые авторы зарегистрированы Комиссией по работе с молодыми литераторами при ЛО ССП. Мы не знаем всех функций этой организации, но считаем, что Комиссия призвана проявлять внимание к проблемам, встающим перед молодыми литераторами. В последнее время произошли события, которые серьезно встревожили нас. Мы видим связь этих событий с появлением на месте секретаря Комиссии Е. В. Воеводина, который по своему положению практически осуществляет решения Комиссии.

Молодые литераторы, сталкиваясь с Е. В. Воеводиным, все более убеждаются в том, что этот человек совершенно чужд их поискам и не желает понять и поддержать то хорошее, что они стремятся внести в литературу. У всех, кто с ним встречался и разговаривал, создалось впечатление, что перед ними человек совершенно случайный, не обладающий культурным уровнем, душевными качествами, необходимыми для этой деятельности. К своим обязанностям Е. В. Воеводин относится легкомысленно. Заявления, поданные в Комиссию, лежат без движения месяцами, устные просьбы не принимаются во внимание. Разговаривать с Е. В. Воеводиным неприятно и бесполезно: он совершенно не уважает людей, обращающихся к нему, держится с ними пренебрежительно, с пошловатой фамильярностью и лишает этой своей манерой желания быть с ним откровенным.

Особенно недостойно и непорядочно повел себя Е. Воеводин на суде над молодым поэтом и переводчиком И. Бродским, которому предъявлялось обвинение в тунеядстве. Мы убеждены, что справедливость по отношению к И. Бродскому будет восстановлена в законном порядке, но Е. Воеводин, выступивший на суде свидетелем обвинения, действовал так, чтобы не допустить справедливого решения дела. Он бездоказательно обвинил И. Бродского в писании и распространении порнографических стихов, которых, как нам известно, И. Бродский никогда не писал. Таким образом, секретарь Комиссии оклеветал молодого литератора.

Он предъявил суду заявление, подписанное им одним, и обманул суд, утверждая, что это заявление,

порочащее личность и работу И. Бродского, одобрено большинством членов Комиссии. Так Е. Воеводин совершил подлог и лжесвидетельство.

Мы, молодые литераторы Ленинграда, не можем, не желаем и не будем поддерживать никаких отношений с этим морально нечистоплотным человеком, порочащим организацию ленинградских писателей, дискредитирующим в глазах литературной молодежи деятельность Союза писателей.

Я. Гордин, А. Александров, И. Ефимов, М. Рачко, Б. Иванов, В. Марамзин, Б. Ручкан, В. Губин, А. Шевелев, В. Халупович, Я. Длуголенский, Е. Калмановский, М. Данина, Г. Шеф, В. Соловьев, С. Вольф, А. Кушнер, М. Гордин, А. Битов, И. Петкевич, В. Бакинский, Н. Королева (с оговоркой: „Согласна не со всеми положениями письма, но считаю, что после выступления на суде Е. Воеводин не может оставаться в комиссии по работе с молодыми авторами“), А. Городницкий, М. Земская (с оговоркой: „Не имея собственных претензий к Е. Воеводину по отношению ко мне лично, присоединяюсь к заявлению в целом“), Е. Рейн, В. Щербаков, Р. Грачев, А. Зырин, Т. Калецкая, А. Леонов, Штакельберг, Д. Бобышев, Н. Столинская, А. Вилин, А. Ставиская, И. Комарова».

Думаю, не все подписавшиеся были согласны с Бродским, но здесь уже действовала писательская солидарность. Если труд писателя никчемен, то завтра могут точно так же осудить писателя любого направления. По сути, это был суд над творчеством любого литератора, от Михаила Шолохова до Александра Солженицына. Решение суда неоспоримо утверждало: литературное творчество — это не труд. Потому и подписались в защиту Бродского и почвенники, и западники, люди самых разных взглядов.

Очень скоро позор этого судебного процесса прочувствовали и все литературные чиновники, и кремлевские власти. Из Москвы посыпались всевозможные запросы и уточнения. Какое-то время питерские прокуроры упирались и отстаивали решение суда, но когда подключились всемирно известные писатели и ученые, Москва поторопилась смягчить приговор. Бродский был освобожден из ссылки после письма Жана Поля Сартра Председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну от 17 августа 1965 года. Уже 4 сентября последовало постановление Верховного Совета об изменении срока наказания,

но документ был ошибочно направлен вместо Архангельской области в Ленинградскую, и Бродского освободили только 23 сентября.

Прошло время, судьи и прокуроры стали стыдливо оправдывать свое поведение — мол, судили тогда не поэта, а антисоветчика. Даже провокатор и клеветник Яков Лернер представил свой вариант записи судебного процесса, опубликованный в книге Ю. К. Бегунова «Правда о суде над Иосифом Бродским». В этой книжке фальшивыми называются отчет и стенограмма Ф. Вигдоровой, лживыми — письма и свидетельства З. Топоровой, Н. Грудининой, Г. Глушанок, И. Инова, кем-то сфабрикованными — телеграммы Шостаковича и Чуковского… Подлинные документы суда и следствия над Бродским, хранящиеся в государственных архивах, были якобы «уничтожены за истечением срока хранения», при этом утверждалось, что у Лернера и его знакомых могли сохраниться и копии, и оригиналы документов, и фотографии, и даже магнитофонные записи всего процесса.

Я внимательно прочитал вариант записи суда, якобы сохраненный Лернером. Увы, он лишь подтвердил абсурдность всех обвинений против Бродского. Если бы это не было лернеровской фальшивкой, за явно антисоветские высказывания на суде Бродскому бы не поздоровилось. По Лернеру, Бродский прямо на суде утверждал: «И не работал я потому, что вашей партии и Ленину я не верил и не верю». Думаю, после такой стенограммы суда Нобелевскую премию поэту дали бы гораздо быстрее. Но и судебный срок у поэта был бы гораздо больше. Лернером излагается дикая смесь антисоветизма и антисемитизма, ни на каком советском суде ничего подобного бы просто не допустили. Бродский якобы заявлял: «Мне говорить нечего. За меня все сказано. А жить я буду, как и раньше. Мне наплевать, что думают обо мне коммунистические дружинники, все они связаны с милицией и партийными секретарями и не дают жить так, как хочется, особенно, если еврей. Найдутся, и уже есть, хотя и далеко от нас люди, которые помогут таким, как я. Вот и все». Такого на советском суде просто не могло быть. Неужели Бегунову и его сторонникам это не ясно?

Известно, что сам Бродский не любил вспоминать об этом процессе. Ему важно было мнение о нем, как о поэте, а не очередное припоминание суда над «тунеядцем». Его откровенно бесило, что именно судом и ссылкой многие на Западе объясняли его поэтическую известность и даже присуждение ему Нобелевской премии. Он хотел, чтобы его ценили за то, что он написал, а не за то, что его наказывали в СССР. Не случайно,

когда Е. Г. Эткинд издал свою книгу «Процесс Иосифа Бродского» (1988) после получения Бродским Нобелевской премии, Иосиф был в ярости и навсегда порвал отношения с Ефимом Григорьевичем. Уж кто-кто, а Эткинд должен был понимать важность Бродского для русской и мировой литературы как поэта, а не как жертвы системы. Уклонялся он и от разговоров о стенограмме Фриды Вигдоровой.

Поэта можно понять: не случайно те же либералы ныне стали сравнивать процесс над Бродским с судом над девицами из группы «Пусси Райот». Я не сторонник суда над «пуськами», но их убожество и воинствующая пошлость очевидны с первого взгляда. И негоже ставить поэта Иосифа Бродского в один ряд с мелкими хулиганками, которых без суда и заключения никто бы просто не заметил. Бродскому судебный процесс в любом варианте записи был неинтересен — гораздо более важной оказалась северная ссылка, но это уже другая тема.

БУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М. Б

С Мариной Басмановой Бродский познакомился 2 января 1962 года в гостях у композитора Бориса Тищенко. Первые стихи, посвященные любимой, написаны 2 февраля того же года — «Я обнял эти плечи и взглянул…». Дальше уже шло по нарастающей — и в жизни, и в чувствах, и в поэзии.

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?

Роман о их жизни, любви и разлуках, я думаю, еще будет написан. Но, мне кажется, и филологи, и историки литературы, и даже записные моралисты зря проходят мимо этой стержневой линии в жизни поэта. Многое, если не всё, в ней определялось именно этой безумной любовью. По касательной были и тюремные камеры, и пересылки, и шумные скандалы — гораздо важнее разлука с милой или же редкие моменты счастья с ней. Мне хотелось бы написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было всё — и высшие проявления страсти, счастья, и горькие, драматичные расставания.

Но как-то глуховато, свысока,
тебя, ты слышишь, каждая строка
благодарит за то, что не погибла,
за то, что сны, обстав тебя стеной,
теперь бушуют за моей спиной
и поглощают конницу Египта.

Настал 1972 год, перед отъездом из России поэт последний раз встречается со своей любимой, и уже навсегда, казалось бы — всё кончено. Здравствуй, новая жизнь! Поэт переменил империю,

живет на другом берегу океана, иные друзья, иные женщины. Но вновь и вновь, вплоть до 1989 года, мы находим у него лирические стихи, посвященные Марине. В целом — более тридцати посвящений, а сколько стихов и без посвящений пронизаны темой его любви! Иные его ревнивые друзья полагают, что эти посвящения случайны и необязательны, посвящены одной, а говорят о другой; что посвящения Басмановой — это пустой повод и т. д. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва предметной, осязаемой любви. И те же бухгалтерские перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающих и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви: детали обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод нагроможденных строк преображается в пламень любовных признаний.

Вот, к примеру, уже идет 1982 год, минуло десять лет американской жизни. Поэт сидит у камина, весело горит огонь, и вдруг происходят волшебные превращения, пламя каминного огня колдовским образом преобразуется в страстное пламя любви — и небесной, платонически возвышенной, ностальгически отдаленной, и сугубо земной, откровенно сексуальной, беспредельно чувственной — одновременно:

Зимний вечер. Дрова,
Охваченные огнем, —
Как женская голова
Ветреным ясным днем.
<…>
пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной
зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов —
раскаленность щипцов!

Ау, ревнивые «ахматовские сироты», вычеркивающие из памяти литературы все упоминания об этой большой любви — разве не конкретно Марине Басмановой адресованы все эти стихи? Пожалуй, один Евгений Рейн ведет себя порядочно и честно, не передергивая живую историю литературы. Все остальные питерские стихотворные неудачники, заслоненные в

русской культуре яркой фигурой Бродского, снедаемые завистью к его Нобелевской премии, в своих нынешних мемуарах заполняют пространство вокруг него самими собой, присасываются к его памяти как пиявки. Они-то и создают переделанный, скукоженный по своему лилипутскому размеру облик поэта Бродского, якобы далекого и от России, и от ее истории, мученика и страдальца от российского государства. А Иосифа Бродского мучили совсем не допросы или отрицательные отзывы из советских литературных журналов (хотя, естественно, радости от них было мало), а вот это:

Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя — зола,
тусклые уголья…

С прямо-таки цветаевской неистовостью Иосиф Бродский загоняет в свои строфы никак не затихающую и не затухающую страсть. Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от краткого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться кучкой пепла к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И неправ был Александр Солженицын, когда писал: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: „Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?“ Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приезда в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже ранняя смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться — уже все его эмигрантские друзья и враги, от Войновича до Максимова, побывали на родине, уже вернулись и Кублановский, и Лимонов, и Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь. Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Бродский, только по другим мотивам, чем Солженицын, хотя бы для восполнения русской языковой памяти, которой ему стало не хватать в последние годы.

И уже защищенный от незаживающей раны любви своей новой семьей: итальянкой с русскими корнями Марией и

маленькой дочуркой Анной. (Кстати, и жена Мария, и дочь Анна тоже как-то выходят из круга бродсковедения, их почти нет в многочисленных воспоминаниях «ахматовских сирот». Не слышно, по крайней мере в России, и их самих.) А ведь, думаю я, окончательное решение о месте захоронения принимала Мария, и не было ли в нем кроме преклонения поэта перед Венецией еще и чисто женского нежелания отдать, вернуть сгоревший прах поэта в город его возлюбленной? Отдать его на захоронение в Питер — значило бы положить своего мужа рядом со все еще имеющей над ним некую мистическую власть соперницей, согласиться с его же стихами уже 1989 года:

> Я рад бы лечь радом с тобою, но это — роскошь.
> Если я лягу, то — с дерном заподлицо.
> И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках
> и сварит всмятку себе яйцо.

Будто вспомнил деревенскую избушку в деревне Норенской, где прожил 18 счастливых месяцев в ссылке, где встречал и провожал свою Марину.

Но с дерном заподлицо не получилось, осталось найти «укрывище» среди изгнанников на венецианском кладбище Сан-Микеле, да и там строгие ревнители всех религий не дали ему места ни на еврейском кладбище, ни на католическом, лишь за чертой, на более доступном протестантском участке, там, где хоронят самоубийц и актеров, грешников с поломанной судьбой.

Нам же остается только поражаться деталировке его любовных стихов, посвященных Марине Басмановой: ничего абстрактного, никаких туманных Лаур или блоковских незнакомок, одна конкретная деталь дополняет или развивает, уточняет другую, один предмет заменяется другим. Если на то пошло — это опись чувственного фетишизма. И, может быть, прав Эдуард Лимонов: эта «бухгалтерская опись» была бы скучна и затянута, если бы не та живая страсть, с которой поэтом фетишизируются все эти предметы поклонения. Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на родном языке, русский словарный запас явно оскудевает или дополняется мусорным эмигрантским суржиком; он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к Далю и Ушакову, но мир его любви все так же заселен конкретикой пусть уже и полусгоревшей страсти.

Первые стихи из басмановского цикла — 1962 год, последние — 1989 год. А вскоре, 1 сентября 1990 года женитьба в Швеции на

доброй и верной Марии Соццани, а 9 июня 1993 года родилась маленькая Анна Мария Александра, и уже нет стихов о былой любви. Может быть, они по-прежнему пишутся, но уже шифруются, а из уважения к молодой супруге и маленькой дочурке публикуются без посвящений? Эта страстная любовь изменила всю жизнь поэта; может быть, он и уехал из Питера (не так уж насильно его и гнали, отказывались же иные от навязываемых КГБ израильских виз — и ничего, творили дальше), прежде всего желая оказаться подальше от колдовского омута любви, надеясь в американской глухомани излечиться от него, но омут памяти остался до конца его дней, рождая всё новые волшебные строки:

> Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
> на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
> чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
> немыслимые, чем между тобой и мною.
> Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем
> ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,
> но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
> еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
> Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
> ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
> Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
> Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Может быть, двадцать семь или более лет трагической любви Иосифа Бродского и испортили его характер, его судьбу больше, чем все судебные и ссыльные перипетии, может быть, они и создали впечатление затянувшейся жизни больше, чем все инфаркты и операции на сердце, но этот долгий любовный роман явно способствовал созданию многих поэтических шедевров. А начиналось всё когда-то в веселые молодые годы, когда поэт был уверен и в себе, и в своих чувствах, и в будущем счастье, и в праве на пророчества:

> Да, сердце рвется все сильней к тебе,
> и оттого — оно все дальше.
> И в голосе моем все больше фальши,
> но ты ее сочти за долг судьбе,
> за долг судьбе, не требующей крови

и жалящей иглой тупой.
А если ты улыбку ждешь — постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.

Иосиф Бродский не был большим любителем составлять свои книжки. Максимум — это было редактирование и вычеркивание из присланной издателем рукописи его стихов тех, что казались ему слабыми и ненужными. «Книжку куда интереснее читать, чем составлять», — считал поэт. «Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки… Просто не доживу. Поскольку, чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил… Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам…» Вот и читайте, истинные любители русской поэзии, этот сборник «Новые стансы к Августе», к которому нет претензий ни у Александра Солженицына, ни у Наума Коржавина, двух самых яростных и доказательных ниспровергателей таланта Бродского.

Солженицын пишет: «Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвященных М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле… проявляется несомненная устойчивая привязанность… Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчетливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи…» Или спустя страницы вновь: «Однако во всех возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращенных к М. Б.…»

Так ведь, Александр Исаевич, поэт же сам признается, что «это главное дело моей жизни». Вот и судите его за главное дело. Дай бог любому поэту хоть строкой войти в мировую поэзию, а здесь — целый немаленький цикл стихов…

У раздраженного и требовательного Наума Коржавина, не принимающего у Бродского «стиль опережающей гениальности», к циклу стихов, посвященных Марине Басмановой, тоже нет никаких претензий, скорее — наоборот: «Стихотворение это было „Ты забыла деревню, затерянную в болотах…“ — к моему удивлению, оказалось очень хорошим… Я впервые осознал, что он не только не бездарен, но очень талантлив… Стихотворение

обладало всеми особенностями Бродского, с той лишь разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, „зверские“, — все было задано импульсом, то есть замыслом…

…А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили…

…Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к „гражданской лирике“ — это просто лирика, притом любовная… Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь этот мир вместе с этой деревней… „Пустое место, где мы любили“ — полость, которая щемит, напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует…»

В момент обострения любви, в момент накала чувств поэта — ему становится всё — родным и близким, понятным и дорогим: даже чучела на огородах, которых нет, даже деревня, затерянная в болотах. Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить. И начиналось это всё с того же изумительного, любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой мучительной ссылке можно говорить читателю или исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.
Я буду стар, а ты — ты молода…

Пусть сейчас все мемуаристы стараются как-то принизить значимость Марины Басмановой в жизни поэта. Она стала той судьбой, от которой его окончательно смогла отделить только смерть. Но пророчество поэта о счастливой сказочной жизни до старости с любимой женщиной (как пишут в сказках: и умерли в один день…), увы, не сбылось.

Лишь часть, хотя и немалая, этого северного поморского пророчества состоялась, лишь в одном подчинилась ему судьба (или любимая женщина, что часто означает одно и то же):

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной.
Чтоб к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит…

Рожденный Мариной Басмановой в октябре 1967 года от Бродского сын был назван ею Андреем. Лишь в этом она пошла навстречу пророчеству своего отвергнутого возлюбленного. Сколько ни вчитываюсь во все версии любовных перипетий, в историю ее измены с бывшим другом Бродского Дмитрием Бобышевым, не понимаю истинной причины разрыва. Впрочем, это всегда тайна двоих и никого более. Тем более историю с Бобышевым поэт своей любимой полностью простил (естественно, порвав все отношения с самим Бобышевым). Лучшие дни их с Мариной любви остались в северной поморской ссылке. А дальше лишь нарастало чувство обреченности и катастрофичности в творчестве Бродского, так и не сумевшего отделить себя от своей любимой. Банальная, но вечная история любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую и рождение сына Андрея, этот союз был обречен… Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его „вольтаж“ был ей просто не по силам… Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их „потомственными антисемитами“…» Впрочем, повторюсь, каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.

«Я БЫ ЗАЙЧЬИ УШИ ПРИШИЛ К ЛИЦУ…»

Иосиф Бродский решил пришить заячьи уши не ради карнавальной забавы или услады соседских ребятишек. Это был его трагический вопль всему миру о рушащейся любви, о великих надеждах и еще более великих крушениях.

Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».
Но, видать, не судьба, и года не те…

Прекрасное стихотворение «Дружок», ставшее позже песней. Так и видишь храброго зайца со свисающими вниз ушами, готового на всё ради своей любимой. Может быть, мировая поэзия и выиграла от этой неразделенной любви, но вряд ли поэт использовал образ Марины Басмановой лишь как символ любви, как прообраз Лауры или Беатриче. Может, он тогда и вены резал не один раз тоже ради поэтической игры? Может, поехал из Москвы прямо в лапы к ждущей его милиции и к своему судебному сроку все ради того же поэтического образа?

Нет, как бы ни кривились иные оппонентки, Иосиф Бродский был поглощен одной на многие годы и десятилетия любовной страстью к конкретному человеку, любил его со всей определенностью и детальностью. Он мог войти в любую роль, чтобы прояснить свои чувства, но роль возлюбленного он не играл никогда. Он мог сколько угодно играть в зайца — это был его карнавал, но именно его, и никого больше. Заячья игра была им придумана не для парадных встреч, а для хоть какого-то объяснения своей любви. Но когда пришла зима в их любви, тут уж не помогали никакие храбрые пляски:

Пришла зима. Ни рыб, ни мух, ни птиц.
Лишь воет волк да зайцы пляшут храбро.

Как ни пляши, но опять же из его «заячьих стихов» мы знаем:

Что тут скорбеть? Вот и достиг сходства велика.
Вот тебе месть: сам разгляди сразу два зайца.

Тщишься расчесть, милый, поди, с кем оказался?..

И уже в 1980 году, тогда же, когда был написан «Дружок» с пришитыми заячьими ушами, пишутся и «Стихи о зимней кампании…»:

Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца…

Но забудем об уцелевшем чудом зайце, пришившем уши к лицу, чтобы хоть в этом шутовском облике оказаться рядом с любимой. Его прекрасные любовные стихи, его «Новые стансы к Августе» всегда были обеспечены реальным содержанием. Да еще каким! Новогоднюю ночь с 1963 на 1964 год Марина Басманова провела в Комарове на писательской даче вместе с Дмитрием Бобышевым. От этих страстей загорелись даже занавески на окнах дачи. Позже Бобышев вспоминал:

Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом дому на занавес в окне,
в чужом дому, в своем дыму, в огне…
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел, но с полыханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи…
…Моя свобода и твоя отвага —
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имен не раскрывать.

Я не собираюсь ни в чем оправдывать Бобышева, восполнившего свою поэтическую зависть к таланту Бродского романом с его невестой. Прав Сергей Довлатов, написавший: «Знаю я Диму, переспит с чужой женой и скажет — я познал Бога!» Увы, так и было. По-мужски его и на дуэль можно было вызвать, и морду набить, и просто с моста какого-нибудь сбросить. Тем более он знал, что по пятам за Иосифом ходят гэбэшники — и подло спровоцировал его на приезд из спасительной Москвы в Питер. А дальше, как и положено, арест,

суд, ссылка в Норенскую.

Но, думаю, в самом любовном романе он как бы и ни при чем. Марина, уж не знаю зачем и по каким колдовским наговорам, сама выбрала его как временного ухажера. Бобышев-то уже решил и жениться на Марине — мол, пусть мне Иосиф всю жизнь завидует. А Марина покрутила с ним на виду у всех и грубо отставила. Для полноты издевки еще раз пришла к нему уже беременная от Бродского и спросила: «Возьмешь с ребенком от Иосифа навсегда?» А получив согласие, отвернулась от него и ушла, тоже навсегда…

> Тогда, с тогда еще чужой невестой,
> шатался я, повеса всем известный,
> по льду залива со свечой в руке,
> и брезжил поцелуй невдалеке.

Мне такое предательство друга противно, вызывает омерзение. Напроказил в Питере и приехал в Норенскую вслед за Мариной. Как его Иосиф там не убил топором, не переехал трактором? Поделом было бы… О нем и писать не хочу. И мемуары у него такие же мерзкие, пошлые.

В чем вечная загадка Марины Басмановой, никем и никогда не разгаданная? Не то, что простил, а выпросил прощение у нее Иосиф Бродский, зажили вместе дальше. Уже и ребенка от него ждала, ни о каких абортах не думала. И вновь ушла. Родила сына, назвала, как в «Пророчестве» Бродского, Андреем, но и фамилию дала свою — Басманов, и отчество сначала хотела дать от деда, Павлович, и лишь потом, смягчившись, назвала Осиповичем. И так продолжалось вплоть до женитьбы Бродского на Марии в 1990 году.

Марина сама мне рассказывала, что Бродский из Америки, уже став нобелевским лауреатом, все так же уговаривал ее приехать с сыном к нему. Какая уж тут корысть: жила в бедности, вдвоем с сыном, ни за кого замуж не собиралась. Никаких интервью, никаких мемуаров, ни одной фотографии в печати.

Я спрашиваю ее: вы же героиня мировой поэзии, неужели от себя так ничего никому никогда и не расскажете, не напишете? Читателя же не интимные подробности интересуют — важно знать, как создавались такие изумительные стихи, отнюдь не виртуальные, не замаскированные, о ней, о Марине Басмановой. Напишите хотя бы комментарии! Может, и напишутся…

С Мариной у нас отношения дружеские. Во-первых, она знает, что когда-то я был вхож в кружок художника Владимира Стерлигова и его жены Татьяны Глебовой, куда ходили и ее

родители, известные питерские художники, ученики Казимира Малевича; может, мы даже и встречались тогда в юности, под Ленинградом. Во-вторых, и взгляды на многое у нас с Мариной схожие. Скажу только, что наши либералы зря раздувают сплетню о якобы антисемитизме Басмановых: не было никакого антисемитизма в стерлиговском кружке. Да и вряд ли Марина при ее независимости стала бы спрашивать совета у родителей. И тем более, будь она антисемиткой, не стала бы рожать ребенка от Бродского. В ее нежелании выйти за него замуж, уехать в Америку, жить с ним — знаменитым, всемирно признанным, преуспевающим — одним домом, видна выстраданная ею концепция своей жизни, своего принципиального одиночества. Даже единственного сына Андрея Марина Павловна рано отпустила от себя, дав ему полную волю.

Бродский как-то уже после северной ссылки специально съездил на ту комаровскую дачу, где Марина осознанно устроила небольшой пожар. И многие его стихи о горении, о пепле, о пожаре идут как воспоминание об этом пожаре Марины. В каком-то смысле он был в восторге от ее поведения, хотя мучений эта любовь ему доставляла гораздо больше, чем Марине. Мгновения любви сменялись месяцами отчуждения, месяцы совместной почти семейной жизни в той же Норенской сменялись годами редких телефонных звонков и писем. Хочется верить, что эти письма с обеих сторон не уничтожены.

Прощай, прощай — шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,
подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
а в подворотнях гасятся огни.
— Прощай, любовь, когда-нибудь звони.

Стихи, посвященные Марине, связанные с Мариной, Бродский считал главным делом своей жизни. Сравнивал с «Божественной комедией» Данте. Сегодня чуть ли не большинство исследователей его творчества стараются отодвинуть любовную лирику куда-то в сторону, найти ей замену. Журналы пестрят статьями и очерками, беседами и признаниями о десятках Любовей Иосифа Бродского. Его активно популяризируемый «донжуанский список» давно уже обогнал пушкинский. Но все это ложь — на самом деле любовь вплоть до последних лет жизни у него была одна, и звали ее Марина.

А выше страсть, что смотрит с высоты

бескрайней на пылающее зданье.
Оно уже со временем на ты.
А выше только боль и ожиданье.

На Рождество 1966 года Иосифом и Мариной был зачат их единственный ребенок Андрей. С тех пор Рождество стало для поэта еще более важным праздником. Андрей родился 8 октября 1967 года. Отец подарил сыну в день его рождения Библию с надписью: «Андрею на всю жизнь». Написал и стихотворение:

Сын! Если я не мертв, то потому
что знаю, что в Аду тебя не встречу.
Апостол же, чьей воле я перечу,
в Рай не позволит занести чуму.

Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривиться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня, отец твой не убит.

Потом, в Нью-Йорке у него над камином висели две фотографии — портрет Ахматовой и та, где была запечатлена Марина с сыном, оставшиеся в России.

Людмила Штерн вспоминает: «Когда родился Андрей, Иосиф был в совершенном отчаянии от того, что Марина отказалась дать сыну его фамилию. И записала Басмановым. Мы вместе звонили адвокату Киселеву, спрашивая, можно ли на нее воздействовать в судебном порядке. Воздействовать было нельзя. Мы утешали Иосифа, пытаясь объяснить ему, что Андрей не стал Бродским не „назло“ и не из-за жгучего антисемитизма ее родителей. Просто в нашей стране Басмановым легче выжить, чем Бродским. „Но я могу требовать, чтобы мой сын хотя бы был Иосифовичем?“ — настаивал Бродский. Марина записала Андрея Осиповичем, поделив, вероятно, его отцовство между Бродским и Мандельштамом».

К сожалению, Марина не поощряла общение папы с малышом, близости родительской не возникло. Когда Бродский уезжал в Америку, сыну было всего пять лет, да и то, когда изредка встречались, Марина не разрешала Иосифу говорить, что он — папа Андрея. Марина полностью управляла своей жизнью и жизнью сына. Такая она и до сих пор, волевая, энергичная.

Андрей и сейчас живет в Петербурге. Так же, как отец, не был склонен к учебе, тоже не окончил школу. К сожалению, талантов

отца не унаследовал. Увлекался рок-музыкой, но это привело лишь к ссоре с отцом. В свой единственный приезд к отцу в Америку Андрей, получив в подарок от него гитару, сыграл на ней песню из репертуара Александра Башлачева — кстати, совсем неплохого поэта. Иосиф Бродский был в шоке. Он звонил другу Владимиру Уфлянду и с ужасом говорил: «Боже мой, он лежит на диване и поет какие-то ужасные песни! Это же невозможно слушать!»

Честно говоря, не понимаю в данном случае Бродского. Мой ирландский внук Сева Бондаренко тоже бренчит что-то на рок-гитаре. Я не собираюсь ни восторгаться его кельтскими рок-мелодиями, ни негодовать. Наши отцы, что у Бродского — морской советский офицер, что у меня — специалист по лесу, тоже возмущались, когда мы читали Дос-Пассоса или Хемингуэя вместо положенного Тургенева, но никому не звонили с ужасом. Дело, думаю, не столько в консерватизме Бродского, сколько в изначальном отсутствии контакта между отцом и сыном. Их взаимное отчуждение и привело к непониманию друг друга. По следам визита сына поэт написал тогда довольно мрачное стихотворение:

Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.

Твой пацан подрос; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты — отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.

Хорошо, что есть уже три внучки, которые не унаследовали от дедушки с бабушкой скрытность и замкнутость и готовы отвечать за весь род Бродских-Басмановых.

Андрей как-то наткнулся на строчку в стихах отца: «Ты тоже был женат на бляди…», сказал, что этого не простит Бродскому и отомстит за мать. Живет он вольным художником, фотографом или тунеядцем, пора уже судить, как отца… Считает себя коммунистом. После поездки к отцу в Нью-Йорк в середине 1990-

х годов написал матерную книжку о приключениях в Америке… Иосиф Бродский как-то в сердцах назвал его «предварительным эскизом».

Ведь каждый, кто в изгнанье тосковал,
рад муку, чем придется, утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.

Всю жизнь Бродский любил одну-единственную женщину, хотя в гневе и называл ее врагиней, блудней с рыбьей кровью, но именно ей посвятил все свои лучшие любовные стихи плюс одно антилюбовное («Дорогая, я вышел сегодня из дому…»).

В воспоминаниях о нем пишут о его бесконечных любовных романах. Романы были, но любовные ли они? Пассионарный, энергичный, полный сил мужчина нуждался в женской ласке и даруемом ею вдохновении. Поэтому он охотно шел навстречу поклонницам, всегда окружавшим его. Вскоре после эмиграции сдружился с француженкой Вероникой Шильц, своей «персидской стрелой».

Ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще
настоящего. Ибо тепло любое
ладони — тем более преходяще.

Познакомились они еще в 1967 году в Москве. Вероника Шильц работала в посольстве и прекрасно говорила по-русски. «Выходит, я их свел, — вспоминает актер Лев Прыгунов. — Потом Иосиф написал гениальную поэму „Прощайте, мадемуазель Вероника“ — и все, освободился от любви. Но если бы не я, этой поэмы просто бы не было. И мы это вспоминали, когда я был у него в Америке». Потом сдружился с лондонской слависткой Фейт Вигзелл. Они познакомились в 1968-м в Ленинграде. Ей он посвятил свой «Прачечный мост».

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться, —
сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
таращится, забыв о поплавке,

на зыбкое свое изображенье.

Приятельнице из Польши Зофье Капусцинской Бродский посвятил стихотворение «Полонез: вариация»:

Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

Но его связи были случайны, поверхностны, он всячески избегал повторений и продолжений. («В одну и ту же дважды? Да вы что! Я имею в виду реку».) Он и называл иногда своих подружек полупрезрительно «вещами». Вот, к примеру, «моя шведская вещь», которая скрашивала одиночество во время конгресса Пен-клуба в Бразилии: «Помню очаровательное, светло-палевое с темно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру и — лютую ненависть животного, которое догадывается о том, что оно животное, в 2 часа ночи».

В 1980-е годы в Италии он чуть было не женился на Аннелизе Аллева. Евгений Рейн писал о ней: «От нее исходила кротость, нечто даже фаталистическое. Тихий голос, ясный взгляд серых глаз. При всей миловидности в ее внешности не было ничего вульгарного, затертого, банального. Я еще тогда подумал, что вот такая головка могла бы быть отчеканена на античной монете». Ей посвящено много стихов в «Урании». В книжке, подаренной Рейну, есть приписка: «написано на о. Искья в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево». Ей же посвящено стихотворение 1987 года:

ты тускло светишься изнутри,
покуда, губами припав к плечу,
я, точно книгу читая при
тебе, сезам по складам шепчу.

Под посвящением на этом стихотворении была сделана приписка на экземпляре Рейна: «Анне Лизе Аллево, на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, еще произойдет». Потом довольно долго жил с американской слависткой Кэрол Юланд, которая вдохновила Бродского на эссе «Полторы комнаты». При этом Людмила Штерн пишет, что, когда они с друзьями вспоминали разные любовные истории, Бродский вдруг

сказал: «Как это ни смешно, я все еще болен Мариной. Такой, знаете ли, хронический случай»…

По Питеру ходили слухи о многочисленных незаконных детях Бродского, юридически никак не подтвержденных, хотя сегодня провести экспертизу ДНК не так уж сложно. По всему миру ходили такие же слухи о великой любви поэта то к одной, то к другой даме, а Иосиф по-прежнему писал стихи, посвященные Марине Басмановой. То от имени зайца, то от имени кота, то от имени алкоголика Иванова («Любовная песнь Иванова»).

Ему не хотелось обсуждать со всем миром тривиальные проблемы любовного треугольника, где он был, увы, не главной стороной. Только передав свою роль Иванову, он мог высказаться предельно искренне.

Кажинный раз на этом самом месте
я вспоминаю о своей невесте.
Вхожу в шалман, заказываю двести.
Река бежит у ног моих, зараза.
Я говорю ей мысленно: бежи.
В глазу — слеза. Но вижу краем глаза
Литейный мост и силуэт баржи.
Моя невеста полюбила друга.
Я как узнал, то чуть их не убил.
Но Кодекс строг. И в чем моя заслуга,
что выдержал характер. Правда, пил.
<…>
Мослы, переполняющие брюки,
валялись на кровати, все в шерсти.
И горло хочет громко крикнуть: Суки!
Но почему-то говорит: Прости.
За что? Кого? Когда я слышу чаек,
то резкий крик меня бросает в дрожь.
Такой же звук, когда она кончает,
хотя потом еще мычит: Не трожь.

Закончится его любовная лирика грубым, но сильным, как бы антилюбовным стихотворением 1989 года:

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и финикам,
рисовала тушью в блокноте, немного пела,
развлекалась со мной, но потом сошлась
с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

> Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии,
> на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
> чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
> немыслимые, чем между тобой и мною.

Одна из давних и верных подруг поэта Людмила Штерн, всегда скептически относившаяся к этой трагической любви Бродского, на этот раз даже оскорбилась от имени всех женщин: «О чем он возвестил миру этим стихотворением? Что наконец разлюбил МБ и освободился, четверть века спустя, от ее чар? Что излечился от хронической болезни и в честь этого события врезал ей в солнечное сплетение? Зачем было независимому, „вольному сыну эфира“ плевать через океан в лицо женщине, которую он любил „больше ангелов и Самого“? Великий предшественник Бродского когда-то выразил великое чувство великими строчками: „Я вас любил, любовь еще, быть может…“ Вот кто взял нотой выше. Бродскому эту ноту взять не удалось».

За год до женитьбы на Марии поэт окончательно подводит итог своей прошедшей любви:

> Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
> ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
> но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум,
> еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Когда оппоненты Иосифа Бродского, и в России, и в Америке, упрекают его в душевном холоде, бухгалтерской статистике, я бы посоветовал им всем прочитать его любовную лирику. Может быть, этот странный союз двух столь разных и столь одинаковых людей и нужен был, чтобы написать томик великих стихов?

Не забудем, уже в конце жизни сам поэт говорил о стихах, посвященных Марине: «Это главное дело моей жизни». Позже он составит из любовной лирики книгу «Новые стансы к Августе» и будет сравнивать ее с «Божественной комедией» Данте. По мнению многих, главными в книге являются три шедевра: «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбужденье…»), «Горение» и «Я был только тем, чего ты касалась ладонью…». Но и вся книга целиком — это чудная любовная лирика, по мнению многих, лучшее, что написано Бродским.

ВЗБУНТОВАВШИЙСЯ ПАСЫНОК

Бродский не раз называл себя пасынком русской культуры — что ж, оставим за ним это определение. Что он имел в виду: свою национальность, свое кочевье, репрессивные меры государства по отношению к поэту — нам сейчас уже знать не дано. Но пасынок с юности начал бунтовать, и не только против властей, но и против романтических тенденций в русской литературе, против французского влияния на русскую поэзию, против азиатских, восточных прививок к ней. Впрочем, бунт — это тоже давняя традиция в русской культуре, от протопопа Аввакума до сегодняшнего Эдуарда Лимонова…

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый.

Он бунтовал не как политик, а как поэт. Бунтовал против либералов и против неуемных державников, против лихих авангардистов и против тихих лириков. Это всегда был консервативный бунт. Он ненавидел авангард во всех проявлениях. В Швеции мне рассказывали: когда Бродский снял квартирку напротив залива, чтобы всё напоминало его любимый Питер, эта квартира оказалась обвешана абстрактными полотнами — и он попросил немедленно всю эту дрянь убрать. То же самое и в поэзии, и в жизни. Думаю, он и тех же Вознесенского с Евтушенко не любил во многом за их напускное новаторство.

Не слишком долгая по календарным срокам, в метафизическом смысле слова его жизнь оказалась затянувшейся, как и его творчество, и его судьба чуть ли не со времен его эмиграции. Он этого и сам не скрывал: «Жизнь моя затянулась…», «не горизонт вижу я — знак минуса / к прожитой жизни», «чую дыхание смертной темени / фибрами всеми», «Боязно! То-то и есть, что боязно», и вот так же откровенно — «затянувшаяся жизнь»… Его поздняя поэзия и была даже для него самого поэзией после смерти: «Только пепел знает, что значит сгореть дотла…» или вот это:

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.

Посмотри на него — и потом сотри.

Его поэзия конца 1980-х и начала 1990-х — это «что будет после конца…». Сборник его поздних стихов можно назвать по стихотворению 1987 года «Послесловие». Послесловие ко всему: к неудавшейся, затянувшейся на двадцать с лишним лет любви, к его уже давно состоявшейся и определившейся поэзии, к его былым мечтам и пророчествам, к былому романтизму и даже к былому классицизму. Ко всему — послесловие:

Я уже не способен припомнить, когда и где
Произошло событье. То или иное.
Вчера? Несколько дней назад? В воде?
В воздухе? В местном саду? Со мною?
<…>
Тронь меня — и ты заденешь то,
Что существует помимо меня, не веря
Мне, моему лицу, пальто,
То, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря…

Мне кажется, это ощущение затянувшейся жизни определило всю его позднейшую эмигрантскую поэтику, весь его так называемый «скептический классицизм», когда он уже целый мир поверяет иронией. Все его затянувшиеся стихи в 300–400 строк, затянувшиеся сюжеты, да и его знаменитые *enjambement,* постоянные переносы из строки в строку, лишь увеличивают впечатление о нескончаемой затянутости чего бы то ни было. Он боится прервать строку, ибо с окончанием строки может закончиться и сама жизнь. Его становится трудно цитировать, мысль не вмещается не только в строчку, но даже в строфу. Далее мысль уже не вмещается и в короткое стихотворение, его приходится растягивать до бесконечности. Поэзия становится прозой, но для прозы — нет динамичного сюжета, нет героев, нет конфликта. Конфликт один — поэт и надвигающаяся смерть. Независимо от его воли возникает метафизическая темнота стиха. Она усугубляется его страхом, его скептической иронией по отношению и к себе самому, и ко всему живому. Ирония иногда пожирает смысл стиха, но она не самоцель, ею он укрывался от надвигающегося конца. Он чересчур много думал о смерти в эти годы.

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
И сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны
И стану просто одной звездой…

Иосиф Бродский и жил, и писал, и курил — взатяжку, почти без пауз. Таким образом он продлевал свое существование бесконечного кочевника. Он мог сколько угодно говорить о своем космополитизме и своей всемирности, но потеряв свой родной балтийский угол, он (кстати, как и Владимир Набоков) другого родного угла не нашел, потому и колесил по всему свету, потому и скрывался время от времени в шведских фиордах, потому и не приобретал нигде никакой недвижимости. Разве что небольшой деревянный домик в штате Массачусетс, в котором ему неплохо работалось. Его сделали кочевником помимо его желания: три питерские власти, любимая женщина, ревнивые друзья-соперники. Осесть в своем этническом еврейском углу он категорически не желал, выбивал из себя местечковость всеми возможными способами — любя славянских и европейских женщин, устремляясь душой и телом на Север и Запад; любой Восток, в том числе и еврейский, для него был чужд. Вот и метался Бродский по треугольнику трех великих империй: русской, американской и римской.

Со временем он на беду себе порывает с любой почвой, становится все более всемирным, потому что не привязывается ни к чему почвенному, конкретному. Но без почвы — нет поэта. Какими бы ни были всемирными Йетс или Оден, Уолкотт или Фрост, все они несли в себе окраску своих народов. Как Одиссей Телемаку, пишет он, как бы обращаясь к своему сыну Андрею в Питер:

Мне неизвестно, где я нахожусь,
Что предо мной. Какой-то грязный остров,
Кусты, постройки, хрюканье свиней,
Заросший сад, какая-то царица,
Трава да камни… Милый Телемак,
Все острова похожи друг на друга,
Когда так долго странствуешь, и мозг
Уже сбивается, считая волны….
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова…

Но были в этой затянувшейся метафизике его творчества, которая откровенно мешала ему самому (думаю, он при своей самокритичности согласился бы со многими замечаниями и

Наума Коржавина, и Александра Солженицына), и поистине божественные прорывы.

НАРОСТЫ ЛИШНЕГО

Иосиф Бродский на самом деле написал много лишнего, работая не по-пастернаковски, лишь тогда, «когда строку диктует чувство…», а по принципу старой латинской поговорки, растиражированной Юрием Олешей, — «ни дня без строчки». Отсюда рождались холодные, затянувшиеся, трудно читаемые, уходящие в пустоту многозначительности. Что это для него было — гимнастика ума? Иногда, думаю я, одурев от скуки нанизываемых строк, он кидался в такое же расчетливое, продуманное ерничество, рождающее порой немыслимую для поэта такого ранга и дарования пошлость. Те же «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» для меня законченный пример подобного занижения самого себя и своего замысла. И пусть литературоведы именуют это «скептическим классицизмом», пусть дискутируют о бахтинском карнавальном низе, но ей-богу, всему есть свое место. И похабные русские частушки народ не распевал в храме или у могилы родителей. Само обращение на «ты» к королеве уже отдает пошлостью, но далее: «В своем столетьи белая ворона, / для современников была ты блядь», или же такое ерничанье над трагедией:

«Ей отрубили голову. Увы». —
«Представьте, как рассердятся в Париже». —
«Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже…» —
«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже.» —
«Ну это, как хотите, не основа…» —
«Бесстыдство! Так просвечивала жэ!» —
«Что ж, платья, может, не было иного», —
«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже»…

Эта грубая, брезгливая, высокомерная ироничность по отношению ко всему миру, от какого бы внутреннего отчаяния она ни происходила, отнюдь не близка простонародной похабной лексике. Это уже литературная люмпенизация своего же любимого языка. И наконец, должны же быть какие-то святыни, сакральные ценности или хотя бы уважение к ценностям других людей. К примеру, попробовал бы он так похотливо посмеяться над толпой голых евреев, стоящих в очереди в крематорий, поиздеваться над Холокостом, как над полезной чисткой,

омолаживающей еврейскую усталую нацию. Ведь там тоже, в конце концов, всё сводилось к умерщвлению человека тем или иным способом. Опасная эта тема — торжество низа в карнавальной культуре, сегодня можно поерничать над разрушенными американскими башнями или над украинскими бомбежками Донбасса, а завтра над чем?

Обращает на себя внимание и нескрываемая нелюбовь к Востоку, тоже подчас принимающая у Иосифа Бродского явные ксенофобские формы. Тут к месту и не к месту употребляемый в стихах и прозе «Чучмекистан» в самом презрительном контексте. К примеру, в Бразилии на писательском форуме: «Чучмекистан от этого тоже млеет, и даже пуще европейца. Там навалом этого материала из Сенегала, Слоновой Кости и уж не помню, откуда еще. Лощеные такие шоколадные твари, в замечательной ткани, кепки от Балансиаги и проч., с опытом жизни в Париже, потому что какая же это жизнь для левобережной гошистки, если не было негра из Третьего мира… А у белого человека вести себя нагло в других широтах основания как бы исторические, крестоносные, миссионерские, купеческие, имперские — динамические, одним словом. Эти же никогда экспансии никакой не предавались… сострадание, может, проснется в Джамбулах этих необрезанных…» Тут и презрительное по отношению к восточной мусульманской цивилизации эссе «Путешествие в Стамбул» с утверждением, что «все эти чалмы и бороды — это униформа головы, одержимой только одной мыслью: резать… „рэжу“, следовательно, существую». После публикации этого эссе на английском языке его друг Чеслав Милош заметил: «Осторожнее с поездкой туда. За вашу голову назначен приз…» Не случайно и негр, один из студентов Бродского, бросил ему недовольно: «Короче, это все расистские штучки…» По-своему он был прав.

Мусульмане могут обижаться вполне заслуженно. Тут и Сатана, живущий не где-нибудь, а в мусульманском мире:

> В глазах — арабских кружев чертовщина.
> В руке дрожит кордовский черный грифель.
> В углу — его рассматривает в профиль
> Арабский представитель Меф-ибн-Стофель.

Тут и «Календарь Москвы заражен Кораном», и «Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе…», и вполне расистское формулирование будущего мира: «Либо нас перережут цветные. / Либо мы их сошлем в иные / миры. Вернемся в свои пивные…»

Может быть, поэтому он и к бытовому, нерадикальному антисемитизму относился снисходительно, как к еще одному,

пусть и чуждому ему мировоззрению, ибо и сам себе позволял быть ксенофобом по отношению к каким-то другим народам. Он и расизм считал неизбежным проявлением человеческих чувств — неприятным, но неизбежным. Не раз говорил, что «в вопросе антисемитизма следует быть очень осторожным. Антисемитизм — это по сути одна из форм расизма. А ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты… Что такое предрассудки, в том числе и расовые? Это способ выразить недовольство положением человека в мире. Проблема возникает, когда предрассудок становится частью системы».

Исходя из своих взглядов, он критически относился и к навязываемым в западных университетах политкорректным взглядам на воспитание человека: «Новаторы одержимы идеей, что программы слишком европоцентричны, географически и расово непропорциональны и т. д. Демократический принцип равенства… в некоторых областях не срабатывает. Одна из них — область искусства. В нем применение демократических принципов означает приравнивание шедевра к поделке… Но у радетелей равноправия… очень громкий голос: их — не перекричишь». И весьма рискованное для гражданина демократического мира заявление: «Я придерживаюсь теории, что на эволюционной лестнице человечества тоже нет равенства… Что не все люди — люди… Мы — грубо говоря, разные особи…» Иные его высказывания очень близки нашим самым пламенным реакционерам. Думаю, будь Бродский русским по рождению, вполне мог встать в их ряды… Он, к счастью, не был человеком двойного стандарта, что позволял себе, то допускал и у остальных…

Ничего не остыну! Вообще забудьте!
Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде…

А дальше прямое предвидение сегодняшних дней в России:

Иначе — верх возьмут телепаты,
Буддисты, спириты, препараты,
Фрейдисты, неврологи, психопаты,
Кайф, состояние эйфории,
Диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы повесят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии…

Прочитав массу необязательных, часто затемняющих облик поэта и вызывающих раздражение своей «опережающей гениальностью» воспоминаний и интервью, я бы выделил лишь четыре более или менее стоящие книги: удавшийся опыт литературной биографии Льва Лосева, подробнейшую хронику жизни поэта, составленную неутомимой Валентиной Полухиной, волковские «Диалоги с Иосифом Бродским» и книгу воспоминаний Людмилы Штерн. В них есть даже неприятная для самих авторов правда об ином Бродском, который оказывается шире их представлений, который влюблен в Россию более, чем требуется для еврея-эмигранта, который пропагандирует великую русскую культуру, своими лучшими стихами называет стихи о любви к Марине Басмановой, а своим лучшим периодом жизни — жизнь в архангельской ссылке. Прав оказался Александр Солженицын: не помешало бы Бродскому прожить и все пять лет в северной деревенской глухомани, совсем другого поэта получили бы американцы. Все это видит Солженицын в ссылке Бродского и в его стихах ссыльного периода: «Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломленным городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное — и уже втягивал в радость. Думаю: поживи Бродский в ссылке подольше — та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нем…» Я бы сказал: почти не удержались…

Да, он оказался никудышным пророком, об этом мы рассуждали еще с покойной ныне Татьяной Глушковой. Это неважное качество для большого поэта. Впрочем, Бродский и сам рано почувствовал свою слабость в пророчествах. Для этого надо было быть другим — человеком железной воли, поэтом-трибуном, борцом и полемистом. А он был болен и своей любовью, и своим телом, и своими сомнениями в себе самом, поэтому в пророки явно не годился.

У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
Я не более зряч, чем Назонов Калхас.
Потому прорицать — все равно, что кактус
Или львиный зев подносить к забралу.
Все равно, что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
На тебя похожих на ощупь, в мире,

Что называется, кот наплакал.
Какова твоя жертва, таков оракул.

А он и был одновременно оракулом и жертвой…

Увы, его возлюбленная повинна (если возлюбленные вообще могут быть в чем-то повинны) в несостоявшемся, загубленном даре пророчества, столь необходимом каждому истинному поэту. Поэт обязан следовать своим пророчествам, обязан следить с горних вершин, дабы они исполнялись. Многие приводят как явный пример пророческой несостоятельности несоответствие его ранних строк: «На Васильевский остров / Я приду умирать» — его двойному захоронению сначала в Америке, затем в Венеции. Впрочем, и здесь судьба несостоявшегося пророчества, как я уже предполагал выше, носит вполне конкретное женское имя Мария — не будь его жена итальянкой, может быть, и получил бы Питер еще одно место литературного поклонения. Но все же любая конкретика управляется свыше, небесными силами, значит, что-то мистическое мешало Иосифу Бродскому всю жизнь исполнять свои поэтические пророчества.

«Я — ПЛОХОЙ ЕВРЕЙ»

Национальный вопрос никогда не занимал большого места в жизни Бродского. Он жил в русской культуре и русской культурой. И потому, может быть, даже в семейном плане впадать в еврейство никогда не стремился. Рассказывают такой случай: посмотрев фильм Вуди Аллена «Энни Холл» о неврастеничном еврее, раздираемом манией величия и комплексом неполноценности, да к тому же без ума влюбленном в англосаксонку «голубых кровей», Бродский небрежно бросил: «Распространенная комбинация — *dirty jew* и белая женщина. Абсолютно мой случай…» Бедный Иосиф все искал объяснений своей неудавшейся любви, но, думаю, и для Марины Басмановой его еврейство ничего не значило, рождение сына от него — тому явное доказательство. Это лишь попытка самооправдания в своей любовной трагедии. А в память о поморском «Пророчестве» он все-таки и дочку от позднего брака назвал Анной. Так и получилось: Андрей и Анна. И оба — от нееврейских женщин. «Абсолютно мой случай…»

В чужой ему Восток входил, как ни странно, и Израиль. Сэр Исайя Берлин рассуждал на эту тему с Дианой Абаевой:

> *«Д. А.* А почему, по-вашему, он избегал Израиля?
>
> *Сэр И. Б.* Не знаю, почему… Он не хотел быть еврейским евреем. Быть окруженным евреями, мучиться еврейскими мыслями, думать о еврейских проблемах было не для него. Его еврейство не интересовало. Он вырос в России и вырос на русской литературе. Это было для него.
>
> *Д. А.* Он ощущал себя северянином, петербуржцем. Любил Север, идею Севера. Это у него общее с Оденом. Он по его стопам ездил в Ирландию, и ему тоже, как Одену, нравилась Северная Англия, Швеция. Италию он обожал, но это было сибаритское и эстетическое восхищение заезжего человека. А чтобы поработать, так это где-нибудь на Севере. Восток ему совсем был чужд, он его внутренне как будто побаивался».

Он осознанно не хотел быть евреем в литературе, еврейским поэтом, поэтом для евреев. В жизни — ради бога, он никогда не комплексовал, но и не возвеличивал свое еврейство, принимая его как данность. В литературе он был заведомо русским поэтом, и никаким другим. Его поздний бунт против русской культуры в

себе самом явно не удался. В его русскости были свои провалы, свои отторжения, свое изгойство. В изгнании он одно время пытался отринуть от себя Россию, пытался издеваться над ней, что не преминул отметить Солженицын: «И так получилось, что, выросши в своеобразном ленинградском интеллигентном круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся. Да и весь дух его — интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая преемственность… В „Пятой годовщине“ (1977) даже пейзажные приметы покинутой страны перечисляются без малейшего сожаления. Потом в выступлениях Бродский называл Россию своей „бывшей родиной“…»

Да, много чуждого России можно найти в позднем Бродском, как и в любом другом самых русских кровей эмигранте, много лет живущем вне родины, как и в самом Солженицыне. Не о том сейчас речь.

Меня в Бродском удивляет другое: что русскости в своей поэзии и даже в жизни, в ее запредельности и амбивалентности он так и не сумел преодолеть. И еврейскость в свою культуру не пустил. На этом сходятся и Александр Солженицын, и Наум Коржавин, и Шимон Маркиш. Последний пишет: «Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского „материала“ поэт Иосиф Бродский не знает — это „материал“ ему чужой…» Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению, впрочем, так же как и Осип Мандельштам и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную судьбу в русской культуре.

«На „Кем вы себя считаете?“ — Бродский отвечал: „Русским поэтом“; на „Считаете ли вы себя евреем?“ — отвечал: „Считаю себя человеком“ …На „Важно ли для вас, что вы — еврей?“ … пространнее: „Для меня важным в человеке является, трус ли этот человек или смел, честный он или лжец. Порядочен ли он, что особенно проявляется в отношении человека к женщине“», — пишет в своей книге Людмила Штерн.

Самое поразительное и принципиальное — его отказ ходить в синагоги и выступать в синагогах. А надо сказать, что там, в американских синагогах, со своими концертами и литературными вечерами выступали не только евреи, но и известные русские поэты от Евгения Евтушенко до Андрея Вознесенского. Дешевые залы, большая скидка, свой постоянный контингент слушателей. Бродский и слышать о таких выступлениях не хотел. Боялся ли он местечковости еврейской культуры, религиозной иудейской ортодоксии, ощущения гетто в себе самом? По сути, и Павел Горелов в статье в «Комсомольской правде», и Людмила Штерн в воспоминаниях, и Александр Солженицын пишут об одном и том

же — о стремлении позднего эмигрантского Иосифа Бродского если не уйти из русской культуры, то раствориться целиком в мировой, преимущественно англоязычной культуре. Он и на самом деле вроде бы стал сторониться России, посчитав ее мировой окраиной, осмеивать и ее, и христианство в своих иронических стихах, но еще больше и еще яростнее он сторонился еврейства. Именно в Америке он поразился четкой разделенности мировой культуры в глазах евреев, о чем не раз говорил в своих интервью: «Вы знаете, для русского человека… нет большой разницы между Ветхим и Новым Заветом. Для русского человека это по сути одна книга с параллельными местами, которую можно листать взад-вперед. Поэтому, когда я оказался на Западе, я был поражен (вначале по крайней мере) строгим разграничением на евреев и неевреев. Я думал: „Ерунда! Чушь собачья! Ведь это лишает их перспективы!“». Или же в другом месте: «Еврейский аспект моего бытия был, так сказать, у меня под рукой… Индуизм был недоступен, христианство, христианская традиция была недоступна… Не говоря уже о таких важных вещах, как западная культура, которая тоже была недоступна. Поэтому я сосредотачивал внимание на этих вещах в ущерб своему еврейству… На самом деле мое еврейство стало чуть более заметным для меня именно здесь, где общество построено с учетом строгого разграничения на евреев и неевреев». И при этом строгом разграничении Иосиф Бродский постарался максимально умалить свое еврейство во имя мировой культуры. И все-таки остался не «мировым», а русским поэтом.

Как-то в юности, заглянув однажды в синагогу и сбежав оттуда через несколько минут, больше никогда в жизни он в синагогах не бывал. Людмила Штерн вспоминает: «Когда умер, отпевали его и в епископальном храме, и в русской православной церкви. А в синагоге поминальной службы не было. И в гробу он лежал с католическим крестиком в руках. Было ли это его волей или желанием Марии, нам знать не дано… Весной 1995 года, когда я уговорила Бродского поехать в литературное турне по Америке, продюсер… арендовал залы в синагогах. Я показала Иосифу список снятых помещений, и он резко сказал: „Никаких синагог, пожалуйста. В синагогах я выступать не буду…“ Загадочным было и отношение Бродского к Израилю… Он от приглашения отказался: „Я, знаешь ли, плохой еврей“. Звучало это странно. И для еврея, и для христианина, и для мусульманина, сквозь всю историю человеческой цивилизации Израиль — одно из самых значительных и волнующих мест на земном шаре. Известно, что Бродского не раз и не два приглашал Иерусалимский университет — читать лекции или выступить с

литературными вечерами, — он даже не желал это обсуждать…»

Думаю, не было в этих отказах ничего антиеврейского — прежде всего Бродский боялся слиться с проникающей повсюду и все-таки замкнутой только на себя еврейской культурой. Боялся остаться в памяти в качестве «еврейского поэта», где на первом плане окажется не «поэт», а именно «еврейский». Такое торжество второстепенного над главным его решительно не устраивало.

БУНТ ЗА НАРОД

Было и что-то еще, не менее, а может быть, даже более важное, делающее «северный» период наиболее значимым в жизни Бродского. Его приближение уже не к северной природе, укрывающей его от чужих взглядов и от собственного страдания, а к самим людям, эту землю населяющим. Впервые в жизни он стал чувствовать себя частью народа и конкретно — русского народа. Стал переживать не за конкретного товарища или подругу, а за народ. Для Бродского это было небывалое, никогда уже в жизни не повторившееся состояние души.

Эту главку можно было бы назвать «Народный поэт Иосиф Бродский» — попробуйте, оспорьте. Вам придется спорить не со мной, а с самим поэтом: «Если меня на свете что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает, так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, интеллигентам, что — нам книжку почитать, и обо всем забыл, да? А эти люди ведь на земле живут. У них ничего другого нет. И для них это — настоящее горе. Не только горе — у них и выхода никакого нет… Вот они и пьют, спиваются, дерутся… Мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе…»

В такой, не побоюсь сказать, соборной русской атмосфере и рождались его лучшие деревенские стихи: «К северному краю», «Дом тучами придавлен до земли…», «Деревья в моем окне, в деревянном окне…», «Северная почта», «Колыбельная» и, конечно же, «Песня», и, конечно же, «В деревне Бог живет не по углам…».

Обычно позднего Бродского узнают по первым же строкам: нейтральная интонация, монотонный стих, отсылка к английским классикам. А к кому отошлет дотошный исследователь творчества поэта его почти фольклорную песню?

Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
И большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.
То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней, да поедем к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.

Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
За которым стоит терем?
Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь
И отец игумен, как есть безумен.

Клюевским староверием, северными скитами, шергинскими сказами веет от этой народной песни Бродского.

Уверен, именно придя к своей «деревенской поэзии», он задумал совершенно искреннюю попытку опубликоваться в местной коношской печати. Журналист Альберт Забалуев из коношского «Призыва» вспоминает: «Однажды в кабинет вошел рыжеватый юноша в городских джинсах, видно, что не здешний.

— Вы можете напечатать стихи тунеядца? — просто, без иронии спросил он.

— Да, если они отвечают газетным нормам.

Газетным нормам стихотворение „Тракторы на рассвете“ (а именно это он принес) отвечало — короткое, казалось бы, на производственную тематику… Через неделю Иосиф снова пришел в редакцию, принес второе стихотворение — „Осеннее“. Я прочитал его и по своей наивности… сделал такую оценку:

— Этот текст уступает первому. В том больше динамики, емче образность…

— Не скажите, — перебил он меня. — Сейчас время обеда. У тебя где трапеза? Дома? Пойдем, угостишь меня чайком. Заодно по дороге я тебе и мозги вправлю…

Сравнивая два предложенных газете текста, он говорил, что образность, даже самая удачная, не самоцель, она легко и как бы из глубины должна вплетаться в ткань стиха…»

Не так уж и нужна была ему публикация в районной газете, которая вскоре состоялась. Очевидно, став уже своим в деревне, он хотел пообщаться и с коношскими газетчиками, взглянуть на журналистскую глубинку живьем. Кстати, как видно из воспоминаний еще одного коношанина, Владимира Черномордика, в совхозе «особых притеснений ему не чинили, и условия для творческой работы у него были… Уже в то время его здоровье было неважное, и его вклад в продовольственную

программу был весьма невелик… Помог тогдашний начальник КБО Н. П. Милютин. Так Бродский стал разъездным фотокорреспондентом…».

Впрочем, стихи на производственную тематику вполне вписываются в его тогдашнее увлечение Робертом Фростом:

> Топорщилось зерно под бороной,
> И двигатель окрестность оглашал.
> Пилот меж туч закручивал свой почерк.
> Лицом в поля, к движению спиной,
> Я сеялку собою украшал,
> припудренный землицею как Моцарт.

Но меня не его производственные стихи интересуют, «Тракторы на рассвете» или же «А. Буров — тракторист и я…», хотя и они отнюдь не унижают поэта, не похожи на заказные стихи в угоду начальству. Меня больше интересуют движение поэта к народу, к людям, его окружавшим, ощущение слиянности с ними. То, о чем ему когда-то рассказывала Анна Ахматова и чему он не очень-то верил: «Я была тогда с моим народом, / там, где мой народ, к несчастью, был…» Сейчас Иосиф Бродский также оказался вместе со своим народом и почувствовал его своим. И как же взбесил этот момент народности всё его элитарное окружение! А он, не стесняясь, признавался позже и в американских интервью, и итальянскому журналисту Джованни Буттафава, и Волкову, и другим в постигшем его в архангельской ссылке чувстве сопричастности с русским народом: «Возникло что-то более важное, более глубинное, что наложило отпечаток на всю мою жизнь: выходишь рано, в шесть утра, в поле на работу, в час, когда восходит солнце, и чувствуешь, что так же поступают миллионы и миллионы человеческих существ. И тогда ты постигаешь смысл народной жизни, смысл, я бы сказал, человеческой солидарности. Если бы меня не арестовали и не осудили, я бы не имел такого опыта, я был бы в чем-то беднее. В каком-то смысле мне повезло…»

Вот с таким колоссальным ощущением своей принадлежности к русскому народу писалось в ссылке стихотворение «Народ», так поразившее Анну Ахматову. В мае 1965 года она написала в дневнике: «Мне он прочел „Гимн Народу“. Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорил Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович».

Может быть, постепенно, от стихов о северной природе, от

стихов о своем северном смирении с жизнью, от стихов, воспевающих крестьянскую избу и крестьянский труд, он и пришел к своему «величию замысла», к стихотворению «Народ».

Без всякой злобы думаю: если бы это стихотворение было посвящено не чуждому поэту еврейскому народу, оно бы уже вошло во все хрестоматии, но поэт посвятил его другому народу по велению своей созревшей до этого состояния души. Ахматова, как мы видим, признала это стихотворение гениальным, пафосно переназвав его при этом (и название это еще раз было повторено в ее дневниках после сердечного приступа, случившегося с ней: «Хоть бы Бродский приехал и опять прочел мне „Гимн Народу“»). Давний друг поэта Лев Лосев в своей филологической статье «О любви Ахматовой к „Народу“…» совершенно точно оценил это стихотворение как продолжение ахматовской традиции любви к своему народу, своей стране и своему языку, как стихотворение «великого замысла». Почти все остальные тогдашние приятели Бродского, от Анатолия Наймана до переводчика Андрея Сергеева, посчитали стихотворение лишь «паровозиком», написанным в надежде на снисхождение властей. Как же мелко они ценили самого поэта! И зачем нужен был этот «паровозик» Иосифу Бродскому в декабре 1964 года, когда не было еще никаких надежд на досрочное освобождение и тем более на публикацию в какой-нибудь, даже районной печати? Да и так ли наши власти любили народность в стихах того же Николая Рубцова или Ярослава Смелякова? Никогда народность не была в чести у партийного начальства. Ее боялись не меньше, чем диссидентства. Да и стала бы больная Ахматова хвататься как за лекарство за заказное конформистское стихотворение?

…Припадаю к народу, припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас…

Блестящие поэтические строчки, кстати, совпадающие с концепцией самого поэта о величии языка. Жаль, что это стихотворение не попалось на глаза Александру Солженицыну к моменту написания его статьи. Жаль, что и американские друзья поэта, как могли, умаляли его северные стихи, выбрасывая их из книг и антологий. Жаль, что и самого поэта уговорили отказаться от многих его ранних стихов во имя вхождения в мировую культуру. Ценю мужество и независимость Льва Лосева, не раз в своей американской жизни шедшего поперек потока и в случае с нападками на Солженицына после «Августа Четырнадцатого», и в

случае с пренебрежением к «неправильным» стихам Бродского.

Высоко ценил северные стихи поэта и Евгений Рейн, давно отдалившийся от стаи «ахматовских сирот». (Кстати, как они, поэты, не понимают пренебрежительности самого этого термина?) Рейн вспоминает свою поездку в Норенское уже в мае 1965 года: «Я застал его в хорошем состоянии, не было никакого пессимизма, никакого распада, никакого нытья. Хотя, честно признаться, я получил от него до этого некоторое количество трагических и печальных писем, что можно было понять… Бодрый, дееспособный, совершенно не сломленный человек. Хотя в эту секунду еще не было принято никаких решений о его освобождении, он мог еще просидеть всю пятерку… И когда Иосиф уходил, он мне оставил кучу своих стихов, написанных там… Была уже поздняя весна, очень красивое на севере время, была спокойная хорошая изба, где мне никто не мешал читать, гулять и все такое. И когда я прочел все эти стихи, я был поражен, потому что это был один из наиболее сильных, благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал… Главная высота была набрана именно там, в Норенской, — и духовная высота, и метафизическая высота. Так что… в этом одиночестве в северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только душевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал его поэзии».

Я не согласен с Евгением Рейном только в одном: не было у Бродского уже спустя полгода после начала ссылки «одиночества в северной деревне». Сначала природа, затем более живые, очеловеченные предметы деревенской избы, а потом уже и сами люди, все 14 дворов, заселенных людьми, все эти Буровы и Пестеревы, Забалуевы и Русаковы, крестьяне, журналисты и даже местные милиционеры, по долгу службы заглядывавшие к нему и распивавшие с ним в качестве контроля обязательную бутылку водки, как говорил Бродский, «те же крестьянские дети» — они все становились неизбежной и отнюдь не тягостной частью его жизни. Иначе не возникли бы замечательные своим крестьянским мистицизмом стихи:

В деревне Бог живет не по углам,
Как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне он — в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывая сонно на огне,

Подмигивает мне, как очевидцу.
<…>
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

Лишь концовка стиха говорит о некоей осознанной отчужденности свидетеля, о неслиянности с этим обожествленным столетиями крестьянским бытом. Но наступает время, когда хочется отбросить все эти мысли о себе в деревне, о своей оторванности от чего-то громадного и далекого. Время высшего христианского смирения перед жизнью, явленной тебе:

Как славно вечером в избе,
Запутавшись в своей судьбе,
Отбросить мысли о себе
И, притворись, что спишь,
Забыть о мире сволочном
И слушать в сумраке ночном,
Как в позвоночнике печном
Разбушевалась мышь.

Может быть, это и есть самое сокровенное в жизни? Простота людей, простота отношений, простота вещей, простота самой жизни. Как у Николая Заболоцкого в любимом стихотворении Бродского: «Вот они и шли в своих бушлатах — два несчастных русских старика». Это та простота, которой никакой модернизм никогда не может добиться.

Вспоминает Таисия Ивановна Пестерева: «С весны мы с Иосифом картошку садили. А когда он уезжал в августе, я у него спрашиваю: „Как же я ее одна-то теперь выкопаю?“ Отвечает: „Что делать, Ивановна! Надо ехать. По свету поездить“…»

Вот так и закончилась деревенская жизнь ссыльного поэта Иосифа Бродского. А заодно и его северное смирение. На воле бунт пасынка русской культуры продолжился. Таким его и примем.

БУНТ ЗА РУССКОСТЬ

А вот от русскости в своей культуре, даже иронизируя, даже отчуждаясь от нее, он так никогда отделиться и не смог. От русскости как следования русским канонам в литературе, в понимании поэзии, в жертвенном отношении к поэзии. От русскости как полного погружения в русскую языковую стихию. И даже от русскости как модели жизненного поведения, от максимализма, стремления постоять за правду и за други своя до разгульной анархичности и бесшабашной надежды на «авось»…

«У русского человека, хотя и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь…» — писал Иосиф Бродский, очевидно, объясняя этой русскостью и свою непрекращающуюся любовь к Марине. И когда читатель сплошь и рядом встречает в его стихах, выступлениях, эссе, выражение «наш народ», в «моем народе» — он может не сомневаться, речь идет именно о русском народе. И если изменил Иосиф Бродский в чем-то России, то лишь с другими империями: в литературе — с римской, в жизни — с американской:

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
Изменить может только с другим гаремом,
Я сменил империю. Это шаг
Продиктован был тем, что несло горелым.
<…>
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи…

И здесь он всего лишь продолжил русскую традицию Курбского, Герцена, Печерина, Набокова, Синявского…

Но в языке ему изменить не удалось; побег Бродского, подобно Владимиру Набокову, в чужую, англоязычную литературу явно провалился. Он опубликовал несколько англоязычных стихотворений в «Нью-йоркере», затем увлекся переводами собственных стихов с русского на английский, не удовлетворяясь качеством работы даже ведущих американских переводчиков. Но не случайно о его переводах было составлено мнение многими американскими поэтами и критиками: «посредственность мирового значения». Прочитав такое в ведущем издании и под фамилией известного властителя

американских книжных мод, Бродский перестал считать себя американским поэтом. Даже в таком насквозь нерусском стихотворении, как «Пятая годовщина» с его ухмылками по поводу луж на дворе и взлетающих в космос русских жучек вместе с офицерами Гагариными, с его уже литературно подтвержденным отказом от былого пророчества: «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, / Зане не знаю я, в какую землю лягу», этот мировой изгой остается в отечестве русского языка:

> И без костей язык, до внятных звуков лаком,
> Судьбу благодарит кириллицыным знаком.

А когда известный чешский писатель Милан Кундера разразился в американской печати громкими заявлениями о вечной агрессивности русских и об их культурной никчемности, не кто иной, как Иосиф Бродский дал ему достойный ответ. Да и на эмигрантских собраниях, где он изредка бывал, он защищал русскую культуру от примитивных антисоветских наскоков литературных графоманов.

Впрочем, не будем забывать, что и побег в англоязычную литературу был, мягко говоря, ему навязан. Все-таки он не особенно хотел уезжать из России. Тут жили его родители, тут жила его любовь, а значит, и какие-то надежды на будущее. С одной стороны, хотелось уехать, чтобы вырваться из литературной и любовной безнадеги, с другой — жила надежда на примирение и жил его сын, тут было пространство русского языка, которое он покидать не собирался. Ему бы радоваться, что без очереди дали израильскую визу, что отпускают на желанную свободу, а он пишет письмо Леониду Брежневу, так и недооцененное историками литературы. Письмо не политическое — письмо литературное. Уже 4 июля 1972 года оно было опубликовано в газете «Ди Прессе», а потом обильно процитировано в югославской газете Душаном Величковичем. Уезжающий поэт не плачется и не жалуется генеральному секретарю, но и не предъявляет ему политические обвинения, письмо отнюдь не покаянное, не вынужденное. Это письмо о его незыблемом праве на жизнь в русской культуре, и ни в какой другой:

> «Дорогой Леонид Ильич, покидая Россию не по своей воле (о чем Вы несомненно осведомлены), позволяю себе обратиться к Вам с просьбой, на что, как я считаю, у меня есть право, поскольку я убежден в том, что все, что я сделал в своем литературном творчестве за 15

прошедших лет, служит и будет служить русской культуре. Я хочу попросить Вас дать мне возможность остаться в русском литературном мире хоть переводчиком, кем был я до сих пор. Я принадлежу русской культуре, чувствую себя ее частицей, и никакая перемена места пребывания не может повлиять на конечный исход всего этого. Язык — явление более старое и более неизбежное, чем государство. А если речь идет о государстве, то, на мой взгляд, мера любви писателя к родине — не клятва с какой-то высоты. Это то, что он пишет на языке детей, среди которых он живет. Покидая Россию, испытываю горькое чувство. Здесь я родился и воспитывался, здесь я жил и благодарен России за все, что у меня есть на этом свете. Все пережитое мною Зло преодолено Добром, и никогда у меня не было такого чувства, что Родина обидела меня. Его нет и теперь. Несмотря на то что я теряю советское гражданство, я не перестаю быть русским писателем. Я верю, что вернусь, ведь писатели всегда возвращаются — если не лично, то на бумаге. Хочу верить, что возможно и то и другое. Надеюсь, что Вы меня правильно понимаете. Прошу Вас дать мне возможность и впредь жить в русской литературе и на русской земле. Не верю в свою вину перед родиной. Наоборот, верю, что во многих отношениях я прав… и если мой народ не нуждается в моей плоти, то, может быть, моя душа ему пригодится».

Иосиф Бродский может гордиться таким письмом к лидеру государства. Это, как в случае с Мандельштамом, тот же имперский выход один на один — «поэт и царь», и поединок явно в пользу поэта. Он ни перед кем не кается и отделяет советскость, в которой он не нуждается, и русскость, как следование национальным, культурным и литературным русским традициям, которая остается при нем, куда бы он ни уехал. Письмо нельзя назвать просоветским или антисоветским (в такой системе координат Бродский никогда и не работал), письмо — прорусское, и в нем поэт выглядит более русским, чем Леонид Ильич Брежнев, живущий в интернациональной, вненациональной системе координат. Это письмо можно спокойно поставить в ряд знаменитых писем русских писателей императорам и генсекам. Письмо не только о себе и своей русскости, но и во славу русской литературы.

Не кто иной, как Иосиф Бродский воспел в мировой печати, и не единожды, всю пушкинскую плеяду поэтов от Баратынского до

Вяземского, заявил о мировом уровне русской культуры XX века, назвал Марину Цветаеву лучшим поэтом всего столетия, а Андрея Платонова и Николая Заболоцкого классиками мировой литературы. Да, были у него и свои, не вполне объективные пристрастия: он постоянно возвеличивал своих ленинградских друзей, называя их всех равными себе по таланту, хотя эти старые дружки часто из зависти его же и предавали. Но у кого из нас нет этих групповых и дружеских пристрастий?

В целом тема «Иосиф Бродский как просветитель и пропагандист русской культуры в мире» несомненна. Многие из самых тонких ценителей культуры в англоязычном мире впервые услышали от Бродского имена Державина и Ломоносова, Хлебникова и Клюева. Не забывал он даже о таких советских поэтах, как Николай Тихонов и Владимир Луговской, помнил о своих учителях Борисе Слуцком и Анне Ахматовой. Для него как для человека культуры интересны даже самые незначительные поэты второго и третьего ряда. «Вообще-то говоря, среди русских поэтов… фигур второго ряда — были совершенно замечательные личности. Например, Дмитриев с его баснями. Какие стихи! Русская басня — совершенно потрясающая вещь. Крылов — гениальный поэт, обладавший звуком, который можно сравнить с державинским. А Катенин!.. Или — Вяземский: на мой взгляд, крупнейшее явление в пушкинской плеяде». И какие замечательные строки написаны им о вечном бескультурье нашей русской политической элиты: «За равнодушие к культуре общество прежде всего гражданскими свободами расплачивается. Сужение культурного кругозора — мать сужения кругозора политического. Ничто так не мостит дорогу тирании, как культурная самокастрация…»

Кстати, интересно, как почти в одно и то же время Иосиф Бродский и Станислав Куняев пишут стихи об отказе от поклонения перед учителями, перед тем же Борисом Слуцким. У Куняева — «Я предаю своих учителей» — жестко и решительно. У Бродского помягче — «Приходит время сожалений. / При полусвете фонарей, / при полумраке озарений / не узнавать учителей». Нынешняя культурная самокастрация наших либералов, в том числе литературных, приводит и к сужению понимания стихов того же Иосифа Бродского. Почти забыты уже два его прекрасных стихотворения, посвященных Глебу Горбовскому, которого он крайне высоко ценил: «Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви…»), и «Сонет к Глебу Горбовскому» («Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы…»). Сам-то Бродский при явном расхождении, и политическом, и творческом, с поздним Горбовским все-таки признавал в американских

интервью: «Конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно…» А в книге диалогов с Волковым еще определеннее: «Если в ту антологию (русской поэзии XX века. — *В. Б.),* о которой вы говорите, будет включена „Погорельщина“ Клюева или, скажем, стихи Горбовского — то „Бабьему яру“ там делать нечего…»

Но «ахматовские сироты» все одеяло славы Бродского предпочитают натянуть на себя, и бродсковеды этому активно подыгрывают. Нет, чтобы взять и провести интересную творческую параллель между стихотворением Николая Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» и стихотворением Бродского «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…». Опять же, время написания почти одно, да и поэты были хорошо знакомы. Взаимовлияние, творческое соперничество? В любом случае интересная страница в биографии обоих, которую записные поклонники того и другого предпочитают не замечать. Или их встречи с Татьяной Глушковой; как рассказывала Глушкова, они оказались во многом близки по отношению к искусству и русской классике. Неплохо бы и задуматься над Державиным, как общим предтечей Юрия Кузнецова и Иосифа Бродского. Оба ведь — птенцы не из пушкинского гнезда…

Не так узок был наш герой, не влезает он в нынешнее либеральное прокрустово ложе. Увы, русскость в Бродском оказалась не нужна ни русским патриотам — критики почвенного стана если и вспоминают его, то только чтобы лишний раз ругнуть, — ни либералам, перечеркивающим Россию как таковую и вычеркивающим любое проявление русскости из судьбы поэта.

Кстати, при всем своем чувстве одиночества и отделенности ото всех, он никогда не терял чувства поколения, неоднократно писал о своем поколении: поколении писателей, рожденных перед войной, следующем за шестидесятниками, которых он всегда чурался и презирал, от Аксенова до Евтушенко с Вознесенским, — по сути, о последнем состоявшемся поколении русской культуры XX века. Не забудем, что оно, это поколение, как правило, отказавшееся от фальши шестидесятничества, кто справа, кто слева, вбирает в себя и ленинградскую группу Иосифа Бродского, и его друзей, и почти всю «тихую лирику» от Николая Рубцова до Олега Чухонцева, и Татьяну Глушкову, и мистического Юрия Кузнецова. Неплохой набор поэтов выставило на щит литературы само время! Концовка XX века оказалась ничем не хуже его начала. Иосиф Бродский говорил об этом поколении: «Это последнее поколение, для которых культура представляла и представляет главную ценность из тех, какие вообще находятся в

распоряжении человека. Это люди, которым христианская цивилизация дороже всего на свете. Они приложили немало сил, чтобы эти ценности сохранить, пренебрегая ценностями того мира, который возникает у них на глазах». Утверждение вполне ортодоксальное и не раз подтверждаемое Бродским в стихах.

Я не хочу выискивать в многочисленных интервью русского поэта Иосифа Бродского аргументы в поддержку моей уверенности в его русском природном менталитете. В его многочисленных американских интервью можно найти аргументы в поддержку любой версии. Кто знает его творчество, тот найдет подтверждение в стихах, кто верит мне, поверит и моей концепции, а кто не хочет видеть в Иосифе Бродском русского поэта (такие есть и справа, и слева — и среди русских, и среди евреев), пусть ищут в нем что-то иное, создают облик чисто американского или чисто еврейского поэта. Мне важнее высказать саму версию. И если она правдива, то и восторжествует. Любой миф, в том числе и критический, держится на правде, и каждый Генрих Шлиман в конце концов находит свою Трою.

Да, Бродский сотни раз называл себя русским поэтом, он не стеснялся выступать не только от своего имени, но и от имени русской культуры, русской поэзии. Это больше всего и поражает, он — ярчайший индивидуалист, сделавший ставку на личность, вдруг перебарывает себя, отказываясь от своего «я» ради русского, народного «мы». Думаю, это тема для будущих исследований: «я» и «мы» в творчестве Иосифа Бродского.

К тому же кроме таких объективных исследователей, как Лев Лосев, или таких мемуаристов, как Евгений Рейн, большинство пишущих о Бродском или вообще не касаются его поэтической, творческой и эмоциональной русскости, или же начисто отрицают ее, старательно обходя высказывания и стихи самого же Бродского или находя в них примеры его раздражения на свою страну и полемики с ее властями.

Конечно, в самой русской культуре он принадлежал к ее западническому крылу и в споре славянофилов с западниками он, безусловно, защищал интересы западников. Но — русских западников, русских европейцев. Когда же ему приходилось встречаться с неприкрытой русофобией, неприятием России и русской культуры, он интуитивно, не размышляя, становился на сторону русских. Так было и с западником Герценом, который для Карла Маркса был замшелым русским мракобесом. Не знаю, шла ли воинственная защита русской культуры Бродским от офицерства его отца, которым он гордился, или же зачарованность русскостью пришла к нему в северной ссылке, которую он вспоминал с восторгом до последних дней своих. Или

же он пропитывался ею во время встреч и разговоров со своей возлюбленной — русской художницей Мариной Басмановой.

Все аргументы в его стихах, которые он никогда не прикрывал размытым образом лирического героя, а следовал девизу своего любимого поэта Константина Батюшкова: «Живи — как пишешь, пиши — как живешь», шли от него самого. И потому соглашусь с мнением Льва Лосева: «Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет».

Впрочем, его русский менталитет чаще всего проявляется спонтанно, неожиданно. К примеру, в грубом и хлестком, для него самого рискованном стихотворении «На независимость Украины» проскальзывает: «Не нам, кацапам, их обвинять в измене…» То есть поэт ощущает себя «кацапом», русским. А ведь написано уже в Америке, спустя годы после эмиграции, когда его довольно настойчиво подталкивали к признанию своего еврейства, которое «стало чуть более заметным для меня именно здесь, где общество построено с учетом строгого разграничения на евреев и неевреев». И при этом строгом разграничении он в вольных поэтических строчках вольно чувствовал себя именно «кацапом». И остро переживал отделение Украины от России. Уж тут его, как в случае со стихотворением «Народ», никто в «паровозности» написания не обвинил бы. В Прибалтике он был гостем, Украину всегда чувствовал, как и все мы, частью единого целого. Любил героическую историю обороны Севастополя. Да и Киев для него был «матерью городов русских». Потому так остро, болезненно реагировал Бродский даже в далеком Квинсе на «незалежность» Украины.

Естественность и искренность поведения были заложены в нем с детства, стали его позицией, и нынешним исследователям не приходится отделять его искренние стихи от стихов, написанных в угоду властям или кому бы то ни было. Разве что единственный, может быть, раз в жизни, во время суда над ним в Ленинграде, он выдавил из себя: «Строительство коммунизма — это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд…» Потом он сам же и высмеял свою попытку заигрывания с судом в иронических стихах, когда писал в «Речи о пролитом молоке» об «ученье строить Закону глазки, / Изображать немого…». Насколько я знаю, больше никогда никакому закону он глазки не строил, и с уверенностью можно цитировать его стихи и высказывания как истинные мнения самого поэта, какими бы политкорректными или, наоборот, неполиткорректными эти высказывания ни были. Вообще, он не выносил политкорректности по характеру своему, был всегда максималистом, в лицо говорил человеку всё, что думал.

Да и что он выигрывал, к примеру, от письма Брежневу, посланного перед отъездом из России в эмиграцию? Зачем писал, требовала ли этого его душа? Сегодня это письмо иные его поклонники хотят обратить чуть ли не в шутку, в пародию, написанную совместно пьяной компанией перед отлетом из России. Нет, господа, такие проникновенные слова в шутку не пишутся: «Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. (И не повлияла! — *В. Б.)* Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятва с трибуны…»

В этом письме продумано каждое слово. Это писательская концепция Бродского, подтвержденная всей жизнью и творчеством. К сожалению, по-моему, только я один и опубликовал полностью это письмо дважды в своих книгах «Последние поэты Империи» и «Живи опасно».

Никто, по-моему осознанно, не замечает той жесткой полемики, которую вел Бродский с недругами русской культуры на страницах западной печати. Наши либералы до сих пор строго цензурируют его, хотя никаких запретов на публикацию и цитирование (кроме личного архива) сам поэт не оставлял.

В России при всем множестве изданий Бродского умудрились лишь один раз напечатать в дополнительном, седьмом томе собрания сочинений его ответ на антирусские высказывания чешского писателя Милана Кундеры «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» (1985), умудрились пройти мимо «Письма президенту Вацлаву Гавелу» (1993), написанного опять же в споре с речью «Посткоммунистический кошмар», где чешский президент тоже позволил себе не только антикоммунистические, но и антирусские сентенции. Лишь недавно была впервые напечатана в малотиражном журнале дискуссия в Лиссабоне о России и Центральной Европе, состоявшаяся 16–17 мая 1988 года, на которой, откровенно говоря, эмигрант Бродский защищал интересы России и русской культуры куда отважнее, чем приехавшие из России Анатолий Ким, Лев Аннинский, Татьяна Толстая и другие, скорее оправдывающиеся перед именитыми западными писателями. Русских участников можно как-то понять — они впервые в жизни приехали на подобную конференцию и послушно каялись за все существующие и несуществующие грехи своей страны.

Об этой дискуссии я слышал сразу же после ее завершения от

своего друга Анатолия Кима, который признавался, что так яростно спорить с ополчившимися уже не на СССР, а на саму изначальную Россию и русскую культуру позволил себе лишь Иосиф Бродский. Кстати, это важная тема для исследования: как защищали достоинство России за рубежом наши записные антикоммунисты Владимир Максимов, Михаил Шемякин, Андрей Синявский, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и как поливали грязью саму Россию другие диссиденты, от Давида Маркиша до Виктора Топалера. Как признавалась в Израиле известный филолог Майя Каганская: «В СССР я думала, что ненавижу все советское; приехав сюда, я поняла, что ненавижу все русское…»

Эти статьи и выступления в защиту России и русской культуры Бродскому никто не заказывал — просто накипело. На Западе он боролся за Россию не менее страстно, чем Александр Солженицын. И спор их друг с другом типичен для русской литературы. Но об этом споре как-нибудь в другой раз. Я согласен с тем же Львом Лосевым, который в книге о Бродском в серии «ЖЗЛ» пишет: «„Западник“ Бродский не менее, чем „славянофил“ Солженицын, был всегда готов грудью стать на защиту России, русских как народа от предвзятых или легкомысленных обвинений в природной агрессивности, рабской психологии, национальном садомазохизме и т. д.». К примеру, он с присущей ему саркастической иронией высказался в адрес ельцинских властей после печально известного расстрела Верховного Совета 4 октября 1993 года:

> Мы дожили. Мы наблюдаем шашни
> броневика и телебашни.

Обратимся к его полемике с чешским писателем Миланом Кундерой, ныне щедро рекламируемым в российской прессе и издаваемым в наших престижных издательствах. Этим бы издательствам печатать вместо предисловия статью Кундеры «Предисловие к вариации» из книжного приложения к «Нью-Йорк таймс» от 6 января 1985 года вкупе с ответом Иосифа Бродского, напечатанном через месяц, 17 февраля, в том же издании под названием «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» (тем более что статья Кундеры ни разу не была опубликована в нашей прессе). А на обложку всех книг Милана Кундеры, выходящих на русском языке, я бы предложил поместить изречение Иосифа Бродского из его известной беседы с Адамом Михником в январе 1995 года, тоже стыдливо замалчиваемое в нашей прессе: «Кундера — это быдло. Глупое

чешское быдло»[2].

Впрочем, еще за год до своей антидостоевской статьи, в апреле 1984 года, Кундера опубликовал там же, в центральном органе всех мировых либералов, свой нашумевший манифест «Трагедия Центральной Европы». Кундера, как всякий бывший коммунист, как всякий ренегат, споривший с Вацлавом Гавелом осенью 1968-го, призывая к компромиссу с Советской армией, к отказу от сопротивления, к «умеренности и реализму», впоследствии, отказавшись от своих былых взглядов, стал люто поносить бывших единомышленников. Ему уже мало было критики Советского Союза — он решил бороться со всей тысячелетней Россией и ее великой литературой, даже со своим собственным славянством. Он негодует: «Чехам (вопреки предостережениям своей элиты) нравилось по-детски размахивать „славянской идеологией“, считая ее защитой от германской агрессии. Русские тоже с удовольствием использовали ее для оправдания своих имперских планов. „Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским“ — так в 1844 году… Карел Гавличек предупреждал соотечественников об опасности невежественного восхищения Россией… Джозефа Конрада, поляка по происхождению, раздражал ярлык „славянская душа“, который навешивали на него и его книги… Как я его понимаю! Я тоже не знаю ничего более нелепого, чем этот культ туманных глубин, трескучие и пустые рассуждения о „славянской душе“, которую мне периодически приписывают».

Поражает самопредательство славянских писателей, отказ не только от связи с русской культурой, но и от истории своих народов. Решили в немцев или американцев переименоваться, будто те их только и ждут! Куда на самом деле деться тому же Джозефу Конраду не только от славянской души, но и от русскости, ежели он, рожденный на Украине, рос и познавал мир все в той же Вологде, недалеко от Череповца, и до конца дней своих говорил по-английски с чисто славянским акцентом? Не уйти было от славянского мира ни Милану Кундере, ни Даниле Кишу, ни Адаму Загаевскому… Вот из таких ренегатов и вырастают самые злобные русофобы.

Придуманная ими искусственная концепция Центральной Европы не укладывалась в традиционную западную схему противостояния Запада и Востока, ибо по этой схеме, привычной для Европы со Средних веков, к Востоку относились и все славянские страны, включая Польшу с Чехией. Противоречила она и всей истории Европы. Это была чисто антикоммунистическая поначалу, но быстро ставшая антирусской

государственная концепция бывших социалистических стран. Как голос воинственной русофобии и поныне звучит статья Милана Кундеры, утверждающего, что Россия всегда была чужда европейскому духу цивилизации. Даже Австро-Венгерская империя Франца Иосифа им восхваляется как заслон от ненавистной России. Он готов быть под австрияками, под немцами, под американцами, под мусульманами, но лишь бы — против России. Вот уж верно, чешское быдло, готовое унижаться и перед немцами, и перед французами, готовое презирать свое славянство и люто ненавидеть его. Он восхваляет письмо Франтишека Палацкого 1848 года немцам, где историк оправдывает существование оккупировавшей Чехию империи Габсбургов тем, что она была единственным заслоном от России, от «державы, которая, уже достигнув в наши дни чудовищной силы, продолжает наращивать ее, становясь неодолимой для любого европейского государства». По сути все либеральные интеллигенты и политики стран Восточной Европы — изощренные коллаборационисты, готовые отдать свои страны и народы — поляков, чехов, болгар, а теперь и украинцев — в любое рабство. Лишь бы не союз с Россией, единственной страной, которая никого в рабство забирать не собирается.

Изречения Кундеры и ему подобных хорошо бы вывесить на стенку нашим либералам, мечтающим стать европейцами. Десяток-другой Печериных Европа еще выдержит, но остальным уж точно даст под зад коленом. Я еще у Ле Пена в свое время, гостя на его даче, спрашивал: «Почему вы так насторожены к русским? Чем арабов и негров пускать сотнями тысяч в Париж, лучше бы русских пустили к себе на черные работы. Или мы для вас не белые?» Ле Пен отвечал: «Вы все-таки другие, другая цивилизация». Но он хотя бы не был русофобом. А вот Милан Кундера пугается даже русской литературы, Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Услышьте же, наконец, господа либералы! Услышьте, Игорь Золотусский и Игорь Волгин, о кундеровском «ужасе перед миром, который встает со страниц его (гоголевской. — *В. Б.)* прозы. Стоит оказаться внутри его, как мы сразу понимаем, насколько он нам чужд». Кундера обвиняет и Западную Европу за ее соглашательство перед Россией, за сдачу восточноевропейских стран в русский «плен».

И вот сейчас все эти страны вошли в НАТО, в общую Европу, подавляя своими голосами европейские интересы в угоду главному хозяину — Америке. За что уважать эти сервильные лакейские образования, лишенные всякой истинной независимости? Вспоминаю откровенный разговор с одним из крупнейших политиков Германии: «С вами, русскими, мы еще

договоримся, у вас есть своя цель, свой смысл существования, но уж с поляками дозвольте нам справиться самим. Это не народ, так — напыщенное лакейство». И так думают почти все западноевропейские политики, до поры политкорректно пряча свои мысли.

Иосиф Бродский с его русским менталитетом своих мыслей не прятал и, при всем уважении к полякам и чехам, слыша их уничижительный разговор о русской литературе, перечеркивал даже былые дружбы.

Милан Кундера в своем письме «Предисловие к вариации» (полный перевод которого, сделанный Регионой и Григорием Бондаренко, я опубликовал в одном из номеров «Дня литературы») пишет: «Когда в 1968 году русские оккупировали мою маленькую страну, все мои книги были запрещены и я внезапно потерял все законные возможности получения средств к существованию. Кое-кто пытался помочь мне, — так в один прекрасный день режиссер предложил мне написать текст инсценировки романа Достоевского „Идиот“. Перечитав роман, я осознал, что не возьмусь за эту работу, даже если буду умирать от голода. Созданный Достоевским мир отталкивал меня напыщенными жестами, грязной изнанкой и агрессивной сентиментальностью… Меня раздражала атмосфера романов Достоевского: мира, где любая мелочь оборачивается переживанием, или, другими словами, где чувства возводятся в ранг ценностей и истин…»

Но таким же, как Федор Достоевский, был поэт Иосиф Бродский. Очевидно, между русскими евреями, укоренившимися в России, и европейскими евреями, принявшими западный индивидуализм и рационализм, разница почти такая же, как между самими русскими и, к примеру, поляками или чехами. Иосиф Бродский воспринимал фильм Вуди Аллена как пережитое лично им самим. Он любил говорить: «У русского человека, хотя и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь». Будь это женщина Марина Басманова или поэзия Баратынского. Западных рационалистов поэзия Бродского должна раздражать так же, как, к примеру, проза Достоевского. Впрочем, и самые резкие нападки на него после вручения Нобелевской премии слышались из европейских стран, прежде всего из Англии.

Когда-то в 1968 году Кундеру на улице Праги остановил для проверки документов советский офицер и между делом, без всякой злобы, сказал, что вообще-то русские любят чехов, а это недоразумение рассеется само собой… Кундеру поразил даже не сам факт обыска, а сентиментальность и чуть ли не

романтическое признание в любви обыскивающего его офицера. Ему бы лучше подошел какой-нибудь эсэсовец, без разговоров бьющий в морду. Он бы и подчинился, и слушался бы его дальше. А вот русская «братская» оккупация чеху чужда, и виноваты в этой оккупации — по Кундере — не советские танки и не коммунистический режим, а Достоевский и Гоголь, вечная сентиментальная имперскость.

Казалось бы, не Иосифу Бродскому, осудившему советскую оккупацию Чехии в своем стихотворении «Письмо генералу Z», а позже, после ввода войск в Афганистан, написавшему резкие «Стихи о зимней кампании 1980 года», набрасываться на Милана Кундеру (и на других таких же) с их манифестами и заявлениями. Но очень уж быстро эти Кундеры и Гавелы перешли от осуждения советских танков к осуждению русскости как таковой. Либералы могут не сомневаться: какая-нибудь Наталья Иванова или Сергей Чупринин для писателей, подобных Кундере, все равно не люди, а дикари и варвары. Ведь «человек, преисполненный лирического жара, способен предаться зверствам во имя святой любви». Одно дело — продуманные, рассчитанные зверства тех же американцев в Югославии, Афганистане, Ираке, к ним готовы присоединиться и чехи, и поляки… А вот истинно русское «возведение чувств в разряд ценностей», пришедшее в православие, кстати, от древних иудеев, непонятно и враждебно рациональному Кундере. Христианский императив «возлюби Бога и живи с этой любовью» ему и его соотечественникам куда страшнее атеистического рационалистического императива «возлюби Закон». За Достоевским чувствуются православная сентиментальность и умственная иррациональность, отвергаемые всем телом, всем сознанием восточноевропейского обывателя. Иное дело ясный немецкий приказ: всем евреям нашить желтые звезды, — или же американская «политика большой дубинки»: кто сильнее, тот и прав. Чешский или польский обыватель готов становиться в очередь хоть в крематорий, хоть под американские бомбы, но мистическая неопределенность России чужда его душе.

«Столкнувшись с бесконечностью русской ночи, — пишет Кундера, — я ощутил в Праге насильственный конец западной культуры, появившейся на заре нового времени… конец Запада, каким он представлялся мне на заре модернизма. В маленькой западной стране я видел закат западного мира. Это было великое прощание». За напыщенностью последних фраз сквозит горечь от потери тем самым любимым Западом собственной веры и убеждений, своей религии и своей культуры. Но если так, зачем же Чехии стремиться в этот обреченный, обезличенный и обескультуренный мир? Зачем же так ненавидеть Достоевского,

чтобы подобно героям кундеровской «Невыносимой легкости бытия» уйти от всех и устремиться в пропасть?

Иосифа Бродского трудно было смутить антисоветской риторикой письма, он писал и похлеще Кундеры, но объявить убийцей западного мира его любимого Достоевского он не позволил бы никому. Представляю, какой заряд хлесткой ненависти обрушил бы поэт, будь он жив, на Анатолия Чубайса за его признание в ненависти к Достоевскому. Впрочем, этим Чубайс себя и выдал. Не обладая, подобно Бродскому, русским менталитетом, он готов подчиниться любым указаниям из-за океана, даже во вред себе, лишь бы уничтожить раз и навсегда ненавидимую им русскую достоевщину. И кто же тогда будет населять создаваемую им «либеральную империю»? Варяги и хазары, герои дурашливого произведения Дмитрия Быкова «ЖД»?

В своем изгнанничестве русский европеец Бродский оказался более эмоционален, более умственно иррационален, чем иные чисто русские интеллигенты, предпочитающие Достоевскому уютно-обывательского, с маленьким мирком рассчитанных страстей и дозволенных эмоций Милана Кундеру. Бродский оказывается даже непоследователен: всегда отказывающийся и в поэзии, и в эссе от русского коллективного «мы», всегда этике предпочитающий эстетику, вдруг, задетый выпадами русофобов, он сам неоднократно повторяет это русское «мы». В своей политической поэзии он не боится быть неполиткорректным и по отношению к России, прежде всего к ее властям. Он даже готов смотреть на Москву сквозь прицел бомбардировщика. Но это, по-пушкински, эмоции «для своих». Когда же чужие тянут свои грязные руки к России и великой русской литературе, от его антисоветских эмоций не остается и следа. Он первым кидается в бой даже со своими друзьями.

И не в том дело, что не Достоевский и его поклонники вводили в Прагу советские танки в 1968 году, скорее наоборот — те, кто вводил, ни Достоевского, ни Гоголя не читали. Они подчинялись именно что рациональному марксистско-коммунистическому западному доктринерству. Бродский замечает, что большинство преступлений, совершаемых той или иной идеологической системой в России и за ее пределами, — «совершались и совершаются во имя не столько любви, сколько необходимости — исторической, в частности. Концепция исторической необходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла со стороны западной». Все эти идеи о социальных государствах, идеальных обществах — «ни одна из них не расцвела на берегах Волги». В конце концов, «и „Капитал“ Маркса, — замечает Бродский, — был переведен на русский с

немецкого».

Подобно Александру Солженицыну, отметает он и версию о желательности и притягательности этой западной марксистской теории именно для России. «Необходимо, тем не менее, отметить, что нигде не встречал этот призрак (призрак коммунизма. — *В. Б.)* сопротивления сильнее, начиная с „Бесов“ Достоевского и продолжая кровавой бойней Гражданской войны и Великого террора, сопротивление это не закончилось и по сей день. Во всяком случае, у этого призрака, — ехидно добавляет Бродский, — было куда меньше хлопот в 1945 году, когда он внедрялся на родине Милана Кундеры, как, впрочем, и в 1968-м». В другом месте, в беседе с Адамом Михником, Бродский повторяет: «То, что произошло с Россией, не является ее виной. Ведь Маркс родился не на Волге». Михник считает: суть полемики Бродского с Кундерой в том, что Россия — это часть Европы, фрагмент Европы, и потому всё, что там происходит, — это общеевропейское дело. Бродский уточняет, что Россия — «это часть христианской культуры. А знаешь, что сказал Чеслав Милош об этой полемике? Посмеялся и сказал: чехи — новички в этих вопросах».

Короче говоря, Бродский в ответе Кундере резко отделяет русский народ и русскую литературу от любых политических доктрин, время от времени побеждающих в том или ином регионе. Как второгоднику, забывшему ответы на все вопросы, Бродский объясняет нашкодившему Кундере, что он лишь пал жертвой геополитической детерминированности — концепции деления мира на Запад и Восток, придуманной всё на том же рациональном Западе, никак не желающем впускать в Европу чересчур громоздкую Россию, но заодно и относящем к тому же Востоку всех этих «полячишек, чешишек и прочих румынов». Нынешнее ужесточение правил ассимиляции и миграции жителей даже в пределах единого Евросоюза демонстрирует борьбу старой Европы с комплексом «польского сантехника» и «румынского водопроводчика». Не столько с русскими будут бороться в ближайшее время старые европейские страны, сколько с нашествием этих дремучих пражско-варшавских варваров.

Бродский презрительно указал и на место Милана Кундеры в сравнении с Достоевским: «Если у литературы и есть общественная функция, то она… в том, чтобы показать человеку его духовный максимум. По этой шкале метафизический человек романов Достоевского (так же как герой стихов Бродского или Юрия Кузнецова. — *В. Б.)* представляет собой большую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и сколь бы распространен он ни был». Но предавая Россию и

Достоевского, Милан Кундера, сам, может быть, не догадываясь об этом, предает свою Чехию в угоду Западу и воспевает лишенное и религии, и культуры, и любой другой фундаментальной основы безликое и безнациональное общество взаимных предателей. Читая Кундеру, понимаешь, как легко может сдаться Европа исламским фундаменталистам. Как его любимая героиня Сабина из «Невыносимой легкости бытия», он пестует конформизм как образ жизни.

Читая Бродского, понимаешь, что у русской иррациональности есть еще какие-то шансы на спасение. Как и все русские поэты, он жил и умер идеалистом, хотя сам же и посмеивался над своим идеализмом. Еврей Бродский в быту, в веселой еврейской компании, чему и я бывал свидетелем, чисто по-еврейски подсмеивался над русским поэтом Бродским. Как русский поэт он «привык смотреть на свое существование как на опыт, который ставится на нем Провидением. Это означает, что основная задача русской культуры… оправдать свое существование. Желательно на метафизическом, иррациональном уровне. Это означает, что во всем, что с тобой происходит, ты усматриваешь длань Господню». Тебя сажают в тюрьму, посылают в ссылку, бросает любимая — все это, по Бродскому, инструмент Провидения. Точно такой же инструмент Провидения — его стихи: «Когда я писал стихи, я хотел одного — изменить уровень сознания и мышления своих читателей… Думаю, что хоть немного мне это удалось». Чисто литературоцентричная идеалистическая модель русского мира. Не будем забывать: когда сегодня в московском метро мы слышим стихи русских поэтов — это осуществление идеи Иосифа Бродского и никого другого. Сначала он заставил в американских метрополитенах во всех вагонах наклеивать короткие стихи ведущих национальных поэтов. Как водится, наши начальники метро заимствовали у американцев этот опыт, может, даже не догадываясь, что идея-то чисто русская. Он называл свои стихи — стишками, высмеивал поиски смысла поэзии, свою провиденциальность и «нахальную декларацию идеализма», но тут же добавлял, что в каждой шутке большая доля правды.

Как всегда, для того чтобы понять сущность Иосифа Бродского, надо не лезть в его американские посленобелевские интервью, когда он вынужден был, как в разговоре с судьей Соловьевой, политкорректно облекать свои мысли в какие-то общечеловеческие сентенции. Скажу честно, я такого Бродского не люблю. Да и не Бродский это вовсе, так же как не Бродский призывал признать в строительстве коммунизма его интеллектуальный труд. Из его откровенных бесед ценю беседы с

Волковым, с Михником, с Рейном — с ними он высказывался так же свободно, как в своих стихах. Вот так однажды он и выразил свою суть другу Адаму Михнику в той же беседе, где определил место и положение Кундеры: «Сразу скажу, с кем ты имеешь дело. Чтобы у тебя не было иллюзий. Я состою из трех частей: античности, литературы абсурда и лесного мужика. Пойми, я не являюсь интеллигентом». Римская античность, а затем и китайская древность — не забудем его изумительный цикл стихов «Письма династии Минь», где поэт волшебным образом переплел собственную судьбу с мотивами древней китайской поэзии. Литература абсурда — из его старой и любимой скандинавско-английской Европы. Третья — земная часть русского лесного мужика (ибо еврейских лесных мужиков нет ни на Руси, ни в Израиле). Иногда он перемешивает эти части, порой резко переходит от античности к мужицкому говору и наоборот:

Ночь. Камера. Волчок
Хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной…

Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
Вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Аполлон!

Лесной мужик Бродский «хуярит» напролом, сталкиваясь в одном пространстве тюремного коридора и стиха с античным Фебом-Аполлоном, и их общность вполне органична. Не эпатажна, не вызывающа, но вот интеллигентности здесь уж верно делать нечего. Он ценит русскую дворянскую и народную культуру, ценит людей принципов и чести, к примеру, Виссариона Белинского, ценит независимых русских писателей всех мастей, от Лескова до Баратынского, но всю образованческую групповщину глубоко презирает. Либеральную ли, прогрессивную, академическую, филологическую. И он, глубоко понимающий все уровни русской культуры, чувствующий себя своим и в глухой архангельской деревне, и среди утонченных эстетов, имеет право говорить от имени русских: «Мы совершенно не могли состыковаться с цивилизованным миром. Речь идет о разнице в том, что у тебя стоит на полке и что происходит за окном. У русских необычно сильное ощущение того, что одно с другим не имеет ничего общего… В России это впечатление гораздо сильнее, поскольку ты понимаешь, что ничего изменить

не сможешь и само ничто не изменится»…

Подводя итог отношению Бродского к нападкам на Россию и русскую литературу, вспомню еще раз Вторую конференцию по литературе в Лиссабоне, проходившую в 1988 году под покровительством доктора Мариу Соареша, президента Португалии. За год до падения Берлинской стены на конференции предполагалось взорвать стену между русской литературой и другими литературами Европы. Но странным образом — заставив каяться во всех грехах абсолютно всех русских писателей. Даже Татьяну Толстую там представили как имперскую захватчицу, вводившую советские танки в Будапешт и Прагу. Советский Союз уже таял на глазах, и потому основной огонь сосредоточили на России и русской культуре, на русском неисправимом менталитете.

Поначалу русские писатели, как дети, решившие, что пришли на рождественскую елку, раскланивались направо и налево, объединяясь и с писателями-эмигрантами, и с «братьями» из стран Восточной Европы. При этом они горделиво говорили и об уникальном опыте XX века, из которого, по их мнению, русская литература вышла вполне достойно. И вдруг от венгра Дьердя Конрада, от поляков Адама Загаевского и Яна Щепаньского, от югослава Данилы Киша они услышали не поддержку в свой адрес, а высказанные менторским тоном обвинения в излишней имперскости. Присутствующий там же, я уж не знаю, от имени какой Европы, индиец Салман Рушди вообще обвинил Татьяну Толстую и других в «колониальном» тоне разговора, в имперской и безнравственной позиции.

Представляю, каково было удивление членов российской делегации, отобранных из самых демократически настроенных писателей перестроечного времени! Из их уст сразу зазвучали и покаяния, и извинения, и отказ от любой имперскости. И лишь Иосиф Бродский, скептически посмотрев на весь этот шитый белыми нитками балаган наших бывших союзников перед окончательным разрывом с Россией, резко заявил: «Никакая это не имперская политика. Я бы сказал, что это единственно возможный реалистический взгляд на данную проблему, который для нас, русских, возможен… Концепция Центральной Европы ничего не дает. Мы — писатели, и нас нельзя определять нашей политической системой… Определяет нас язык, на котором мы пишем, то есть мы — русские писатели…» Бродский утверждал, что Россию и русскую литературу нельзя отделять от Европы. А понятие Центральной Европы — вообще нелепое и ненужное с точки зрения литературы: «Есть польская литература, чешская литература, словацкая литература… невозможно говорить об этой

концепции даже с точки зрения литературы».

В ответ писатель из Сербии Данило Киш признал, что концепция Центральной Европы возникла даже не как антисоветское, а как антирусское понятие: «Антирусская по своей идее, потому что мы оказались между двух культурных влияний и пытаемся найти собственное место». Потом он признался, что своего места в культуре у них так и не нашлось: или русское влияние, или американское… Жаль, что Киша, веселого гуляки и хорошего писателя, уже нет в живых, иначе бы я ему напомнил наши долгие разговоры в Загребе на одном из конгрессов Пен-клуба, когда мы с ним на хорошем русском и с хорошим запасом русской водки, обычно в его номере, выясняли место и роль русской литературы. У меня и сейчас лежит на полке надписанная им книга с признанием в любви к России. И так ли мы, русские, мешали сербской литературе? Не думаю, что натовские бомбы помогли сербам определить собственное место в мировой культуре.

Но спрашиваю всех оппонентов русскости Иосифа Бродского и справа, и слева: зачем ему, американскому лауреату, еврею, было влезать в это запланированное и продуманное избиение русских писателей, становиться на их защиту? Ведь отошли же сразу в сторонку и Сергей Довлатов, и Зиновий Зиник. Выходит, сидела в нем всю жизнь русская заноза — и метафизическая, и реальная «М. Б.» — и требовала дать бой зарвавшимся «жертвам русской имперскости». «Мы — русские писатели…», «определяет нас язык…». Что заставило этого лютого индивидуалиста перейти на столь соборную позицию? Какая провиденциальность? Какое предназначение? Или в эти минуты его брала за руку та русская женщина из Череповца, которая отнесла его креститься в православную церковь? Или вставали за ним русские северные богатыри из архангельских лесов? Или тот самый Бог, который в деревне живет не только по углам?

Думаю, на Страшном суде эта защита русской литературы всегда и везде будет ему зачтена…

БУНТ ЗА ЛУЧШУЮ ИМПЕРИЮ

Я бы выделил из всех стихов Бродского помимо блестящего цикла о любви также стихи на имперские мотивы, будь то античные римские, американские «Колыбельная Трескового мыса» или «Новый Жюль Верн», русские «На смерть Жукова» или даже «Одному тирану», «Народ» и «На независимость Украины». Характерно, что написаны были эти стихи в самые разные годы от 1964-го до 1989-го, то есть имперскость в творчестве поэта никогда не пропадала.

Иосиф Бродский вполне искренне писал, что «у поэта с тираном много общего. Начнем с того, что оба желают быть властителями: один — тел, другой — дум. Поэт и тиран друг с другом связаны. Их объединяет, в частности, идея культурного центра, в котором оба они представительствуют. Эта идея восходит к Древнему Риму…». Не случайно он так ценит великих императоров и тиранов, что римских, что русских. Петр Великий — пожалуй, самый любимый и часто вспоминаемый император в его стихах и статьях, но не обходит он вниманием и Ивана Грозного. «Помните переписку Ивана Грозного с Курбским? Так вот, Иван куда интереснее Курбского, со своей апологией деспотии, особенно когда он говорит „Россия есмь Израиль“». Кстати, и о Сталине он высказывался отнюдь не одномерно, без восторга, но и без примитивной либеральной отрицаловки. В диалогах с Волковым он рассуждает: «То есть о нем совершенно спокойно можно думать как об отце, да? Скажем, если твой отец никуда не годится, то вот уж этот-то будет хорошим папой, да?.. На мой вкус, самое лучшее, что про Сталина написано, это мандельштамовская „Ода“ 1937 года… Это, может быть, самые грандиозные стихи, которые когда-либо написал Мандельштам. Более того, это стихотворение, быть может, одно из самых значительных событий во всей русской литературе XX века… Ведь он взял вечную для русской литературы замечательную тему — „поэт и царь“. И, в конце концов, в этом стихотворении тема эта в известной степени решена. Поскольку там указывается на близость царя и поэта…» С имперских позиций он объясняет и сталинское возмущение Ахматовой после ее встреч с иностранцами: «Так это и должно быть. Ведь что такое была Россия в 1945 году? Классическая империя. Да и вообще ситуация „поэт и царь“ — это имперская ситуация».

Сравнивая Сталина с Троцким, он делал выбор в пользу Сталина, говоря, вопреки многим, что России еще повезло: при Троцком было бы гораздо хуже… Он ценил иерархию как в

поэзии, так и в империи. Не случайно Бродский так возвышал великих полководцев — что римских, что русских, Суворова и Жукова. Кстати, его стихи о Жукове напрочь не воспринимали власовцы из второй эмиграции. Как говорит сам Бродский в беседе с Волковым: «Между прочим, в данном случае определение „государственное“ мне даже нравится. Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете „Правда“. Я в связи с ним, кстати, немало дерьма съел… Для давешних эмигрантов, для Ди-Пи — Жуков ассоциируется с самыми неприятными вещами. Они от него убежали. Поэтому к Жукову у них симпатий нет. Потом прибалты, которые от Жукова натерпелись… А ведь многие из нас обязаны Жукову жизнью. Жуков был последним из русских могикан».

Воин, пред коим многие пали
Стены, хоть меч был вражьих тупей,
Блеском маневра о Ганнибале
Напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
Как Велизарий или Помпей.
<…>
Маршал! Поглотит алчная Лета
Эти слова и твои прахоря.
Все же прими их — жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря…

Имперскость его проявлялась и в увлечении историей российского флота. Правда, тут еще вмешивалась и семейная традиция, отец его был офицером флота. С детства он обожал морскую форму, все морские знаки отличия. «Не из-за эффектных его побед, коих было не так уж много, но ввиду благородства духа, оживлявшего сие мероприятие. Вы скажете — причуда, а то и вычура; однако порождение ума единственного мечтателя среди русских императоров, Петра Великого, воистину представляется мне гибридом вышеупомянутой литературы с архитектурой… Проникнутый духом открытий, а не завоеваний, склонный к героическому жесту и самопожертвованию, чем к выживанию любой ценой, этот флот действительно был мечтой о безупречном, почти отвлеченном порядке, державшемся на водах мировых морей, поскольку не мог быть достигнут нигде на российской почве». Если не видеть подпись автора — Иосиф Бродский, можно подумать, что такой текст написал Карем Раш. «По сей день полагаю, что страна только выиграла бы, имей она символом нации не двуглавую подлую имперскую птицу или

полумасонский серп и молот, а флаг русского флота — наш славный, поистине прекрасный Андреевский флаг: косой синий крест на девственно белом фоне».

Имперскость Иосифа Бродского — тема глубокая и обширная, ожидающая новых исследований. Самая что ни на есть великодержавная имперскость в том же стихотворении об Украине не менее вызывающа, чем стихи Пушкина о Польше. Не случайно его опубликовали только в «Дне литературы» и в «Лимонке»…

Эту тему также замалчивают все западные бродсковеды, не говоря уже о наших либералах. В стихах на имперские темы поэт, как и в молодости, напорист и энергичен, с ним интересно даже не соглашаться и спорить, как, например, с «Пятой годовщиной» или со «Стихами о зимней кампании 1980 года». Империя — любимая тема Бродского. Очень верно пишет его друг Чеслав Милош: «„Империя“ — это одна из словесных дерзостей Бродского. Римские завоевания не именовались „освободительными“ или „антиколониальными“. Они были не чем иным, как торжеством силы… То, что их страна является империей, может быть для русских источником гордости, а для американцев, с их странной склонностью к самобичеванию, источником стыда, но это неоспоримая реальность. „Империя“ для Бродского означает также сами размеры континента, монументальность как таковую, к чему он питает слабость».

Кстати, на мой взгляд, из всех западных друзей Бродского лишь славянин Чеслав Милош наиболее глубоко и точно понимал его поэзию, его характер, его пронизанную духом славянства душу. Он доступно объяснил западному читателю смысл творчества Бродского: «Меня особенно увлекает чтение его стихов как лишь части более обширного, затеянного им дела — ни больше ни меньше, как попытки укрепить человека в противостоянии страшному миру. Вопреки господствующим ныне представлениям он верит в то, что поэт, прежде чем обратиться к последним вопросам, должен усвоить некий код поведения. Он должен быть богобоязненным, любить свою страну и родной язык, полагаться на собственную совесть, избегать союза со злом и не отрываться от традиции». Прекрасное кредо!

Как Иосиф Бродский соединяет свою тягу к империи с тягой к свободе — это уже исключительная прерогатива поэта. Скажем, таким образом: «Если выпало в империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря». Империя хороша «…окраинами. А окраина замечательна тем, что она, может быть, конец империи, но — начало мира. Остального мира… В случае с Россией может что-то сходное произойти, исключать этого не следует…».

То есть на окраине разрушенной ныне Российской империи могут родиться новые гении… Дай-то бог. По сути, на довольно глухой по послевоенному времени питерской окраине у моря родился и сам Бродский:

> Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
> Серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
> И отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
> Вьющийся между ними, как мокрый волос…

Кстати, не забудем, что на окраине у южного моря, в Краснодарском крае родился Юрий Кузнецов. В Архангельской области, недалеко от Белого моря родились Николай Рубцов и Владимир Личутин. И даже Александр Проханов с южной грузинской окраины империи, земляк Владимира Маяковского. Вот вам и «поэты имперских окраин». На имперскую тему в творчестве поэта хочется поразмышлять отдельно. Оставим сейчас зарубку. Для Бродского даже любовь — «имперское чувство». Особенно такая, какая поглотила его целиком.

БУНТ ЗА БОГА

Хочется отметить крайне плодотворную для поэта тему — тему христианства в нем и христианской культуры, которую он сам в многочисленных американских интервью, особенно после вручения Нобелевской премии, неоднократно пытался отрицать или как-то снивелировать… Да, увы, есть у него и иронические антихристианские выпады, Бог ему судья. Увы, подобных выпадов не миновали ни Сергей Есенин, ни Владимир Маяковский, ни Александр Блок. Не примем эти выпады и осудим. Пойдем дальше.

А дальше увидим, что поэт, чуть ли не отнекивающийся в поздних американских интервью от христианства, вероятно, по политическим и национальным мотивам, в творчестве своем создал несколько поэтических шедевров христианской, а то и прямо православной направленности, от «Большой элегии Джону Донну» до цикла рождественских стихов и знаменитого «Сретенья», посвященного Анне Ахматовой. Да сочини он только «Сретенье», это стихотворение обессмертило бы его как христианского, православного поэта. Не случайно именно его читали на отпевании самого Бродского в православном храме.

Он шел умирать. И не в уличный гул
Он, дверь отворивши руками, шагнул,
Но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
Пушистого темени смертной тропою
Душа Симеона несла пред собою
Как некий светильник, в ту черную тьму,
В которой дотоле еще никому
Дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась…

А сколько христианских понятий, определений, образов живет в его стихах! Тысячи, не меньше. Берусь утверждать, что христианские образы пронизывают всю его поэзию. «Я христианин, потому что я не варвар. Некоторые вещи в христианстве мне нравятся. Да, в сущности, многое…»

Думаю, о христианстве самого Иосифа Бродского нам еще предстоит многое выяснить; есть немало фотографий, где он

изображен с христианским крестом на шее. Его ироничные и дипломатичные уходы от ответов на тему собственного крещения вполне объяснимы, но отрицательного ответа никогда не было. Да и жена, верная католичка, хоронила его с крестиком в руках. В любом случае он человек христианской культуры и никакой иной. И газетные ироничные, экуменистические поддакивания — всего лишь дань всесильной мировой закулисе: что поделаешь, не хотел он жертвовать своим относительно спокойным и благополучным житьем отшельника.

«Художественное произведение мешает вам удержаться в доктрине, в той или иной религиозной системе, потому что творчество обладает колоссальной центробежной энергией и выносит вас за пределы, скажем, того или иного религиозного радиуса. Простой пример: „Божественная комедия“, которая куда интереснее, чем то же самое у отцов церкви. То есть Данте сознательно удерживает себя в узде доктрины, но в принципе, когда вы пишете стихотворение, вы очень часто чувствуете, что можете выйти за пределы религиозной доктрины». Бродскому тоже случалось выходить в стихах за пределы, но и узы христианской доктрины он с себя не снимал. «Кроме страха перед дьяволом и Богом, / существует что-то выше человека…»

Вот еще интересная тема для поэтического сравнения: узы христианской доктрины и уход за ее пределы у Иосифа Бродского и Юрия Кузнецова…

Надеюсь, о христианской лирике Бродского мне тоже удастся как-нибудь высказаться отдельно. Очень уж интересная тема. И когда бытовые вынужденные оговорки и уклонения уходят после смерти в никуда, в пустоту, остаются озвученные поэтом, посланные кем-то свыше проникновенные слова:

Мать говорит Христу:
Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?
Как ступив на порог,
Не узнав, не решив:
Ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?
Он говорит в ответ:
Мертвый или живой,
Разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Еще одна, уже четвертая, проникновенная, освобожденная от

плена вещей и хладного тлена смерти тема в поэзии Иосифа Бродского — посвящение друзьям, поминание великих учителей, разговор с творцами. Тут и «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова», и стихи из ссылки «На смерть Т. С. Элиота», и ранние стихи «Памяти Е. А. Баратынского» и «На смерть Роберта Фроста», и стихи, посвященные Евгению Рейну, и уже эмигрантское «На столетие Анны Ахматовой», и совсем уж позднее стихотворение ирландскому поэту Шеймусу Хини:

Я проснулся от крика чаек в Дублине.
На рассвете их голоса звучали
Как души, которые так загублены,
Что не испытывают печали…

Когда поэт пишет о любимом и дорогом, о друзьях и близких, он волшебно избавляется от игры в гениальничанье, от «приполярного душевного климата» и от иронически-риторической стихотворной гимнастики, от ненужного ерничества и элитарной брезгливости. Разве найдет самый строгий его оппонент все эти недостатки в стихотворении, посвященном столетию Анны Ахматовой?

Страницу и огонь, зерно и жернова,
Секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все: особенно — слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
И заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
Затем что жизнь — одна, они из смертных уст
Звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
За то, что их нашла, — тебе и части тленной,
Что спит в родной земле, тебе благодаря
Обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Пожалуй, подобная искренность в стихах Иосифа Бродского проступает еще в тех случаях, когда поэт сам опрокидывает на читателя свою душу, свои чувства и свое понимание мира, свое отчаяние и свое умирание. Таким личностным откликом, наверное, была для него «Бабочка». Таким автопортретом, я считаю, стал его и мужественный, и болезненный, и до предела

распахнутый, и сокровенный «Осенний крик ястреба».

На воздушном потоке распластанный, одинок,
Все, что он видит — гряду покатых
Холмов и серебро реки,
Вьющейся, точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов.
<…>
Но восходящий поток его поднимает вверх
Выше и выше. В подбрюшных перьях
Щиплет холодом. Глядя вниз,
Он видит, что горизонт померк,
Он видит как бы тринадцать первых
Штатов, он видит: из
Труб поднимается дым. Но как раз число
Труб подсказывает одинокой
Птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
<…>
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
Птиц, где отсутствует кислород,
Где вместо проса — крупа далеких
Звезд. Что для двуногих высь,
То для пернатых наоборот.
Не мозжечком. Но в мешочках легких
Он догадывается: не спастись.
И тогда он кричит…

Увы, с этим прозрением он угадал. Крик не помог замерзающему ястребу. И лишь горсть перьев, юрких ледяных хлопьев слетела на склон холма. Что это — автоэпитафия? Запись мыслей предвидящего свою смерть на вершине поэта? Не уберегся он от третьего инфаркта в свои неполных 56 лет от роду… Америка, может быть, и нашла своего поэта-лауреата Иосифа Бродского, но, я уверен, он сам так и не нашел своей Америки.

И восходит в свой номер на борт по трапу
Постоялец, несущий в кармане граппу,
Совершенный никто, человек в плаще,
Потерявший память, отчизну, сына;
По горбу его плачет в лесах осина,
Если кто-то плачет о нем вообще.

Эрудиция, талант и культура делали свое, в результате из умствования и многословия Иосифа Бродского в русскую литературу пришли такие шедевры, как «Сретенье», «Народ», «Пророчество», «В деревне Бог живет не по углам», «Горение», «На смерть Жукова», «Одиссей Телемаку», «На столетие Анны Ахматовой» и, конечно же, «Осенний крик ястреба». Составить бы из лучших стихов Иосифа Бродского — любовных, имперских, христианских, северных, из цикла «in memoriam» и глубоко личных, прочувствованных им самим, книжку «Избранного» — и думаю, всем его злым оппонентам нечего было бы сказать…

«СЕВЕРНЫЙ КРАЙ, УКРОЙ…»

В первой книге в серии «ЖЗЛ» об Иосифе Бродском его друг Лев Лосев, прекрасный филолог, сформулировал: «Бродский уехал в ссылку одним поэтом, а вернулся менее чем через два года — другим. Перемена произошла не мгновенно, но очень быстро… Сказать, что в Норенской началось радикальное расширение жанрового репертуара в поэзии Бродского, значило бы остаться на поверхности явления. Радикальные перемены произошли в структуре самой поэтической личности, и этому новому „Я“ понадобились новые формы самовыражения…»

Согласившись с этими словами, любой исследователь поэзии Бродского должен собрать рюкзак и отправиться в деревню Норенскую. Так я и сделал. Жил в избе Таисии Ивановны Пестеревой, в том самом доме, где остановился Бродский в начале своей ссылки в апреле 1964 года. «Иосифа Александровича привел ко мне в апреле 1964 года директор совхоза Русаков, — рассказывала Пестерева. Но, судя по всему, охотно и присочиняла. — „Вот тебе постоялец. Ты его не обижай, из города все же, да стихами занимается. Может, и про нас книжку напишет“». Благодаря ссылке Бродского деревня Норенская и впрямь стала одним из знаковых мест на Руси, но вряд ли поначалу кто-нибудь из местных считал его поэтом. Тунеядец и тунеядец, да и работник плохой. Таисия Ивановна позже вспоминала о своем постояльце: «Послал его бригадир жердья для огорожи секти. Топор ему навострили. А он секти-то не умеет — задыхается, и все ладони в волдырях. Дак бригадир Лазарев Борис Игнатьевич стал Иосифа на легкую работу ставить. Вот зерно лопатил на гумне со старухами, телят пас, дак в малину усядется и, пока не наестся, не вылезет из малины. А телята разбрелись. Он бегом за ними. Кричу ему: не бегай бегом, растрясешь малину-то, я сейчас железиной поколочу, и телята вернутся все!»… Явно не деревенский ей постоялец попался, но обходительный и вежливый.

Сам Бродский вспоминает свой приход в дом к Пестеревой совсем по-другому: «Был обеденный час, когда я поднялся по крутым ступенькам одной из стародавних норенских изб. В темных сенях едва нащупал приземистую дверь, постучал. Никто не ответил. Решил войти без приглашения. В дальней горнице за столом с вспотевшим самоваром и скромной деревенской снедью чаевничала хозяйка. Обернулась на неожиданного гостя, засуетилась, приглашая пообедать…»

Я сам убедился: местные жители, не избалованные

вниманием прессы, охотно предложат удобную для вас версию. Позже так же охотно сменят ее на совсем другую. И не по злобе, не из корысти — из простого желания угодить заезжим журналистам. Из вежливости, из деликатности они согласятся с любым предположением. Так что рассказам коношан особо доверять не стоит: только фактам, письмам, документам, приказам по совхозу, выпискам из платежной ведомости, да и вообще здравой логике. К примеру, где-то с июня 1965 года Иосиф Бродский работал уже разъездным фотографом в коношском доме быта. Здесь и ведомости есть по оплате. Но ездить почти каждый день от Норенской до Коноши он никак не мог. И машин почти не ходило, разве что почтовый грузовик, и расстояние было около 30 километров, вряд ли Иосиф часто ходил пешком, путь немалый. Значит, находил возможность ночевать в Коноше — но по правилам ссылки жить там поэт не имел права, он должен был делать это тайно. А потому и коношский друг его Владимир Черномордик, и работники дома быта эти ночевки отрицали. А сейчас их уже и в живых не осталось. Но любой, кто поездит по местам ссылки, убедится: ночевал Бродский в Коноше частенько. Следователь Коношской прокуратуры в 1960-е годы Леонид Алексеевич Дербин считал: «Думаю, в милиции знали, что Бродский останавливался у кого-то в Коноше, чтобы не ездить каждый день в Норенскую. Но квартиры в Коноше у него не было…» Как предполагает начальница норенской почты во времена ссылки Бродского Мария Ивановна Жданова: «Когда Иосифу надо было в Коношу с ночлегом, он останавливался у племянницы деревенских хозяев, Лидии Шумихиной — Константин Борисович Пестерев договорился с нею на этот счет». Ночевал частенько он и у Владимира Черномордика, одессита со сложной судьбой, застрявшего после лагерного срока в Коноше.

Дом в Норенской, где сперва поселили Бродского, срубил прадед хозяйки Таисии Ивановны Пестеревой. В малюсенькой комнате (четыре на пять шагов), где жил поэт, расположились скамья, на которой он спал, и стол. Пол — из грубых еловых плах, с большими щелями, можно и споткнуться. В окно видны кусочек деревенской улицы, избы напротив, за ними — луг. Так всё осталось и сейчас. Закуток у Бродского был совсем маленький, печь не топили, поэтому еще до ожидавшегося ремонта дома Иосиф перебрался на другую сторону улицы, в дом к Константину Борисовичу Пестереву, вернее, в пристройку к летней избе, по сути отдельный маленький домик с печкой.

По одним воспоминаниям местных жителей, он прожил в доме Таисии Ивановны всего три-четыре дня, по другим две-три

недели — в любом случае недолго. Уже после того, как Бродский подыскал себе более удобное жилье, он часто заходил к Таисии Ивановне в гости, под конец даже золотой крестик подарил. Таисия Ивановна завещала: «Как умру, крестик от Иосифа со мной положите». Впрочем, и у рассказа о крестике есть три местных варианта. Одни утверждают, что крестик Таисии Ивановне привезла из Питера в один из своих визитов Марина Басманова. Другие рассказывают, что подарил сам поэт в конце ссылки. По третьим утверждениям, Бродский прислал ей крестик, уже вернувшись в Ленинград. Всё может быть.

Иосиф подыскал неподалеку отдельный зимник у Константина Борисовича Пестерева, у которого и прожил всю ссылку. В годы перестройки и после масса журналистов хлынула в Норенскую за сенсациями о Бродском, лауреате Нобелевской премии. Однако и сам Константин Борисович, и его жена Афанасия Михайловна скончались в 1980 году, а дом их развалился. Местные власти на этой развалюхе устанавливать мемориальную доску не пожелали, и вопреки всей правде ссылки доска установлена именно на доме Таисии Ивановны, просто потому, что он и сейчас находится в приемлемом состоянии.

Продавщица Норенского сельпо Зоя Полякова, сестра заведующей почтой Марии Ждановой, «тунеядца» не чуралась, общаясь с ним в магазине. Она откровенно возмущалась журналистскими небылицами: «Уж сколько лет читаем в газетах, а теперь и по телевизору слышим, что в Норенской Иосиф жил у Таисьи Пестеревой. А он и жил-то у нее, когда его определили на постой в этот дом, всего несколько дней, и перебрался к Афанасии Пестеревой. У Афанасии и жил, пока был в ссылке. А мы только и слышим: Таисья да Таисья. Если приезжают в Норенскую фотографировать, прямиком идут к дому Таисьи. Беседовать про житье-бытье — опять к же к Таисье.

— Да почему же не к Афанасии?

— А ее уж нет давно, умерла в 1980 году.

— А другие очевидцы что же молчат?

— Им какая разница… Таисья-то жива еще, а Афанасии нет. Но жил Бродский у Афанасии…»

Дом же Афанасии и Константина Пестеревых, где довольно уютно поэт жил практически всю ссылку, 18 месяцев, ныне находится в полностью разрушенном виде и вряд ли подлежит восстановлению. Однако правительство Архангельской области все-таки выкупило его, чтобы, отреставрировав, превратить в музей. «Мы не имеем права дать времени, природе стереть это место с карты земли архангельской, да и России в целом. Та пристройка, в которой жил Иосиф Александрович, находится в

состоянии критическом, вот-вот обвалится. Но выкупили это здание, забрали себе. Мы будем восстанавливать его как настоящий музей», — сказал архангельский губернатор Игорь Орлов.

Я пробрался внутрь, хотя все бревна опасно пошатывались, стена могла в любую минуту рухнуть, но увидел воочию, в каких условиях жил в ссылке Иосиф Бродский. В его распоряжении оказался зимник с печкой, с отдельным входом, целый небольшой домик. А хозяева жили в большой летней избе даже зимой. Рядом с порушившимся домом Пестеревых находится дом Мальцевых, где сейчас открыто что-то вроде гостиницы для приезжих. Там же и банька небольшая, где мы с женой хорошо попарились, как говаривал Бродский, «похвостались». Хозяева, Лена и Толя, приветливы и гостеприимны.

Уже в американской эмиграции, в 1976 году, в стихотворении, посвященном Марине Басмановой, Бродский вспоминает их счастливую совместную жизнь в избе у Пестеревых:

> Ты забыла деревню, затерянную в болотах
> Залесенной губернии, где чучел на огородах
> Отродясь не держат — не те там злаки,
> И дорогой тоже все гати да буераки.
> <…>
> А зимой там колют дрова и сидят на репе,
> И звезда моргает от дыма в морозном небе.
> И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
> Да пустое место, где мы любили.

Как не побывать в том «пустом месте»? Хоть и с риском для жизни, но я облазил все развалины зимника, представил, где стоял стол с письменной машинкой, где была печь-лежанка посередине избы, а где отдельный вход в сени…

Платил Иосиф за аренду зимника по тем временам недорого, 100 рублей (после денежной реформы сумма превратилась в десять рублей, поэтому везде и пишут про десятку). Деньги уходили у хозяина на водку. Часто и вперед просил, когда выпить хотелось. Бродский вспоминал: «„Три рубля я тебе, Константин Борисович, дам, но где ты водку возьмешь? До ближайшего города 30 километров. На улице мороз и метель“. А он мне отвечал замечательной русской пословицей: „Не волнуйся, Иосиф Александрович, свинья грязи найдет“. Наверняка шел к продавщице магазина домой, а та уже из опыта деревенского всегда держала дома заначку».

Жилье поэту даже нравилось. После закутка в «полутора комнатах» на Литейном это было его первое в жизни отдельное жилье, где он писал замечательные стихи, где на полу спали его друзья, регулярно приезжавшие к нему, где они с Мариной Басмановой любили друг друга…

Он писал Насте Томашевской о своем зимнике: «Я живу один в деревянном домике, возле которого весь день гуляют куры и кричит петух. В домике шесть маленьких окон, и в них всегда можно увидеть коров, овечек, козочек и лошадок. А за ними леса и леса. Днем я работаю где-нибудь в поле, а вечером зажигаю свечечку, сажусь и начинаю читать книжки». Между двух окон стоял прибитый к стене стол с письменной машинкой, с керосиновой лампой, чернильницей, подаренной Анной Ахматовой, и подсвечниками, привезенными Мариной. Далее топчан с матрацем и лавка для посуды. Спартанский аскетизм. Но зато он щедро курил «Честерфильд» и попивал виски.

Нынешним молодым не понять, что это такое: в 1964 году в северной глуши спокойно курить «Честерфильд» и пить виски. Это все равно что прилетать в ссылку на личном вертолете. Гостинцы привозили друзья, а их снабжали зарубежные коллеги. Конечно, какое-то время пришлось Иосифу поработать и на поле, и навоз потаскать, но, насколько я понимаю, особо его не загружали. Наряд на работу выписывал его же хозяин, бригадир Константин Борисович; когда приезжали друзья или родственники, с работы отпускал. За неполных 18 месяцев ссылки, с апреля 1964 года по сентябрь 1965-го, к нему не менее восемнадцати раз приезжали гости: отец с матерью, Марина Басманова, Евгений Греф и Виктор Гиндлис (привезли от Фриды Вигдоровой пишущую машинку), Михаил Мейлах, Юлия Живова, Александр Бабенышев (привез собрание сочинений Джона Донна от Лидии Чуковской), Гарик Гинзбург, Анатолий Найман и Евгений Рейн, Игорь Ефимов и Яков Гордин, Константин Азадовский… Трижды ему давали отпуск, и Иосиф Бродский приезжал в Ленинград.

Одни гости сменяли других. Иных он сам чуть ли не выгонял. Как минимум раз в две недели кто-то приезжал — с продуктами, деньгами, сигаретами и спиртными напитками. Еще в те времена он стал достопримечательностью деревни. На его мнимое тунеядство даже милиция не обращала внимания: тунеядцев в деревне хорошо знали, и он не походил на них ни по каким параметрам. Да еще и пишет что-то все время. Не иначе как за веру сослали? Так и Таисия Ивановна Пестерева позже журналистам говорила: «Как ни загляну, он все молится и молится…» Это Бродский стихи бормотал вслух или книжки

читал — молился!

Вот как он впоследствии вспоминал о своей работе в Норенской: «Когда я вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение!» Это состояние можно назвать «норенским озарением», а продолжалось оно лет пятнадцать, включая и начало американской жизни, когда в нем великая русская культура, чувство единения с народом прекрасно дополнились американской свободой самовыражения. Позже русский дух стал понемногу уходить, да и среда была уже совсем другая, скептически-ироническая, усиливалось чувство одиночества, и поздняя поэзия всё явственнее обретала меланхолически-мизантропические нотки. Зато эти 15 лет дали миру великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии. Не попади он в ссылку, все равно стал бы поэтом, но — иным, таким, как, к примеру, Виктор Кривулин или Анатолий Найман, талантливым, интеллектуальным, но отнюдь не поэтом мирового масштаба.

Тем, кто хочет представить поэзию Иосифа Бродского вне «норенского озарения», советую прочитать его первую книгу «Стихотворения и поэмы», опубликованную в Нью-Йорке эмигрантом второй волны Филипповым в издательстве с условным названием «Inter-Language Literary Associates» в 1965 году. Книга вышла без согласования с автором, когда он находился в ссылке. Позже, в 1972 году, поэт отзывался об этом событии: «Я очень хорошо помню свои ощущения от моей первой книги, вышедшей по-русски в Нью-Йорке. У меня было ощущение какой-то смехотворности произошедшего. До меня никак не доходило, что же произошло и что это за книга». Помню, когда в 1967 году Иосиф Бродский в своих полутора комнатах в доме Мурузи дарил мне эту книгу, он отозвался о ней крайне пренебрежительно: мол, составили ее из отобранных при обыске стихов, то есть издали в США под контролем КГБ. Иные, наоборот, считают, что под контролем ЦРУ. К примеру, его друг Михаил Мейлах пишет: «Все знали, что оно (издательство. — *В. Б.)* финансируется ЦРУ, а чтобы „обезопасить“ автора, на титульном листе обычно значилось, что издание выходит без его ведома и согласия».

После выхода книги, после потока переводов почти на все европейские языки его как поэта узнал весь мир. Но в этой книге еще не было лучших северных стихов, написанных за время

ссылки, лучших любовных стихов, стихов, возникших под влиянием английской поэзии. По сути, эта книга ранней поэзии дает нам понять, каким был бы поэт Иосиф Бродский, если бы не случилось ссылки.

И потому вернемся в Норенскую. Какая внутренняя работа происходила в нем за эти полтора года?

Северный край, укрой.
И поглубже. В лесу.
Как смолу под корой,
Спрячь под веком слезу.
И оставь лишь зрачок,
Словно хвойный пучок,
На грядущие дни.
И страну заслони…

Особенно поразило меня: «И страну заслони…» Ладно, сам под защиту Русского Севера просится, но что это он и о всей стране думать стал? И не только в этом стихотворении. 14 августа 1965 года, уже в конце своего пребывания в Норенской, поэт опубликовал в местной газете «Призыв» стихотворение «Тракторы на рассвете». Изумляет восторг перед утром трудового народа:

И восходит солнце, и смотрит слепо,
И лучами сонными избы косит.
И тракторы возносятся, как птицы, в небо,
И плугами к солнцу поля возносят.
Это рабочее утро. Утро народа!
Трудовое утро с улыбкой древней.
Как в великую реку, глядит на людей Природа.
И встает, отражаясь, от сна с деревней.

Пусть бы это и в самом деле было «паровозное» стихотворение — но никаких «паровозов», как уже говорилось, Бродский принципиально не писал. О своем восторге перед общим трудовым утром народа он еще скажет не в одном американском интервью и пронесет до конца жизни память о приютившем его уголке Русского Севера.

«В Норинской сначала я жил у добрейшей доярки, потом снял комнату в избе старого крестьянина. То немногое, что я зарабатывал, уходило на оплату жилья, а иногда я одалживал деньги хозяину, который заходил ко мне и просил три рубля на водку», — вспоминал Бродский. Приезжавший к нему друг Яков

Гордин рассказывал: «Деревня находится километрах в тридцати от железной дороги, окружена болотистыми северными лесами. Иосиф делал там самую разную физическую работу. Когда мы с писателем Игорем Ефимовым приехали к нему в октябре шестьдесят четвертого года, он был приставлен к зернохранилищу — лопатить зерно, чтоб не грелось. Относились к нему в деревне хорошо, совершенно не подозревая, что этот вежливый и спокойный тунеядец возьмет их деревню с собой в историю мировой литературы».

Откровенно говоря, особенно скучать Иосифу Бродскому не давали. Приезжали отец с матерью (три раза), друзья и, что еще важнее, его возлюбленная, Марина Басманова, тоже приезжала трижды и надолго.

Да, сердце рвется все сильней к тебе,
и оттого оно — все дальше.
И в голосе моем все больше фальши.
Но ты ее сочти за долг судьбе,
за долг судьбе, не требующей крови
и жалящей тупой иглой.
А если ты улыбку ждешь — постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.

Годы спустя в интервью Майклу Скаммелу на вопрос: «Как на Вашу работу повлияли суд и заключение?» — Бродский ответил: «Вы знаете, я думаю, это даже пошло мне на пользу, потому что те два года, которые я провел в деревне, — самое лучшее время моей жизни. Я работал тогда больше, чем когда бы то ни было. Днем мне приходилось выполнять физическую работу, но поскольку это был труд в сельском хозяйстве, а не работа на заводе, существовало много периодов отдыха, когда делать нам было нечего».

Приказом № 15 по совхозу «Даниловскому» Архангельского треста «Скотооткорм» от 8 апреля 1964 года Иосиф Бродский был принят на работу в бригаду № 3 в качестве рабочего с 10 апреля 1964 года. Худо-бедно проработал до июня 1965 года, затем устроился фотографом в коношский дом быта. Там числился до сентября. Осталось немало фотографий простых сельчан и коношан, сделанных разъездным фотографом Иосифом Бродским. В Коношском краеведческом музее этот цикл называют «Простые лица». Не пора ли организовать в Москве выставку фотографий этого простого сельского фотографа? Есть немало откровенных

удач — все-таки пригодилась школа отца.

В январе 1965 года поэт писал из Норенской И. Томашевской: «И вот что я скажу Вам, Ирина Николаевна, напоследок: главное не изменяться, я сообразил это. Я разогнался слишком далеко, и я уже никогда не остановлюсь до самой смерти. Все как-то мелькает по сторонам, но дело не в нем. Внутри какая-то неслыханная бесконечность и отрешенность, и я разгоняюсь все сильнее и сильнее. Единственное, о чем можно пожалеть, что мне помешают сказать об этом всем остальным, — не будет возможности написать эти главные стихи. Но даже тогда — в этом сожалении — я буду знать, что я чист перед Богом (и перед землею), потому что я поступал так, как это нужно было небу. В общем, — я ни в чем на свете не виноват — ни духовно, ни нравственно. В первом я не сомневаюсь, а второе сумел искупить. И это во мне говорит не гордыня, а смирение, но смирение гор перед небом. Хватит с меня. Горе должно рождать не грусть, а ярость, и я яростен».

Там, в Норенской, для него сошлось всё: и познание души народа, и познание любви — самые счастливые дни жизни, и познание мировой культуры. Надо было забраться в архангельскую глушь, чтобы открыть для себя мир англоязычной поэзии — Джона Донна, Уистена Одена, Томаса Стернза Элиота и др. Иосиф Бродский вспоминал, как он открыл для себя Джона Донна: «Самое интересное, как я достал эту книгу. Я рыскал по разным антологиям. В шестьдесят четвертом году я получил свои пять лет, был арестован, сослан в Архангельскую область, и в качестве подарка к моему дню рождения Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне — видимо, взяла в библиотеке своего отца — издание Донна в „Модерн лайбрери“».

В 1964 году в деревне Норенской было 14 хозяйств. Сейчас осталось лишь несколько дачников. Только в одном доме, что стоит напротив избы Марии Ждановой, до последнего времени жили муж с женой — Валентина и Афанасий Пестеревы. Афанасий умер, Валентина мне рассказывала, что она уже на зиму одна в деревне не останется, переедет к родственникам. Тогда деревня совсем запустеет, как многие другие. Вся надежда на приток туристов, связанный с именем Бродского. Как уже говорилось, местные уроженцы Лена и Толя Мальцевы привели в порядок дом напротив дома Пестеревых, сделав его гостевым домиком, и выкупили дом Таисии Ивановны, тоже обновив его. Это их небольшой семейный бизнес, благодаря им держится до сих пор какая-то жизнь в Норенской. Еще одно строение, дом Пашкова прямо напротив дома Таисии Ивановны, превратили в музей сельского быта.

На внимание туристов рассчитывают и в поселке Коноша — крупном железнодорожном узле с населением 12 тысяч человек. Почти никого из знавших Бродского здесь не осталось, но его именем названа районная библиотека. Ее сотрудница Надежда Ильинична Гневашева, прекрасный экскурсовод, любящий и поэзию Бродского, и историю своего края, встречала нас с женой, когда мы на вечернем поезде приехали из Москвы в Коношу. Переночевали в гостинице и рано утром вместе с Надеждой Ильиничной отправились по следам поэта. Ей известны все места, где в Коноше бывал или останавливался поэт: милиция, суд, некое подобие тюрьмы, где держали задержанных, в том числе и Бродского, библиотека, аптека, Дом культуры, комбинат бытового обслуживания, где Бродский работал разъездным фотографом, редакция газеты, где были напечатаны два его стихотворения: одно — 14 августа 1965 года, второе — 5 сентября. Газета не решилась опубликовать третье, предложенное Бродским «В деревне Бог живет не по углам…», но это и понятно — в те времена Бог был не в чести.

Надежда Ильинична почти все северные стихи Бродского знает наизусть, она читала их нам, переходя от мемориальной комнаты Бродского в библиотеке к расположенному неподалеку краеведческому музею. Побывали мы и в редакции газеты «Коношский курьер» — бывшей газеты «Призыв», где печатались стихи Бродского. Весь районный городок Коноша казался мне музеем Бродского под открытым северным небом. Такую идею музея на базе деревни Норенской впервые предложил известный реставратор, знаток Русского Севера, ныне председатель правления Фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Исаевич Мильчик. Он же старается осуществить восстановление дома Пестеревых, сделал все архитектурные замеры, по крупицам собрал вещи, документы, фотографии, связанные с именем поэта, выпустил книгу «Иосиф Бродский в ссылке». Михаил Мильчик надеется объединить музей быта и архитектуры Русского Севера с музеем русского поэта Бродского.

Купил я в Коноше и книги о Бродском, вышедшие в местном издательстве: сборник докладов международной конференции, состоявшейся здесь в 2009 году, «Ссылка в Норенскую в жизни и творчестве Иосифа Бродского», очень любопытную книгу местного коношского краеведа Сергея Конина «Коношане и Бродский» и книгу отчаянной провинциальной либералки Нины Бахтиной, напрочь отвергающей влияние северной ссылки на поэзию Бродского. Бахтина и меня в своей книге пытается оспорить, даже не понимая, что бьет в запальчивости по самому поэту. Сначала автор набрасывается на заметки Солженицына о

Бродском, затем переходит ко мне: «И как умудрился интонационно и словесно переиначить сказанное Солженицыным москвич Владимир Бондаренко в своих заметках о Бродском: „Нет, прав и прав Солженицын, подольше бы ему пожить в деревне“… Иной вопрос: была бы лучше или нужнее для поэта „та составляющая в его развитии“, так ли уж в его дальнейшей жизни были ему необходимы длительные деревенские восприятия. Вероятно, городские апартаменты вполне обойдутся без горшков с ванькой мокрым (бальзамином), вполне прилично смотрящимся в деревенской избе».

Но разве вся польза пребывания в северном краю заключалась в горшках с цветами или в тех или иных деталях деревенского быта? Отвечу Бахтиной словами самого Иосифа Бродского: «Я был тогда городским парнем, и если бы не та деревенька, им бы и остался. Возможно, я был бы интеллектуалом, читающим книги — Кафку, Ницше и других. Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарить КГБ… Для меня это был огромный опыт, который в каком-то смысле спас меня от судьбы городского парня…»

В своей ярости провинциальная интеллигентка решила перекричать даже столичных скептиков, обрушившись на стихотворение Бродского «Народ». Бахтина пишет: «Требуется совсем иная интерпретация, которая не унизит Бродского… и не подаст поэту милостыню обманного величия. Да, написал Бродский стих „Народ“, хотя такого народа в массе ни в одном царстве-государстве не прослеживается. Ну и что? За это поэт в ответе только перед собой и Богом. По какому праву хулители или восхвалители, что в данной ситуации *практически* равнозначно, по-прежнему приставляют нож к горлу светлой тени поэта. Именно таковы восхваления Владимира Бондаренко. И не хотелось бы думать, что Бродский… столь негениально пошутил. Однако и эта дорога в мире поэзии торная. Вспомним шутку Пушкина с Моцартом и Сальери».

Вроде бы поначалу наивная дама остановилась на версии неудачной шутки Бродского, написавшего «Народ». Обозначила его «грехом лукавства». Но чувствует, что ей никто не поверит. Пошла дальше. Решила, что поэт хитро задумал угодить властям. «Предположение, уничижительно отвергнутое Бондаренко, что стих „Народ“ воспринимают как „паровозик“, написанный в надежде на снисхождение властей, — вполне вероятно. Ну и что? Интересно, кто из нас, даже непинаный и неоплеванный принародно, людей из слабой плоти и горячей крови, в данной ситуации отказался бы от подобного „паровозика“?.. „Паровозики“ в России неистребимы. Они были, есть и будут

бегать по рельсам нашего перевернутого с ног на голову быта (бытия)».

Может быть, лакейские «паровозики» и будут вечно бегать, но не в умах таких поэтов, как Бродский, считавший это стихотворение крайне важным для себя. Константин Азадовский вспоминает о своей поездке в Норенскую к поэту: «И, наконец, с каким-то особенным чувством он прочитал стихотворение о русском народе („Мой народ, не склонивший своей головы…“). В этом пафосном стихотворении, потрясшем меня своей экспрессивностью, было несколько замечательных строк („Припадаю к народу, припадаю к великой реке… Пью великую речь, растворяюсь в ее языке“), но в целом оно показалось мне чуждым поэтике самого Бродского, о чем я тут же и сказал ему. Но он прервал меня, заявив, что эти стихи для него очень важны, и я не стал с ним спорить… Оказавшись в деревне и приобщившись к ее повседневности, Бродский увидел перед собой тот пласт русской жизни, который… всегда воспринимался в России как естественный, „органический“. Бродскому казалось, что здесь он соприкоснулся с вековым и вечным: страной, ее народом и языком. Сознание Бродского чутко реагировало на все „изначальное“, возникшее, как принято говорить, по Высшему замыслу… В ряду этих сущностных явлений, образующих сердцевину бытия, и оказались для него русский народ и русский язык. Он вдохновлялся ими, точно так же как и другими ликами Вечности. Пульсирующими в его лирике: бездонной синевой неба, гулом океанских волн и т. п.».

Ну а горе-исследователи из либерального стана типа Нины Бахтиной, приравнивающие эти стихи к пошлым «шуткам» или «паровозикам», даже не понимают, что оскорбляют такими высказываниями поэта и его память. Не будем забывать и то, что Анна Ахматова, чей авторитет признан и в среде либералов, любила и высоко ценила это стихотворение, называя его «Гимном народу». Но и помимо этого поистине знакового стихотворения, уже в эмигрантских интервью в разные годы — Свену Биркертсу в 1982 году, Джованни Буттафаве в 1987 году, Ларсу Клебергу и Сванте Вейлеру в 1988 году и многим другим — он постоянно говорит все о том же постижении смысла народной жизни, общности с народом, своей «принадлежности к этому народу», тут уж ни на какие «паровозики» эти интервью не спишешь.

В отличие от Нины Бахтиной, бывшей коношанки, ныне уехавшей в Вологду и там уже воюющей с тенью Николая Рубцова, коношский краевед Сергей Конин дотошно и простодушно собрал воспоминания чуть ли не пятидесяти местных жителей, в свое время знавших Бродского, и написал

свои провинциальные записки «Коношане и Бродский». Он показал отношение местных жителей к поэту, уточнил и некоторые детали его пребывания в ссылке. К примеру, рассказал, что, конечно же, публикация двух стихов Бродского в местной газете «Призыв» стала возможной благодаря негласному одобрению первого секретаря райкома партии Зарубина. Тем более в райкоме уже знали о предполагающемся досрочном освобождении поэта из ссылки. Вот и дали добро, из тунеядца сделали вполне советского поэта…

Книжка полезна и тем, что перечисляет всех местных жителей, связанных с Бродским. В мемуарах заезжих питерских друзей говорится лишь об общении этих приятелей с самим поэтом, про коношан почти ни слова. Как пишет Сергей Конин: «А если есть, то с таким высокомерием… Прав Черномордик: словно к дикарям приезжали». Книга ценна в первую очередь достоверностью — ведь своему коношанину местные жители не придумывали байки. А кто еще мог бы опросить шоферов, крутивших баранку, развозя по сельмагам товары, как Георгий Денисов, или возивших районное начальство? И те и другие не раз подвозили Бродского из Коноши до Норенской и обратно. Помнят и его фразу: «Ужасная дорога, зато красота какая…» Начальник райотдела милиции Василий Кузнецов даже рассказал, как Бродский, сидя в КПЗ (по доносу совхозного начальства за несвоевременное прибытие из отпуска в Ленинград), сочинил большое стихотворение, посвященное коношской милиции, «с настроением и пафосом». Хранил это стихотворение милиционер в сейфе вместе с личным делом ссыльного Бродского, но потом оно где-то затерялось. Может, и всплывет в архивах архангельской милиции? Нина Семенова, работник коношского фотоателье тех лет, разъяснила и вопрос с жильем в Коноше: «Переселиться на постой в Коношу Бродскому не разрешили бы, потому он и наведывался в контору не каждый день. Но наведывался довольно часто и явочным порядком ночевал у кого-нибудь из знакомых».

После бесед с людьми, знавшими Бродского, Сергей Конин даже удивлялся, как поэт за короткое время успел не только освоиться в Коноше и Норенской, но и завести обширный круг приятелей и знакомых. Краевед пишет: «Поэт-гражданин Бродский серьезно интересовался историей нашего края и в этом смысле может быть назван одним из первых краеведов Коношского района… Приезжий Бродский… <…> моих земляков знал лучше меня». Николай Матюшин, начальник сельпо, вспоминает, как впервые встретил Иосифа Бродского еще в первые дни проживания у Таисии Пестеревой: «Я тогда

подбирал жилье для бригады строителей — надо было строить новый магазин. Бродского не очень устраивало жилье у Таисии Ивановны, у нее всегда было людно, и он согласился переехать в отдельный домик Пестеревых… А бригада поселилась у Таисии Ивановны». Вот и поставлены все точки над «і» в отношении проживания поэта в ссылке. Еще одна деталь — тот же Матюшин рассказывал Сергею Конину, как не раз возил поэта на машине в Лычное, где он работал ночным сторожем на ферме.

Жителям было интересно прочитать, что же пишет в эмиграции об их деревне знаменитый поэт. Многое и оспаривали. Та же продавщица Зоя Полякова не скрывала обиды, прочитав, что кроме водки и мыла ничего в магазине не было. Сельмаг — не захудалый ларек на отшибе, тем более на большой дороге стоит, товара хватало, и свежая треска в бочке всегда была. Иосиф же хоть и ходил часто в магазин, но только за мелочью: соль, спички, хлеб. Продукты ему привозили из Ленинграда. Интересна сценка, описанная Поляковой: «Посылали его огород городить, и он у нарядчика спрашивает: „Сколько заплатите за день?“ Тот ответил: „Три рубля“. Тогда Бродский говорит: „Давайте я вам три рубля заплачу, а вы наймите кого-нибудь, я городить не умею“». Вот так и договаривались по-житейски. Думаю, эту книгу Конина хорошо бы и в Москве перепечатать хотя бы в сокращении, так много в ней верных бытовых подробностей.

Встречался коношский краевед и с трактористом Александром Буловым, тем самым, который стал героем стихотворения Бродского:

> А. Буров — тракторист — и я.
> Сельскохозяйственный рабочий Бродский,
> Мы сеяли озимые — шесть га.
> Я созерцал лесистые края
> И небо с реактивною полоской,
> И мой сапог касался рычага…

Думаю, букву в фамилии Булов Бродский изменил намеренно, на случай если стихотворение не понравится начальству. Сам Сергей Конин считает, что могли попросить и проверяющие из органов, регулярно навещавшие поэта, читавшие все его стихи, отпечатанные на машинке, и подумавшие, что ни к чему поэту-тунеядцу вписывать в свои стихи местный народ. Вот так и стал в истории русской поэзии тракторист из деревни Лычное Булов — Буровым. Булов, конечно же, таким неумелым помощником был недоволен, что видно и по стихотворению, где Бродский не столько сеял, сколько «созерцал лесистые края…», но

видел, что его помощник приносит мало пользы не от лени или со зла, а от полной неприспособленности к такой работе. К тому же выходит на целый день в поле с парой каменных пряников. Поглядит Саня Булов на эти пряники — и зовет ссыльного поэта на обед к себе домой.

А эти запечатленные шесть га из стихотворения Бродского я исходил своими ногами — это известное поле, которое сейчас зовут Майданом, по дороге из Коноши в Тавреньгу. Прошел и по лугам, где поэт пас деревенских телят. Напился из родника в Норенской, откуда Бродский таскал воду себе для питья. В краеведческом музее сохранились и две фотографии, сделанные Иосифом Бродским: Александр Булов у трактора, одна — зимой, другая — летом. Так что хоть и ворчал тракторист на своего неумелого помощника, но проработал с ним целый год.

У Сергея Конина набралось более пятидесяти человек из местных жителей, знавших и помнивших поэта. Даже дочек заведующей почтой Марии Ждановой вспомнил, которым то ли сам поэт, то ли Марина Басманова привозили из Ленинграда ленты для косичек. По одним воспоминаниям — атласные, по другим — нейлоновые. Думаю, что нейлоновые, в те 1960-е годы все нейлоновое — мужские рубашки, сорочки и трусики для девушек, бантики для девочек — было в большой чести. Это сейчас такую липкую химию никто и носить не будет, даже в глухой деревне, а тогда этот нейлон символизировал торжество современности, Запад, иной мир. Молодец Конин, что подметил все эти детали, собрал все бытовые воспоминания очевидцев. Честь за это и хвала коношскому краеведу!

Благодаря его книге и походам по Коноше вместе с Надеждой Ильиничной уже через пару дней я знал все главные места пребывания Иосифа Бродского в ссылке, запечатлел их на фотографиях. Судя по всему, люди относились к поэту кто с симпатией, кто с иронией, но в целом очень доброжелательно, даже местные партработники, начальники милиции, проверяющие из КГБ. Все — из местных же крестьян, все — свои, природные люди. Иосиф Бродский вспоминал: «Мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в городе… Люди там, в деревне, колоссально добрые и умные».

А вот как отзывались жители о Бродском. «Еще тогда, когда до Нобелевской премии было далеко, как до Царствия Небесного, а до срока четыре шага, я для себя цену Бродского определил. Таких поэтов, как Бродский, создает сам Бог» (Владимир Черномордик, коношский друг поэта). «Хорошо запомнила. Стоит у меня на почте, опершись на стойку, смотрит в окно и говорит в

таком духе, что о нем еще заговорят. Я тогда еще подумала грешным делом: кто же о тебе заговорит, о тунеядце? Запомнились те слова от сомнения — кому ты, больной и ни к чему не гожий, нужен и где о тебе говорить-то будут» (Мария Жданова).

За день до отъезда мы встретились в Коноше с Тамарой и Александром Распоповыми, предпринимателями средней руки, увлекшимися и поэзией Бродского, и историей его пребывания в их городке. По велению сердца они создали свой частный музей Бродского, собирают все книги, написанные и изданные поэтом, все книги о его творчестве, сняли видеофильм-беседу с Таисией Пестеревой. Отец Александра Борисовича работал шофером в райкоме партии и не раз подвозил Бродского до деревни из Коноши. Так и узнал маленький Саня еще в детстве про ссыльного поэта. Есть в Коноше и две скамейки в память о Бродском. Одна — перед входом в библиотеку имени Иосифа Бродского; на ней цитаты из северных стихов, рядом металлический силуэт поэта. Другая, отлитая из чугуна, — перед частным музеем Распоповых, на ней обложка книги «Ниоткуда с любовью», и вместо спинки — уходящие ввысь небоскребы Нью-Йорка, тоже отлитые из чугуна.

Здесь, в Коноше и Норенской, понял Иосиф Бродский, что важнее всех страданий интеллигента — молча гибнущее русское крестьянство, люди, которых не поддержит никакой Запад, никакие правозащитники. Интеллигенту ли стонать о своей трагичности, когда, как писал Бродский, «существует огромное количество людей, которые оказываются в драматических ситуациях. Я имею в виду крестьян». Так простодушно, по-своему, выразил ту же мысль и его хозяин Константин Пестерев. Евгений Рейн вспоминает их разговор: «Ребята, а вы какой нации будете? — спросил Пестерев. — Мы будем еврейской нации, — ответил ему Черномордик. Пестерев долго молчал, обдумывая такое невероятное положение. Глубочайшая сосредоточенность обозначилась на его лице… — Ребята, — сказал он с отчаянием, даже с каким-то трагическим надрывом, — а я буду русской еврейской нации… Иногда мне кажется, я понимаю, что он имел в виду». Вот то и имел — глубочайшую трагичность судьбы русского крестьянства.

Вплоть до 1973 года в Норенской не было электричества, а водопровода и канализации нет и поныне. Впрочем, треть России вообще не газифицирована, хотя мы продаем газ всему миру. Может, пора уже повернуть газовые потоки из украинской трубы в русские деревни? Вот и остался один дивный русский фольклор и народный русский поэт Иосиф Бродский с его завораживающей

песней:

Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собрались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
И большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель…

За период своей ссылки с апреля 1964-го по сентябрь 1965 года Иосиф Бродский написал примерно 150 стихотворений — увы, половина из них до сих пор не опубликована. Еще одна загадка его жизни и творчества: масса неопубликованного за всю жизнь. Кто виноват? Среди написанных треть — шедевры: «Народ», «В деревне Бог живет не по углам», «Новые стансы к Августе», «Пророчество», «Стихи на смерть Т. С. Элиота» и др. Не надо ничего придумывать, надо только внимательно читать поэта: «Были строки, которые я вспоминаю как некий поэтический прорыв…» Это и было норенское озарение. Здесь он по-настоящему прикоснулся к природе, к смыслу жизни, к душе человека, к истинной любви. «Если у меня и появилось ощущение природы, то это произошло именно тогда». Аскетичная простота Севера оказалась соприродна его душе, и до конца жизни он тянулся к ней. Прав Анатолий Найман, когда пишет: «То, что мы сейчас называем поэзией Иосифа Бродского… сложилось окончательно в норинский и ближайший к норинскому период после освобождения…»

Он там не только писал стихи, но и много рисовал. Рисунки из Норенской отличают тоска по воле, но вместе с тем и огромное чувство юмора. Изобразив себя в виде вспахивающего землю кентавра на фоне вышки и колючей проволоки, Бродский явно осознает свое положение, а вместе с тем шуткой старается утешить родителей.

Природный, физический Север обрел в его поэзии метафизическую высоту. Позже он с удовольствием вспоминал: «Ну, работа там какая — батраком! Но меня это нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Потому что это был чистый Роберт Фрост или наш Клюев: Север, холод, деревня, земля…»

Как не раз уже бывало в русской поэзии, в своей ссылке он обрел максимальную высоту творческого полета. Это уже навсегда: «Северный край, укрой…».

СЕВЕРНОЕ СМИРЕНИЕ

К поздним стихам Иосифа Бродского я был почти равнодушен. Затянутость, отстраненность, какая-то опустошенность создавали образ мрачного и нелюдимого поэта, раздраженного на весь мир. Но у меня всегда был в памяти свой Бродский и, занимаясь в литературной критике совсем другими писателями, я всё ждал, когда же среди сотен статей, книг и диссертаций, посвященных его творчеству, я встречу статью, а то и книгу о северном, уже почти фольклорном периоде его жизни.

Так ни разу и не увидел. Критики-почвенники пугались самого имени Бродского, северные краеведы обходили его стороной, критики-западники видели в его архангельской ссылке лишь бессмысленные и, к счастью, недолгие страдания. Не верили ни признаниям самого поэта, ни воспоминаниям друзей, ни отзывам Анны Ахматовой.

Как-то меня занесло на месяц в одну из самых любимых поэтом стран — в Швецию, где он бывал почти каждое лето в последние десять лет своей жизни, спасаясь от нью-йоркской жары и погружаясь в привычную для него балтийскую атмосферу. Здесь он был почти дома, здесь спасался от ностальгии по Северу, здесь в 1990 году женился на Марии Соццани. Я ходил по лесам и каменистым завалам острова Форе, неподалеку от дома, где жил всемирно известный кинорежиссер Ингмар Бергман, а в голову приходили строчки, сочиненные Иосифом Бродским на острове Торе, тут же, неподалеку от Готланда, где он на даче скандинавских друзей укрывался от донимавшей его всемирной славы и писал чу́дные стихи и о России, и о Швеции.

> Вот я и снова под этим бесцветным небом,
> Заваленным перистым, рыхлым, единым хлебом.
> <…>
> Я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе
> Серой каплей зрачка, вернувшегося восвояси…

И на самом деле, поразительно схожи мои родные карельские, архангельские лесные, озерные, гранитные пространства, наполненные грибами и рыбой, пушным зверьем и чистейшей водой, с этими шведскими землями. И тот же балтийский привычный климат.

> О, облака

Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
Я не видел пока.

А Стокгольм так похож на Петербург своими мостами, гранитными набережными, памятниками шведским королям. Бенгт Янгфельдт, шведский друг Бродского, вспоминает, как поэт предпочитал ютиться пусть в маленьких номерах, но с видом на Балтику. Плеск балтийской воды компенсировал все недостатки жилья. Правда, он раздражался от современной живописи на стенах квартирок, подбираемых ему: «Аскетически белые стены были увешаны того рода „современным“ искусством, которое Бродский не выносил… В этой смеси психбольницы с музеем современного искусства он видел объяснение тихому скандинавскому помешательству, как оно выражается, например, в фильмах Ингмара Бергмана…» Впрочем, и сам Бергман, очевидно, сбежал на остров Форе подальше от этих гримас художественного глобализма, доказывающих человеку, по мнению Бродского, «какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали». Поэт любил бродить в стокгольмских шхерах. «Та же природа, те же волны и те же облака, посетившие перед этим родные края, или наоборот; такая же — хотя более сладкая селедка и такие же сосудорасширяющие — хотя и более горькие — капли». Янгфельдт имеет в виду очень хорошую, любимую Бродским шведскую водку «Горькие капли», которую успел распробовать и я по примеру поэта. На острове Торе он, так же как и я сейчас, выбирал пейзаж с видом на средневековые развалины и морские волны, где и писал свои северные стихи, признаваясь, что его ностальгирующий глаз «предпочел поселиться где-нибудь… <… > в Швеции».

Вот потому, попав на месяц на остров Готланд, в уютный домик Балтийского центра писателей, расположенный на горе прямо напротив шедевра XIII века, великолепного храма Святой Марии, а дальше вниз насколько видит глаз — красные крыши шведских домиков и море, море и море, — я остановился на своем литературно-критическом герое Иосифе Бродском, который и премию-то Нобелевскую получал поблизости от этого места. В тиши как бы воскресшего средневековья и мирно бредущих овечек, среди развалин крепостей викингов, внимая теням дважды побывавших здесь русских воинов и моряков, чьи корабли под Андреевским флагом не единожды бросали якоря в бухте, где сейчас останавливается паром «Готланд», приходящий дважды в

день из Стокгольма, — о ком еще я мог писать, «припадая к родной, ржавой, гранитной массе»?

Я выбирал своего возможного героя еще в Москве. И впрямь: не писать же в серых пространствах осенней Балтики о цветистом ориентальном Тимуре Зульфикарове? Писать о нашем дервише поэзии необходимо в другом пространстве, имея другой, восточный вид из окна. Не подходил и шумный дебошир с колючими исповедальными стихами Леонид Губанов — о нем я буду писать в самой Москве с ее нервическими ритмами жизни и постоянными перепадами людского давления. Из выбранных мною для книги о поэзии XX века и ждущих своей очереди героев подходили к северной, балтийской атмосфере Готланда только двое — Николай Клюев и Иосиф Бродский. Но моему олонецкому земляку Клюеву не хватало на шведской островной земле русской фольклорности и трагической заброшенности, не хватало чистоты русской народной культуры. Как считал Бродский: «В Клюеве очень силен гражданский элемент: „Есть в Ленине керженский дух“. У него, как и у всякого русского человека, постоянно ощущаешь стремление произнести приговор миру. Да и лиризм, музыкальность стиха у Клюева… это лиризм секты… Русский поэт стихами пользуется, чтобы высказаться, чтобы душу излить». Да, холодная средневековая серость Готланда не для кержацкого поэта. Здесь мне понадобится где-нибудь по весне олонецкая изба. Николай Клюев из русских гениев XX века ближе всех к народной культуре, а тяготение Бродского к творчеству Клюева — еще одно свидетельство близости элитарного поэта к народным, северным корням.

Иосифу Бродскому, балтийскому отшельнику, с его всепоглощающей любовью к Балтике в любом его отрезке времени и пространства, несомненно близка и островная скалистобережная природа Готланда, несомненно близки балтийские стихи лучших классических поэтов Швеции, к примеру, Карла Микаэля Бельмана:

А ты размякни, старина,
и похвали подлунный мир,
видать, судьба у нас одна,
так вместе кончим пир… —

или же Эрика Густава Гейера с его знаменитым «Викингом», неспособным жить без все того же Балтийского моря:

Но мне не жаль, что я мало жил,
Что недолог был быстрый полет.

К великому храму божественных сил
Не одна дорога ведет.
Седые валы поют на ходу
Надгробную песнь — и могилу найду
Я в море.
Так после крушения викинг пел.
Он с морем боролся, крепок и смел,
А море играло добычей…

Поэтому я с радостью остановился для этой рабочей поездки на Бродском. Так же как он выбирал для животворного воздействия родных балтийских просторов скандинавские берега, для понимания и душевного прочтения его стихов я выбрал домик на Готланде с заботливыми хозяйками Леной и Гердой. Атмосфера в моей комнате с видом на стены крепости спокойная и творческая, не раз именно здесь останавливались близкие друзья Бродского, может быть, о нем и писали? Незадолго до смерти здесь жил белорус Василь Быков. «За трудный, ветреный, холодный, но и замечательный апрель бесконечно…» благодарную запись Балтийскому центру в комнатной книге отзывов оставил писатель. В той же книге Женя Попов, о котором я первым из критиков написал добрые слова после первых его рассказов в «Новом мире», пожелал удачи всем, кто остановится в этой комнате после него, значит, и мне. Надеюсь, удача ждет и мои записи об Иосифе Бродском, поэте трудном, ветреном, холодном, но и замечательном, как апрель на шведском острове Готланд…

А теперь я перехожу к необычному для Бродского, но оказавшемуся крайне важным для всего его творчества мотиву — северному смирению поэта в архангельской ссылке, в деревне Норенской. Получилось, что его как бы сослали в народ. Были и до этого у Бродского стихи о деревне, к примеру, еще в 1961 году:

В деревне никто не сходит с ума.
По темным полям здесь приходит труд.
Вдоль круглых деревьев стоят дома,
В которых живут, рожают и мрут.
<…>
Господи, Господи, в деревне светло,
И все, что с ума человека свело,
К нему обратится теперь на ты.
Смотри, у деревьев блестят цветы…

Совершенно каноническое, композиционно простое и мелодичное стихотворение, может быть, навеянное классическими примерами.

Да и с Русским Севером поэт познакомился задолго до ссылки. Неожиданно для себя я нашел его фотографию 1958 года — молодого паренька на коне в деревне Малошуйке той же Архангельской области. Когда-то именно здесь, в Малошуйке, мой отец, строитель железной дороги Григорий Бондаренко, и тоже на коне, впервые появился пред очами молоденькой семнадцатилетней учительницы начальных классов Валентины Галушиной, будущей моей мамы.

В том году в геологической экспедиции к северу от Обозерска Бродский боролся с комарами, участвуя в составлении геологической карты Советского Союза. Он таскал геологические приборы, нахаживал в день по 30 километров, забивал шурфы, словом, познавал Север своей шкурой. Эстетических впечатлений почти не осталось, всё комары выпили… «Но если говорить серьезно, то это мои университеты. И во многих отношениях — довольно замечательное время… Это тот возраст, когда все вбирается и абсорбируется с большой жадностью и с большой интенсивностью. И абсолютно на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом». Но поэтических результатов та экспедиция не принесла. Пришлось Русскому Северу подождать второго его открытия уже повзрослевшим ссыльным Иосифом Бродским.

Зачем понадобились этот суд и эта северная ссылка ленинградским властям, и по сей день непонятно. Скорее всего, хотели выслужиться перед московской властью, поучаствовать в кампании — как раз в то время, под занавес хрущевской эпохи, развернулись гонения на фарцовщиков, тунеядцев и прочие «нетрудовые элементы», которые будто бы и мешали ускоренному построению коммунизма. К тому же питерские «органы», ревнуя к утраченному столичному статусу, всегда старались быть суровее московских. Ожидаемых выгод «дело Бродского» никому не принесло, однако его организаторы — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Василий Толстиков, прокурор Ленинграда Сергей Соловьев, судья Дзержинского райсуда Екатерина Савельева, секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Александр Прокофьев, — жили долго и угрызениями совести, скорее всего, не мучились. Провокатор Яков Лернер, с чьего доноса и началось дело, клеветал на Бродского до конца жизни и умер за полгода до него.

Из ленинградских «Крестов» поэта везли через Вологду в тюремном «Столыпине» в Архангельск. Куда — он не знал. Там

же, в этом тюремном вагоне, запомнилась ему встреча с пожилым крестьянином, о которой не раз он вспоминал, когда речь в эмиграции заходила о правозащитном движении. «И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик — ну какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой же — эти мозолистые руки, борода… Он в колхозе… мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек — ни в России, ни на Западе — на его защиту не подымется. Никогда!.. ни Би-би-си, ни „Голос Америки“. Никто. И когда видишь это — ну больше уже ничего не надо… И когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер».

Вот это и была его настоящая встреча с русским народом. В ссылке он впервые в своей жизни соприкоснулся не с имперской Россией, любимой им и ненавидимой одновременно, а с почти не меняющейся крестьянской, древней, в чем-то христианской, в чем-то языческой Русью. Иной пласт языка. Такие же мужики, бабы, дети, те же милиционеры — крестьянские дети — окружали его и на месте ссылки в Коношском районе, что между Вологдой и Няндомой, в южной части Архангельской области. Он сам определил себе деревню, в которой ему пришлось жить — Норенскую, которую, правда, называл всегда «селом Норинским». «Очень хорошее было село. Оно мне еще и потому понравилось, что название было похоже чрезвычайно на фамилию тогдашней жены Евгения Рейна». Жену Рейна звали Галина Наринская — отсюда и ошибка поэта.

Первые его ссыльные стихи были еще с мученическим оттенком. В архангельской пересыльной тюрьме в марте 1964 года он писал почти могильные, обреченные строчки:

Сжимающий пайку изгнанья
В обнимку с гремучим замком,
Прибыв на места умиранья,
Опять шевелю языком.
Сияние русского ямба
Упорней — и жарче огня,
Как самая лучшая лампа,
В ночи освещает меня.
Перо поднимаю насилу,
И сердце пугливо стучит.
Но тень за спиной на Россию,
Как птица на рощу, кричит…

В это время он еще не предвидит для себя ничего хорошего. Всего одну опору он видит для спасения в ссылке — поэзию. Так, впрочем, и оказалось. Одной из главных основ весь период жизни в Норенской для Бродского были книги, переводы и стихи. Он получал из Москвы, из Ленинграда десятки книг. Собралась целая библиотека. Он примерял на себя страдание поэта, соизмерял его с интонационными возможностями стиха, брал темы у Одена, у Элиота. Узнав о смерти последнего, он написал «Стихи на смерть Т. С. Элиота», использовав форму стихотворения Одена на смерть Йетса.

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
Ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
На перекрестках замерзали лужи.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
И дверь он запер на цепочку лет…

Этим погружением в мир найденной, открытой, полюбившейся ему еще в Питере английской поэзии он хотел отдалить себя от реального окружающего мира. От людей, от природы, от медленно тянущегося времени. Именно в ссылке он оценил и возвысил до чрезмерности роль языка и в жизни, и в поэзии. Именно там он окончательно сформировал свою поэтику, напрочь отказавшись от «байронизма», романтического начала, соединив опыты барокко с метафизической лирикой. Именно в ссылке он написал стихотворение «Одной поэтессе», определив в нем свое поэтическое кредо:

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом.
Конечно, просто сделаться капризным,
По ведомству акцизному служа.
К тому ж, вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
Что, зараженный классицизмом трезвым,
Я сам гулял по острию ножа…

Это не только его поэтическое кредо, это еще и пример нового неудавшегося пророчества. Надо же было именно ему, после таких уничижительных строчек в адрес литературного

сарказма, самому вскорости заразиться им!

Его неоклассицизм, как он сам его называет, «нормальный», как вершина айсберга, содержит где-то под водой массив всей мировой культуры. Он наслаждается множеством скрытых цитат из Фроста, Джона Донна, Одена, Элиота или русских Державина, Хлебникова, Баратынского, Цветаевой. В ссылке он полноценно овладевает английским языком, штудирует Т. С. Элиота, У. Б. Йейтса и других, достаточно трудных для чтения, мало кому в России известных поэтов. «Потом, когда я уже был на поселении, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне — видимо, из библиотеки своего отца — книгу Донна в издании „Современной библиотеки“. И вот тут-то, в деревне, я принялся потихонечку Донна переводить. И занимался этим в свое удовольствие на протяжении полутора-двух лет». Там же, в ссылке, он по-настоящему увлекается античностью, мысленно уходя из окружающей его поначалу чуждой действительности в воображаемый мир Римской империи, пишет «Письма римскому другу», сочиняет самые мелкие подробности из давно исчезнувшей эпохи. Совершенно прав Александр Солженицын, когда считает: «Уже ссыльные стихи Бродского начиняются Августой, Полидевком, Эвтерпой, Каллиопой — это, может быть, якорь душевной устойчивости при его растерянности и отчаянии в ссылке». Якорем устойчивости были для него и английские переводы, и письма в ссылку Анны Ахматовой и многочисленных друзей. Якорем устойчивости стал и русский язык, погружение (как оказалось, со времени ссылки до конца жизни) в «отечество слова».

Как считал Бродский, этот путь ему открыл Оден, не самый известный англоязычный поэт. В будущем, уже за границей, Бродский оказался бóльшим популяризатором поэзии Одена, чем все земляки последнего. В посвященном ему эссе он писал: «Случилось так, что следующая возможность внимательнее познакомиться с Оденом произошла, когда я отбывал свой срок на Севере, в деревушке, затерянной среди болот и лесов, рядом с полярным кругом. На сей раз антология, присланная мне приятелем из Москвы, была на английском. В ней было много Йетса… и Элиота… По чистой случайности книга открылась на оденовской „Памяти У. Б. Йетса“. Я был молод и потому особенно увлекался жанром элегии, не имея поблизости умирающего, кому я мог бы ее посвятить… Наиболее интересной особенностью этого жанра является бессознательная попытка автопортрета, которыми почти все стихотворения „in memoriam“ пестрят… В стихотворении Одена ничего подобного не было… Именно… из-за восьми строк третьей части я понял, какого поэта я читал…

Время, которое нетерпимо
К храбрым и невинным
И быстро остывает
К физической красоте,
Боготворит язык и прощает
Всех, кем он жив;
Прощает трусость, тщеславие,
Венчает их головы лавром…

Я помню, как сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел… Я просто отказывался верить, что еще в 1939 году английский поэт сказал: „Время… боготворит язык“… И не является ли тогда язык хранителем времени?.. И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь… <…> игрой, в которую язык играет, чтобы реорганизовать время? И не являются ли те, кем „жив“ язык, теми, кем живо и время?»

И, продолжу я вслед Бродскому, те, кто убивает сегодня русский язык, русскую поэзию, кто осознанно принижает тех, кем «жив» язык, — не являются ли убийцами русского времени?

Отойдя от позы страдальца и мученика, поэт стал сосредоточенно вслушиваться в язык северной деревни. Именно через язык произошло сближение, а затем и дружба элитарного поэта Иосифа Бродского с русскими крестьянами. Он понял сакральную суть русской избы. Недаром он с иронией пишет, что портреты тех или иных вождей, тот же «железный Феликс» и прочая парадная живопись могли украшать любые кабинеты, залы, больницы и даже городские квартиры. «Единственное место, где я не видел ее, — крестьянская изба». Только оценив народный язык, он оценил и красоту просторечия, и глубину русского фольклора, через народный язык начал познавать русский дух, отождествлять себя с народом и не стыдиться принадлежности к нему.

И вновь повторю: прав Солженицын, поживи Бродский подольше в деревне — и от русской словесности он бы пришел к русскому национальному сознанию так же, как от языка поэзии он пришел к языку народа. «Я думаю, что у России… я бы сказал так (хотя это несколько рискованное заявление): самое лучшее и драгоценное, чем Россия обладает, чем обладает русский народ — это язык. И всякий, кто пользуется языком добросовестно, паче того — с талантом, должен быть народом уважаем, чтим, любим. Самое святое, что у нас есть — это, может быть, не наши иконы и

даже не наша история — это наш язык». Вряд ли без северной ссылки пришел бы он к такому заключению. Англичанин Уистен Оден парадоксальным образом помог молодому русскому поэту оглядеться вокруг себя и услышать язык, на котором говорит его народ. Русский народ. Лишь в первый период отчаяния, когда он, отвлекаясь от чтения присланных ему английских антологий, писал о личном, возникали стихи, полные страдания, печали и уныния:

Здесь, захороненный живьем,
Я в сумерках брожу жнивьем…
Замерзшую ладонь прижав к бедру,
Бреду я от бугра к бугру,
Без памяти, с одним каким-то звуком,
Подошвой по камням стучу.
Склоняясь к темному ручью,
Гляжу с испугом…

Поначалу он копировал героев крестьянских стихотворений Роберта Фроста, но потом пришла своя, кровная связь с природой, с народом.

Если внимательно читать, следуя хронологии, его северные стихи, вынося за скобки стихи на античные мотивы, послания друзьям и переводы, виден постепенный уход поэта от темы отчаяния и отчуждения, медленное, но неуклонное сближение с Русским Севером, с пространствами полей и лесов, с живностью, населяющей эти пространства, с неодушевленными предметами, окружающими его в деревенской избе.

Забор пронзил подмерзший наст
И вот налег плечом
На снежный вал, как аргонавт —
За золотым лучом.

Иосиф Бродский, пожалуй, первым в русской поэзии реабилитирует серый цвет, серость как цветовое и природное понятие. Он сам называет себя «маньяком серого цвета». Это очарование серым цветом пришло еще в Ленинграде, на родной Балтике.

Смотри, смотри, приходит полдень,
Чей свет теплей, чей свет серей,
Всего, что ты опять не понял

На шумной родине своей.

И наше очарование Севером неразрывно связано с восхищением его природной, каменной, водной, озерной серостью. Даже цвет нашего северного неба, как правило, — серый, и стены старых заброшенных крепостей — тоже серые. Только поэт мог смело реабилитировать северную серость, подняв ее на щит. «Промозглость», «серость» становятся приметами всего северного края. Второе такое же знаковое слово для Русского Севера — «деревянный». Об этом слове поэт напишет чуть ли не целое исследование в его защиту от ретивых реформаторов русского языка. (Кстати, неплохо бы и Владимиру Крупину в борьбе против угрожающей нам языковой реформы использовать самые «охранительные» языковые концепции Иосифа Бродского. Если чиновники из Министерства образования не хотят прислушиваться к русским почвенным писателям Распутину или Крупину, может быть, они прислушаются к консервативному призыву нобелевского лауреата?)

Освоившись в ссылке, поэт уверяет: «Мне юг не нужен». Уже поется песнь и распутице, и кустарникам, скребущим по борту. «Воззри сюда, о друг- / потомок: / во всеоружии дуг, / постромок, и двадцати пяти / от роду, / пою на полпути / в природу». Все внимательнее и приветливее «с грустью и нежностью» замечает поэт приметы окружающей его жизни, от кричащих ворон до дома, придавленного тучами (кстати, тоже серыми) до земли, и поэтому «все-таки внутри никто не говорит о непогоде». Иные его строчки схожи со строчками Николая Рубцова, поэта северной деревни.

Отскакивает мгла
От окон школы,
Звонят из-за угла
Колокола Николы…

Великий урок дает ему не судья Савельева, не карающие власти, не воспевающая его как мученика рефлексирующая интеллигенция, а сама деревенская жизнь. К поэту приходит новое понимание мира. Вроде бы «колоссальное однообразие в итоге сообщает вам нечто о мире и о жизни… И постройки там соответствующие… Дома деревянные, а дерево это — словно выцветшее… [Люди], как правило, русоволосые. То есть того же самого цвета. И одеваются они так же. В итоге цветовая гамма там абсолютно единая. Я всегда говорю, что если представить

цвет времени, то он скорее всего будет серым. Это и есть главное зрительное впечатление и ощущение от Севера».

И позже он, когда вспоминает о Севере, обязательно передает северный спокойный серый тон:

> У северных широт набравшись краски трезвой,
> (иначе — серости) и хлестких резюме,
> ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий
> как собственной родни, глаз больше не бздюме…

В северных пространствах поэт видит спасение для своей души, находит успокоение от всех страхов предыдущих дней. Приходит непривычная для поэта пора смирения — не перед властями, не перед судом, не перед соперниками по литературе — народного смирения перед миром и жизнью, в конце концов, перед Богом:

> Так шуми же себе
> В судебной своей судьбе
> Над моей головою,
> Присужденной тебе,
> Но только рукой (плеча)
> Дай мне воды (ручья)
> Зачерпнуть, чтоб я понял,
> Что только жизнь — ничья…

В северные его стихи густо вплетается любовная лирика. Иногда и не отделить, где северный пейзаж, где его боль за скудость и тяготы народной жизни, а где — личная боль и тоска по любимой. Ведь именно завершающее северную тему стихотворение о деревне, затерянной в болотах, так поразило требовательного к Бродскому Наума Коржавина. Стихотворение, пишет он, «неотделимо от сути, от боли, которая нарастает. Как неотделима от автора скудость деревенской жизни, которую он в себя вобрал, хотя и не стал ее частью… и с которой связана его личная боль… Автор не ставит и не решает проблемы сельской жизни, он просто чувствует людей, которые в этой жизни остались, которые за время его пребывания в ней стали ему со всеми своими будничными заботами более понятны и по-своему даже близки… Трудно представить человека, которому оно бы не понравилось. Положительно сказался на поэте отрыв от дружного коллектива поклонников — он стал слышать себя и мир!».

Он помнит и всех близких ему односельчан, от коношского

майора милиции Одинцова, «совершенно замечательного человека», до крестьян, у которых жил в Норенской:

Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
А как жив, то пьяный сидит в подвале,
Либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
Говорят, калитку, не то ворота…

Кстати, тема деревни уже годы спустя после ссылки вновь и вновь появляется в стихах Бродского, и видно даже по деталям, что эта мысленная деревня все та же — северная Норенская. А слово «деревянный» становится со времен ссылки одним из самых любимых в стихах поэта. Кстати, изменение словаря Иосифа Бродского со времен его архангельской ссылки — интересная тема для исследования, которая еще ждет своего автора.

Но вернемся к поэту, в его тихую избушку, которую он снимал то у крестьянки Таисии Пестеревой, то у Константина Борисовича Пестерева и его жены Афанасии Михайловны. Попробуем понять, почему поэт неоднократно в своих интервью признавал, что «это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше — пожалуй, не было».

Во-первых, погружение в поэзию вдали от навязчивой богемной братии — это неплохо. Отсутствие тусовки дает время для вдумчивой работы, и ее было предостаточно. Настоящее знакомство с многими поэтами, от Роберта Фроста до Николая Клюева. «Ну, работа там какая — батраком! Но меня это нисколько не пугало. Наоборот, ужасно нравилось. Потому что это был чистый Фрост или наш Клюев: Север, холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пейзаж…» Можно было представить себя Фростом, выкорчевывая камни из земли. Постижение Одена и Элиота, открытие значимости поэтического языка, языка вообще в жизни человечества.

Во-вторых, это был, пожалуй, самый яркий период его любви, самый счастливый период, особенно когда Марина приехала к нему в деревню, и так ладно они жили, что вспоминает Таисия Пестерева: «Приезжали. Отец Александр Иванович… Марина, жена вроде. Тогда они уходили в другую горницу. Иосиф говорил: „Таисья Ивановна много работает, у нее коровы, телки. Ей отдыхать надо“. И разговаривали очень тихо. А часто вечерами и ночами он чего-то писал…» Деревенская семейная идиллия, и только.

Пусть же в сердце твоем,

Как рыба бьется живьем
И трепещет обрывок
Нашей жизни вдвоем.

Там, в ссылке, были написаны «Пророчество», «Новые стансы к Августе», «Северная почта» и еще многие из лучших стихов поэта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четвертого сентября 1965 года, уже при новом генсеке Брежневе, Верховный Совет СССР занялся судьбой «тунеядца» Бродского, сократив ему срок наказания с пяти лет до реально отбытых восемнадцати месяцев. Причиной этого стали как просьбы советских и зарубежных деятелей культуры, так и борьба нового руководства с «перегибами» хрущевских времен. Правда, то ли по чьей-то злой воле, то ли по обычному разгильдяйству постановление об освобождении поэта было отправлено вместо Архангельской области в Вологодскую, и он был освобожден только 23 сентября. Почему-то сначала он поехал не домой, где его ждали родители, а в Москву, где прожил почти месяц, выступал в интеллигентских салонах и даже читал стихи студентам МГУ.

По возвращении в Ленинград он по рекомендации Корнея Чуковского был принят в профгруппу при городском Союзе писателей, что спасало его от новых обвинений в тунеядстве. Однако положение его было неопределенным: переговоры о публикации в журналах и даже об издании книги закончились ничем, а после чехословацких событий 1968 года стало ясно, что путь в советскую литературу для Бродского закрыт окончательно. Памятником этому периоду стала написанная на Рождество 1967 года «Речь о пролитом молоке», полная язвительных жалоб на жизнь:

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости…

В стихотворении досталось всем: и неверной возлюбленной («Зная мой статус, моя невеста / Пятый год за меня ни с места»), и родителям, ожидающим от единственного сына устройства в жизни («Они считают меня бандитом, / издеваются над моим аппетитом. / Я не пользуюсь у них кредитом. „Наливайте ему пожиже!“»). Из душной ленинградской безысходности поэт тянется к Богу, к русской природе («Я люблю родные поля,

лощины…»), повторяя как заклинание: «Зелень лета вернется». Почти физически чувствуется, как ему, обновившемуся душой в ссылке, неуютно в родных когда-то городских интерьерах, как скучны для него богемные компании с их лицемерными похвалами и тайной завистью. Год за годом положение не менялось: работы не было, редкие публикации переводов и детских стихов не спасали положения. Марина, родив ему сына, ушла окончательно, личная жизнь была столь же неустроенной, как карьера. Все чаще единственным выходом для него казалась эмиграция.

Будучи «никем» в официальной советской иерархии, Бродский имел большой авторитет в культурной среде обеих столиц. Его оценка много значила для любого молодого поэта. Довелось ему сдвинуть и мою судьбу. В ранней литературной юности, обитая в том же Ленинграде, что и вернувшийся из ссылки Бродский, я не раз бывал на поэтических вечерах, где выступал он со своими друзьями. Стихи его мне тогда казались ужасно традиционными, правильными и классическими до невозможности, но слава его уже гремела. Не скрываю, мне было лестно познакомиться с ним и почитать ему свои стихи. Он надписал мне как-то после одного из вечеров свою первую американскую книгу 1965 года, небрежно подчеркнув ее несовершенство, и пригласил к себе домой в «полторы комнаты», взяв у меня пачку стихов. Был я в те годы ужасным леваком, обожал весь русский авангард; Женя Ковтун, мой приятель из Русского музея, открывал для меня Малевича и Кандинского в подлинниках; я дневал и ночевал у сестры Павла Филонова Евдокии Николаевны Глебовой, был вхож в кружок Стерлигова, самонадеянно считал себя левее обэриутов, ничевоков и прочих биокосмистов, дружил с такими же леваками и в поэзии, и в живописи.

Шел 1967 год, и кому-то из организаторов октябрьских юбилейных торжеств пришло в голову пригласить для праздничного оформления набережной из Москвы группу художников-кинетов во главе с Львом Нусбергом и Франциском Инфанте, ныне широко признанным авангардным живописцем. Рисунок его и сейчас украшает мое жилище. Жили они в Петропавловской крепости, и я перебрался из студенческого общежития почти на месяц к ним в каземат, писал по просьбе Нусберга какие-то манифесты, лозунги… Лев и представил меня тогда — впервые в моей жизни — писателем. Не знаю, помнит ли Евгений Борисович Рейн, но и он бывал в тех кинетических казематах, и именно с его рекомендацией я попал в коммуналку к Иосифу Бродскому с пачкой своих стихов. Что-то Бродский

похвалил, что-то предложил упростить, но в конце концов разошелся, разозлился и, как школьный учитель, разложил по полочкам всю мою, да и не только мою, авангардистскую дрянь. Он терпеть не мог форму ради формы: если нет великого замысла, то нечего и писать. Все эти словесные эксперименты его раздражали. Он был уже законченным классицистом и антиавангардистом, если не консерватором и не раз выражал достаточно четко свое консервативное отношение к смыслу литературы: «Жизненный путь человека в мире лежит через самосовершенствование. Ты начинаешь писать стихи не для того, чтобы писать стихи, а чтобы писать все лучше и лучше. Но не для того, чтобы быть хорошим стихотворцем, а для того… Ладно, придется все-таки сказать это слово: душа. Но в этом направлении гораздо лучше преуспеть в стиле… Так что мастерство всегда плетет заговор против души…»

Нечто подобное Бродский говорил и мне: что в авангарде 1960-х годов он видит затхлость и нечто, уже пахнущее молью, и нет смысла писать стихи, лишенные смысла: «В этом смысле я не в авангарде, а в арьергарде, как и Анна Андреевна Ахматова». Кстати, в той нашей беседе его ссылки на Анну Андреевну были постоянными, да и упор на простоту стиха, понятность мысли шел как бы от нее. Всё сказанное им я сразу же записал и даже напечатал тогда же в нашем рукописном журнальчике, который мы выпускали вместе с моими друзьями и который ныне хранится в моем архиве. И несколько раз повторялось по отношению к словесным экспериментам тех лет «дрянь, дрянь, дрянь».

Не думаю, что с моим максималистским характером он сильно бы повлиял на мои попытки перевернуть мир искусства, но, признаться, мне и самому надоели эти звуковые головоломки и шарады из крестиков и ноликов, я уже достаточно начитался к тому времени блестящих поэтов Серебряного века, продающихся во всех букинистических магазинах за сравнительно низкую даже для студента цену, от ничевоков перешел к Николаю Гумилеву и Велимиру Хлебникову, а потому с интересом внимал столь «мракобесному» разбору уже нашумевшего в Питере поэта, вернувшегося не так давно из моих родных поморских земель. Расспрашивал я его и о северных впечатлениях, ибо к его ссылке относился несколько иронично: на тех же землях, где он якобы страдал целых 18 месяцев, веками жили мои предки, да и тогда, в 1960-е, немало моих родичей было разбросано по архангельским деревням — десятки Галушиных и Латухиных. Впрочем, и я сам школьником на картошке в таких же северных деревнях месил ту же грязь почти каждый сентябрь, начиная с восьмого класса. Не мнимые мучения меня интересовали, а впечатления поэта,

впервые побывавшего на глубинной русской земле. И я был рад услышать самые восторженные слова и о природе Севера, и о моих земляках, и о русской народной культуре. «Вот у них и учись поэзии», — сказал мне в завершение разбора-разгрома этот далеко не самый народный поэт.

С поэзией я и на самом деле с тех пор решительно завязал. Кстати, примерно так же вслед за мной завязал со своим модернизмом и критик из «Нашего современника» Александр Казинцев, когда-то начинавший со стихов в кругу Сергея Гандлевского. Да и кто в молодости не был радикалом? А северные стихи Иосифа Бродского — некоторые из них он читал мне тогда же на нашей встрече — я до сих пор считаю лучшими в его творчестве. Со мной спорили мои друзья, называя эти стихи вынужденными, покаянными, покорными. Другие друзья вообще при имени Бродского фыркали и ухмылялись. Тем временем поэт уехал в Америку открывать мировую культуру, не раз менял свою стилистику, порывая с романтизмом, разбавляя совершенный классицизм жаргоном, то уходя в имперские мотивы (и надо сказать, удачно), то ломая свой стих под английский канон, что приводило и к неизбежной холодности стиха, и к непривычному построению строфы. Многое из его американской поэзии я не приемлю. Во многом я согласен с критикой в его адрес и Александра Солженицына, и Наума Коржавина. «Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике — это человеческой простоты и душевной доступности… Запад! Запад Бродскому люб — и не только потому, что в нем господствует Нравственный Абсолют, и не только потому, что он основан на индивидуальности и приоритете частной жизни; хотя в приверженности к демократии Бродского не упрекнешь: ни в чем не проявлена… Он был всегда — элитарист, так и говорил откровенно. Он — органический одиночка…»

Но все эти жесткие слова я бы отнес к позднему периоду творчества поэта. Кстати, и самые убийственные примеры Солженицын берет именно из поздних его стихов. Я бы так сформулировал свое отношение к Бродскому: поэт родился и вырос в русской культуре, был русским поэтом, позже он попробовал уйти из русской культуры в англоязычную, в культуру новых имперских победителей, но у него с этим переходом почти ничего не получилось. И все его поздние провалы — это как чужая одежда, пусть и броская, и модная, и красивая, но не налезающая на его бренную плоть. Мешает все та же русскость. Вот и приходится вырывать, если не серафиму, то критикам, то

здесь, то там, — его грешный, меру не знающий язык, чтобы «он трепыхался, поджидая басурманина, / как флаг, оставшийся на льдине от Папанина». Прививка англоязычной культуры, так же как и античной, к культуре русской всегда полезна, но было потеряно чувство меры. Может быть, он думал, что благодаря своему пластичному еврейству легко снимет русский костюм и вырядится во все английское? Не получилось. Русскость в нем оказалась глубже, чем он предполагал. Потому и в поздний свой период, наряду с холодными, затянутыми и, увы, часто бессмысленными стихами, вдруг неожиданно прорывается живая кровь поэзии. И что-то берет за душу и вновь околдовывает:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
Щепотка сегодня, крупица вчера,
И к пригоршне завтра добавь на глазок
Огрызок пространства и неба кусок.
<…>
а если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

Это написано за год до смерти поэта.

«Я ПЕРЕСЕК ЧЕРТУ…»

К 1972 году Иосиф Бродский своим независимым поведением порядком поднадоел всем контролирующим органам в Ленинграде. Арестовать его без большого шума уже было нельзя, да и не за что — в политику поэт никогда особенно не лез. Но и выпускать просто так, на время за границу для выступлений и публикаций не хотелось. Было, наверное, и мстительное злопамятство конкретных людей из органов или из Ленинградского обкома, вынужденных отменить приговор Бродскому под давлением Москвы. Сам Бродский за границу после ссылки особенно не рвался, он дорожил и родным городом, и родителями, и любимой Мариной. Его вполне бы устраивала возможность, подобно Евтушенко, Вознесенскому или питерскому земляку Виктору Сосноре, время от времени выезжать за рубеж по приглашениям. К тому же в 1970-е годы эмиграция, вынужденная или добровольная, означала пожизненное расставание с родиной и близкими.

Когда-то пытавшийся улететь на самолете в Персию, Бродский, осознав себя русским поэтом, оставил и мечты о эмиграции. Но теперь об этом возмечтали сами карательные органы. Перед приездом президента США Ричарда Никсона в Москву была вновь разрешена еврейская эмиграция, закрытая после разрыва дипломатических отношений между СССР и Израилем в 1967 году. Почему бы и не избавиться от столь независимого гражданина? Насколько известно, Бродский на самом деле получил официально заверенный израильскими властями вызов с приглашением переехать на родину предков.

В мае 1972 года поэта неожиданно вызвали в отдел виз и регистрации ленинградской милиции (ОВИР). Впрочем, доверимся памяти самого Бродского, рассказавшего эту историю в интервью Адаму Михнику уже в 1995 году: «Я знал, что из ОВИРа гражданам просто так не звонят, и даже подумал, не оставил ли мне наследство какой-нибудь заграничный родственник. Я сказал, что освобожусь довольно поздно, часов в семь вечера, а они: пожалуйста, можно и в семь, будем ждать. Принял меня в ОВИРе полковник и любезно спросил, что у меня слышно. Все в порядке, отвечаю. Он говорит: вы получили приглашение в Израиль. Да, говорю, получил; не только в Израиль, но и в Италию, Англию, Чехословакию.

А почему бы вам не воспользоваться приглашением в Израиль, спрашивает полковник. Может, вы думали, что мы вас не пустим? Ну, думал, отвечаю, но не это главное. А что? —

спрашивает полковник. Я не знаю, что стал бы там делать, отвечаю.

И тут тон разговора меняется. С любезного полицейского „вы“ он переходит на „ты“. Вот что я тебе скажу, Бродский. Ты сейчас заполнишь этот формуляр, напишешь заявление, а мы примем решение.

— А если я откажусь? — спрашиваю. Полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки.

Я три раза сидел в тюрьме. Два раза в психушке… и всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю. Где эти бумаги? <…> Это было в пятницу вечером. В понедельник снова звонок: прошу зайти и сдать паспорт. Потом началась торговля — когда выезд. Я не хотел ехать сразу же. А они на это: у тебя ведь нет уже паспорта».

Через три недели после звонка из ОВИРа, 4 июня 1972 года, Иосиф Бродский вылетел из аэропорта Пулково в Вену. В день отъезда он и послал Леониду Брежневу письмо, где писал о своей принадлежности к русской литературе, которую невозможно куда-то выслать. Он был по-настоящему растерян, ибо не знал, что его там, за чертой, ждет. Что случится с его поэзией?

В венском аэропорту его ждал глава издательства «Ардис» Карл Проффер, а уже через день он с Проффером ехал на встречу с великим англо-американским поэтом Уистеном Хью Оденом. Большой дружбы не получилось, да и Оден был уже не в той форме: это была, скорее, встреча двух поколений, двух поэтик, двух великих культур. Общение со своим поэтическим кумиром смягчило для Бродского контраст от перемещения в другой мир, в другую цивилизацию. Впрочем, его английский был еще недостаточно хорош, и потому он больше слушал Одена, чем говорил. Слушал, наблюдал, задавал короткие вопросы. Вместе с Оденом он вылетел из Вены в Лондон на международный поэтический фестиваль в июле 1972 года. В письме своему другу и будущему биографу Льву Лосеву Бродский не без восхищения пишет о своих впечатлениях от встреч с Оденом:

«Первый *martini dry* [сухой мартини — коктейль из джина и вермута] *W. H. Auden* выпивает в 7.30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью *sherry* [хереса] и *scotch* ’а [шотландского виски]. Потом имеет место *breakfast* [завтрак], неважно из чего состоящий, но обрамленный местным — *pink and white* [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и — наверно потому, что пишет шариковой ручкой — на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса *bottle* [бутылка] или *can* (банка) *Guinnes’*а, т. е. черного *Irish*

[ирландского] пива. Потом наступает ланч — 1 часа дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (*Imean cocktail* [я имею в виду коктейль]). После ланча — творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го *martini-dry* и приступает к работе (*introductions, essays, verses, letters and so on* [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время *scotch* со льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7–8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое *chateau d'…* [„шато де…“, то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется — железно в 9 вечера.

За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской *Die Presse,* украшенной моей *Jewish mug* [жидовской мордой]».

Сама судьба повернулась к нему лицом и помогла бережно перевернуть страницу его жизни. Карл Проффер сразу же предложил Бродскому поработать в США, в Мичиганском университете в качестве «поэта-в-присутствии», вести своего рода творческую мастерскую для любителей поэзии. Эта неутомительная работа давала возможность поездить с выступлениями по разным городам Америки. Тогда Бродский жил недалеко от Детройта, в Энн-Арборе, откуда ездил к своим студентам в Мичиганский университет. Читал студентам стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама и разбирал их по строчкам. Те, кто ценил поэзию, внимали ему, остальные отсиживались или занимались своими делами. Заодно он исколесил весь Североамериканский континент, включая Мексику. Охотно ездил с выступлениями и по Европе, подолгу задерживаясь в Париже, Лондоне, Дублине, Риме, Амстердаме, Венеции. Он с жадностью неофита открывал для себя весь мир.

Да, в западном мире ему с самого начала эмиграции сопутствовало небывалое везение, которое никак нельзя объяснить ни его еврейством (мало ли еврейских эмигрантов, и даже вполне талантливых, приезжало в те годы в Америку), ни даже его талантом (увы, немало больших талантов получали признание уже после своей смерти). В русской литературной эмиграции «третьей волны» он очень быстро стал первой величиной. Даже из старшего поколения такую же известность снискали, пожалуй, лишь Александр Солженицын и Владимир Набоков, более никто. Хватало и завистников, которые непрерывно писали о «мафии Бродского», нацеленной на

Нобелевскую премию, о его умелой организации своей ссылки на Север и своего изгнания или же о его поддержке всем мировым еврейством. По-моему, завистники первыми и напророчили Иосифу Бродскому Нобелевскую премию. Но почему не Науму Коржавину, тоже незаурядному поэту? Почему не Василию Аксенову? Почему не Сергею Довлатову или Юзу Алешковскому?

И книги у него новые выходили, и в жизни всё обустраивалось: в 1981 году он из тихого Энн-Арбора переехал в Нью-Йорк, на уже широко известную всем бродсковедам Мортон-стрит, небольшую тихую улочку в западной части Гринвич-Виллидж. За все американские годы он поработал в шести университетах, в том числе в Нью-Йоркском и Колумбийском. В должной мере обеспечив себя грантами, а особенно после получения «премии гениев» в 1981 году, он смог оставить преподавательскую работу и целиком отдаться стихам, чтению, путешествиям — трем вещам, которые увлекали его, пожалуй, в равной мере.

Поразительно, что шквал критики в его адрес раздавался в те годы не из Советского Союза, где о нем молчали, а из самых либеральных эмигрантских кругов. Одни литераторы были недовольны тем, что Бродский отстраняется от активного антисоветизма и прямо заявляет, что не намерен в чем-то обвинять свою родину. Другие были уверены, что он работает на КГБ — иначе почему его так легко отпустили сперва из ссылки, а потом и из страны? Не удержались от травли поэта ни Лев Наврозов, ни Наум Коржавин, ни Эдуард Лимонов, ни даже художник Михаил Шемякин, который написал, что поэзия Иосифа Бродского «рассчитана на то, что ее прочтут „люди с Литейного и с Лубянки“, поймут и оценят, какой вы хороший». Так и возникли известные стихи «Меня упрекали во всем, окромя погоды…», направленные отнюдь не в адрес Кремля.

Сегодня же, наоборот, в тех же эмигрантских либеральных кругах преувеличивают его антагонизм с властью, чуть ли не боязнь мести советских карательных органов, уверяют в его вечной нелюбви к России. К примеру, некий Виктор Финкель пишет в «Новом русском слове»: «Это чувство преследуемого сохранилось в Поэте навсегда, даже много лет спустя в спокойной обстановке 1987 года („Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…“), в условиях жизни признанного и ни от кого не зависящего мэтра поэзии. Вероятно, в глубине души он сохранил ощущение загнанности, настороженной затравленности… Добавьте сюда и то, что он всегда допускал возможность сведения с ним счетов тоталитарным монстром, проигравшим схватку вчистую и способным послать ликвидаторов».

Прямо детектив какой-то, абсолютно ни на чем не основанный! Конечно, в разные годы Бродский высказывал немало скептических мыслей по поводу событий в России — как, впрочем, и в других странах. Но делать из него отчаянного русофоба на этом основании могут или закосневшие в ненависти к России русскоязычные эмигранты, или такие же радикальные ура-патриоты. И те и другие не останавливаются перед передергиваниями и умалчиваниями, но человек непредвзятый, не склонный к наклеиванию ярлыков, отдаст должное независимости взглядов и высказываний Бродского. По своей жизни, особенно в начале эмиграции, после пересечения черты между прежней и новой жизнью, он был гораздо более путаный, непоследовательный и противоречивый человек, отстаивающий прежде всего свою личность, право на собственную точку зрения. Сводить всё его творчество — и любовные элегии (к примеру, «Прощайте, мадемуазель Вероника»), и обращения к античности, к Тезеям и Минотаврам — к мнимому отторжению от России, к разрыву со своим прошлым просто нелепо и неграмотно. Пожалуй, если всерьез, то, на мой взгляд, все претензии к покинутой отчизне, да еще учитывая невольную тягу любого эмигранта к самооправданию, он высказал в стихотворении «Пятая годовщина», написанном к пятилетию отъезда из России. Но, с другой стороны, если бы Россия для него уже ничего не значила, разве стал бы он вспоминать каждый год прощание с ней, отмечать эту печальную годовщину?

Вряд ли бывшие заключенные год за годом отмечают свое время выхода из тюрьмы, они стараются скорее забыть о ней. А в эту «Пятую годовщину» вплетаются не только воспоминания о лужах, пивных и тюрьмах, но и пушкинское Лукоморье, и лермонтовский Терек, и Гагарин, летящий к звездам. Так что, скорее всего, это его личное воспоминание об исчезнувшем для него мире. Да, конечно, там можно найти сатирические моменты:

> Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
> Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
> Там, грубо говоря, великий план запорот.

Но для того чтобы сожалеть о запоротом великом плане, надо чувствовать и величие этого плана. Никуда не уйти от некоторой ностальгии, даже погружаясь в ироническое брюзжание:

> Теперь меня там нет. Означенной пропаже
> дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
> Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк дыра, — но небольшая.

Вот с определением своего места в исчезнувшем российском пейзаже я не соглашусь. Дыра оказалась более, чем большая, и хорошо, что есть возможность заполнить ее поэзией самого Бродского. Это заполнение началось с первых же лет его «означенной пропажи». К тому же и замену себе и своему пространству поэт на новых просторах никакую не нашел. Иосиф Бродский с христианским смирением принимает и благодарит любую судьбу:

…судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Вряд ли можно сказать, что при всех минусах этого покинутого «оцепеневшего лукоморья» Иосиф Бродский приобрел нечто ценное взамен. Увы, другой родины не бывает, и поэт это прекрасно понимает:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

Отказавшись «одомашнивать» свое новое пустое пространство, так и не написав до конца дней своих никаких поэтических строк о Нью-Йорке, поэтически он остался в той же России, в том же пространстве «кириллицыного знака».

В другом своем знаковом стихотворении первоэмигрантского периода, «Колыбельной Трескового мыса» 1975 года, Бродский, уже попрощавшись с Россией, старается все-таки понять, что же он нашел взамен.

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым…

И впрямь, горелым несло, но — конкретно для самого

Бродского, что он и не отрицает. Даже в этот мучительный период жизни он не собирается воевать с государством, тем более со своей родиной, он отделяет себя от систем, от идей, он — одинокий поэт, частный человек, сохраняющий свою независимость от всех. Может быть, и его концепция автономной личности поэта, изложенная в нобелевской лекции, это концепция эмигранта, покинувшего родину? Лишь о русской литературе, о русских литераторах он до конца жизни говорит «мы», «наше», в западном мире он так и оставался уже навсегда единичкой, личностным «я», и не больше.

Это и была его плата за то, что «с соленым вкусом этой воды во рту, / я пересек черту…». Интересно проследить, как и когда он в своей поэзии и в своей публицистике употребляет сакральное, общинное «мы» и когда утыкается в одинокое «я». «Мы» — до пересечения черты, при обращении к русской культурной общности, и всегда «я» в обращении к западному миру.

Думаю, он осознанно оставил для себя лишь одну русскую нишу — вполне ведь мог в эмиграции почувствовать себя евреем во всей полноте и этнического, и культурного, и религиозного смысла. А такие предложения в Америке у него были, и достаточно выгодные. Но, оставив себе этническую, неотъемлемую часть своего еврейства, уходить из русской ниши в эмиграции Иосиф Бродский не пожелал. Об этом очень точно написал Зеев Бар-Селла, израильский писатель, размышляя, почему Иосиф Бродский не пожелал стать еврейским поэтом, почему он ушел в русскую культуру. Он проанализировал поэму «Исаак и Авраам» как осмысление Бродским всей еврейской Катастрофы от жертвоприношения Авраама до Освенцима: «В „Исааке и Аврааме“ Бродский постиг смысл еврейской судьбы. Я не хочу сказать, что он понял его верно, а может, и верно, — поэт все-таки гениальный. По мнению Бродского, так, как я это мнение понимаю, Б-г заключил с евреями не завет, не договор — Он вынес им приговор. И еврейская Катастрофа была не чем иным, как приведением этого приговора в исполнение. Когда-то в журнале „22“ я писал, что еврейский народ — единственный, у которого конец света позади: евреи после Катастрофы так и не поднялись. Да, они продолжают существовать, даже государство создали, но того еврейского народа, который был до Катастрофы, — никогда уже не будет. И Бродский в этой поэме проделал со своим народом весь путь от начала — жертвоприношения Авраама — до самого конца. После „Исаака и Авраама“ у Бродского был выбор: либо умереть вместе с умершими, либо перестать быть поэтом. Бродский выбрал третий

— перестал быть еврейским поэтом…»

Если в еврейской культуре уже нет выхода, поневоле большие таланты от Пастернака до Бродского, от Юнны Мориц до Александра Кушнера ищут себя в русской национальной культуре. И находят. Это не было ренегатство, это был поиск собственной поэтической судьбы. Он понял, и наиболее отчетливо в эмиграции, что его суть — русский поэт Иосиф Бродский. И больше ничего. Поэтому он не хотел никаких поездок в Израиль. Однажды его почти уговорили приехать из Америки на выступления в Тель-Авив, уже и билеты купили, но Бродский придумал самый примитивный предлог и отказался от поездки. Тот же Бар-Селла объясняет его отказ: «Да и в каком качестве он бы в Израиль прибыл? В качестве американского поэта? Но ведь все знали, что он — еврей. А еврейского поэта Бродский в себе уже пережил…» Американским поэтом он тоже так и не стал. Оставалась привычная русская судьба.

Да и самые близкие друзья у него в эмиграции все-таки были из русских кругов. Хотя с американцами или европейцами, особенно из литературного мира, он с удовольствием общался, но когда хотелось раскрепоститься или отметить какую-то личную дату, всегда звал «своих», выходцев из России. Пожалуй, самыми близкими друзьями в Америке были Михаил Барышников, Геннадий Шмаков, Лев Лосев. Он постоянно общался с Сергеем Довлатовым, Юзом Алешковским, в Европе высоко ценил Владимира Максимова, да и из западных друзей ближе всех были слависты, говорящие по-русски: Бенгт Янгфельдт, Карл Проффер, Кейс Верхейл.

Михаил Барышников говорил о Бродском: «Безусловно, Иосиф на меня влиял. Он мне помог просто разобраться в каких-то жизненных ситуациях. Показал мне механизм принятия решений. Как что-то делать, исходя из каких соображений, из каких этических норм. Я всегда пользуюсь его советами, примеряю, как бы это сделал он… Он меня звал не Мишей, а — Мышь или Мишель. Он — кот, я — мышь. Так мы с ним играли. Он ведь, как и моя мать, похоронен не на родине. Он обожал Италию. „Куда вы? В Италию — зимой?“ — „Италия в декабре — это как плавающая Грета Гарбо“…» В свою очередь, Иосиф Бродский очень тепло отзывался о друге, написал ему на книге: «И все же я не сделаю рукой / Того, что может сделать он — ногой!», — вспоминал о нем в стихах.

Это и был все тот же заброшенный за океан осколок России в кругу друзей и близких. Вот потому, хотя и было у него немало подружек среди итальянок, англичанок, немок, но в жены взял русскую Марию, хотя и с итальянской фамилией Соццани. Так

окончательно черту он и не пересек — к счастью для всех нас.

В ПОИСКАХ ДАО

Когда-то, в период первого знакомства, на Западе любили сравнивать Китай с Древней Грецией. Влияние Греции на всю европейскую культуру несомненно, но пришла пора обращать свой взор на Восток, стремиться понять сокровенность древней китайской культуры. Без китайской эстетики мира уже нельзя понять не только сам Китай, но и всю нынешнюю планету. Китай развивался вне европейских цивилизаций, тем важнее понять его логику развития через культуру и поэзию, это обогащение и нашей отечественной мысли, эстетики, культуры. Одним из поэтических первопроходцев, обративших внимание на поэзию и философию Китая, был Иосиф Бродский. Китай, китайские мотивы, китайская культура в той или иной мере сопровождали его всю жизнь. Его детство прошло среди китайских диковинок. В юности он умудрился даже на какой-то момент, когда работал в экспедиции, оказаться на территории Китая. В конце жизни он обратился к переводам с китайского. Он знал и высоко ценил древнюю мудрость «Дао дэ цзин» и понимал жизненный путь как свое дао, которое надо пройти до конца. Впрочем, попробуем разобрать всё по отдельности.

С детства он был погружен в восточный мир. Его отец, Александр Иванович Бродский, военный фотокорреспондент, после окончания войны с Германией был направлен на несколько лет на службу в Китай, откуда позже привез немало удивительных для ребенка вещей. Бродский пишет в очерке «Полторы комнаты»: «Хотя его прикомандировали к флоту, война началась для него в 1940 году в Финляндии, а закончилась в 1948 году в Китае, куда он был послан с группой военных советников содействовать притязаниям Мао и откуда прибыли те фарфоровые рыбаки под мухой и сервизы, что мать хотела подарить мне, когда я женюсь». С самого детства и до последних дней его сопровождала китайская джонка — бронзовая модель парусного судна. Она и сейчас украшает мемориальный кабинет Бродского в Фонтанном доме, а вскоре должна переехать в музей поэта, создаваемый в доме Мурузи. С Китаем связан и знаменитый чемодан, с которым поэт уехал из Советского Союза. Сидящим на этом чемодане в аэропорту Пулково в день отъезда 4 июня 1972 года его сфотографировал Михаил Мильчик.

Китайские трофеи сопровождали всю молодость молодого Иосифа, в чем он признается и в своих заметках: «В каких бы там военных играх в Китае он ни был замешан, наша маленькая кладовка, наши буфеты и стены сильно выгадали от этого. Все

предметы искусства, их украсившие, были китайского происхождения: рисунки тушью, мечи самураев, небольшие шелковые экраны. Подвыпившие рыбаки остались последними от оживленного многолюдья фарфоровых фигурок, куколок и пингвинов в шляпах, которые исчезали постепенно — жертвы неловких жестов или необходимости подарков ко дню рождения разным родственникам. От мечей тоже пришлось отказаться в пользу государственной коллекции как от потенциального оружия, хранение которого рядовым гражданам было запрещено. Подумать только! — разумная предусмотрительность — ввиду последующих милицейских вторжений, навлеченных мной на полторы комнаты. Что касается фарфоровых сервизов, потрясающе изысканных на мой неискушенный взгляд, — мать и слышать не хотела о том, чтобы хоть одно изящное блюдечко украсило наш стол. „Они не для растяп, — терпеливо объясняла она нам, — а вы растяпы. Вы очень неуклюжие растяпы“…»

Для маленького Иосифа день возвращения отца из Китая запомнился на всю жизнь: «Я помню темный, промозглый ноябрьский вечер 1948 года… В тот вечер отец вернулся из Китая. Помню звонок в дверь и как мы с матерью бросаемся к выходу на тускло освещенную лестничную клетку, вдруг потемневшую от морских кителей: отец, его друг капитан Ф. М. и с ними несколько военных, вносящих в коридор три огромных деревянных ящика с китайским уловом, разукрашенных с боков гигантскими, похожими на осьминогов иероглифами. Затем мы с капитаном Ф. М. сидим за столом и, пока отец распаковывает ящики, мать, в желто-розовом крепдешиновом платье, на высоких каблуках, всплескивает руками… и капитан Ф. М., высокий и стройный, в незастегнутом темно-синем кителе, наливает себе из графина рюмочку, подмигивая мне, как взрослому. Ремни с якорями на пряжках и парабеллумы в кобурах лежат на подоконнике, мать ахает при виде кимоно…»

Тогда, наверное, и зародилась у Бродского его тайная любовь к Востоку. Тайная любовь к морю и морским путешествиям. Тайная любовь к военным. Тайная любовь к державности. С перебором, конечно, но им сказано: «За вычетом литературы… и, возможно, архитектуры своей бывшей столицы, единственное, чем может гордиться Россия, это историей отечественного флота».

Кстати, Китаю обязан Иосиф Бродский в какой-то мере и своим писательством — пишущая машинка с русской клавиатурой, на которой он набивал первые стихи, тоже была привезена отцом с Востока. Очевидно, она принадлежала кому-то из выехавших или вывезенных русских эмигрантов. Может быть,

Арсению Несмелову? Или Валерию Перелешину?

Не буду преувеличивать значение случайных упоминаний о тех или иных китайских безделушках в поэзии Бродского, стихотворений о героях полуострова Ханко, обращений к Будде. В его многомерном пространстве точно так же можно найти упоминания о Мексике или об экзотической Африке. Констатируем, что такие упоминания есть, и пусть текстологи скрупулезно подсчитают все упоминания Китая, к примеру, в стихотворении, посвященном Марине Басмановой:

> Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
> подышать свежим воздухом, веющим с океана.
> Закат догорал в партере китайским веером,
> и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно…

Кимоно, китайские ширмы, веера, фарфоровые статуэтки есть во всей русской поэзии XX века, от Гумилева до Вертинского, от Блока до Юрия Кузнецова. Но лишь у Бродского вдруг в 1977 году появляются изумительные, проникновенные, лирические и исповедальные, исторические и философские «Письма династии Минь». Я бы издал их с подробнейшими комментариями, с иллюстрациями китайских художников эпохи Мин отдельной книжкой. Хотя Бродский не раз перед чтением «Писем династии Минь» объяснял слушателям, что стихи не имеют отношения к китайским реалиям и в них на самом деле чрезвычайно много личного, в то же время этот цикл демонстрирует прекрасное знание поэтом китайской культуры. Можно сказать, что поэт воспользовался языком китайской эстетики для собственных, далеких от Китая нужд, и воспользовался виртуозно. Историки и филологи обычно пишут о династии Мин без мягкого знака, но это всего лишь особенности личного восприятия, которые никак не говорят о незнании Бродским китайской истории. Поэт говорил слушателям: «Единственное, что нужно знать для лучшего понимания этого стихотворения, это то, что династия Минь (правившая в 1368–1644 годах. — *В. Б.)* — это одна из самых жестоких династий в истории Китая». Вот с этим я бы поспорил. Скорее, при всей традиционной жесткости китайских властителей, эпоха Мин характеризуется расцветом культуры и прежде всего поэзии. Да и в стихах Бродского мы не видим какой-то изощренной жестокости эпохи. Как полагают специалисты, стихи написаны поэтом в традиционном древнекитайском жанре «цы». Это само по себе крайне интересно — вряд ли многие поэты круга Бродского догадывались о существовании этого жанра. Согласно законам «цы», поэт пишет от имени женщины, чаще

всего какой-нибудь знаменитой фаворитки двора, которая находится в разлуке со своим влиятельным любовником и выражает свои чувства в песне-плаче. Откуда он мог узнать такие подробности?

Думаю, интерес к китайской поэзии у Бродского возник еще в ранние питерские годы под влиянием его давнего друга, прекрасного востоковеда Бориса Вахтина — сына писательницы Веры Пановой. Он и уговорил поэта впервые попробовать себя в переводах с китайского. Вспоминает их общая знакомая, синолог Татьяна Аист: «Борис Вахтин, востоковед, предлагает Иосифу сочинить перевод китайского любовного стихотворения по подстрочнику. Иосиф слушает подстрочник, несколько минут молчит, потом разражается невероятно длинными поющими строками. Суть и стиль такого перевода с китайского на русский поражают Вахтина до необыкновения. „Иосиф, так никто и никогда не переводил. До тебя все старались делать русские строчки очень короткими, потому что слова китайского языка русским ухом воспринимаются как необычайно короткие. Но вместе с тем, содержание одного иероглифа гораздо больше, чем содержание одного русского слова. Это различие между смысловой емкостью одного иероглифа и одного русского слова всегда было одной из самых мучительных проблем в переводе, а ты вот так разрешил… Запустил свою длиннющую классическую строку, да и дело с концом…“ Борис возвращается к разговору о переводах с китайского через год. „Слушай, — говорит он Бродскому, — ну сделай ты хоть несколько переводов. Если не сделаешь, все будут думать, что китайские стихи похожи на то, что Эйдлин о них придумал — без музыки, без рифмы, без метра, без ничего, по существу, один только голый подстрочник“…»

Без влияния Вахтина, без понимания специфики китайской поэзии с «Письмами династии Минь» ничего бы не вышло. Получилась бы некая северянинская экзотика, что для Бродского было чуждо. Вахтинские разговоры совмещались в его сознании с детскими мечтаниями о путешествиях на Восток, которые придумывались в игре с джонкой, доставшейся от отца, или при разглядывании китайских гравюр. Конечно, были еще беседы с Анной Ахматовой, непревзойденной переводчицей корейской поэзии, вспоминались и гумилевское «Путешествие в Китай» и «Фарфоровый павильон», и соловьевская книга «Россия и Китай». Тогда же, в тот же питерский период, Иосиф Бродский создал вольные переводы нескольких китайских поэтов.

Весна, я не хочу вставать и, птичьи метры
в постели слушая, я долго вспоминал,

как прошлой ночью ветер бушевал,
И лепестки оплакивал, упавшие от ветра.

Это уже было соединение привычной длинной строфы Бродского с китайской саморазвивающейся строфой. Бродский легко и непринужденно отменил все штампованные короткие строфы официальных переводчиков и предложил свой стиль.

В Ленинграде он дружил с ребятами из Института востоковедения, одного из самых вольнодумных научных учреждений Северной столицы. Там он познакомился и с китайцем Цзяном, своим поклонником, который сказал ему: «Иосиф, вы поэт гробарного значения». А потом добавил: «Как у вас там, Иосиф, ни страны, ни костей не хочу выбирать… Вы простите, Иосиф, но у меня с памятником в последнее время не очень хорошо»… Потом нередко Бродский любил шутить над этим своим «памятником гробарного значения».

Воспоминания Татьяны Аист о китайских увлечениях Иосифа Бродского были бы просто великолепны, если бы не ряд неточностей, которые сразу же вызывают сомнения и во многом другом. Воспоминания искренни, но предельно субъективны, хотя стихи и переводы, которые она приводит в своей статье «Иосиф Бродский — переводчик с китайского», крайне важны для понимания творчества поэта. Но почему она называет стихи Иосифа Бродского «Письма династии Тань»? Это ошибка или неточность? Если он так назвал их при чтении Татьяне, она должна была бы пояснить, как пояснила, что в варианте стихотворения, присланного ей Бродским, имеются разночтения с опубликованным вариантом. И почему она приводит только часть присланного стихотворения? Ведь любые авторские разночтения, которые весьма вероятны у каждого поэта, крайне интересны. Вот текст, опубликованный Татьяной Аист:

Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну

богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что
дала мне императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса.

Честно говоря, он ничем не отличается от опубликованного оригинала, значит, Татьяна имела в виду, говоря о разночтениях, лишь иной заголовок, хотя определенно этого не сказала. Осмелюсь и я тогда уж высказать версию о причине разночтения. Насколько я знаю, Иосиф был веселым и остроумным человеком. Передавая Татьяне свои новые стихи «Письма династии Минь», он вполне мог из любезности к даме в единственном экземпляре изменить заголовок на «Письма династии Тань» — имея в виду знакомых ему Тань, в том числе и Татьяну Аист. Вот и всё разночтение.

Стихотворение Иосифа Бродского написано от лица влюбленной женщины, придворной красавицы Дикой Утки. Как и положено в жанре «цы», в начале стихотворения указывается точная дата прожитого времени (13 лет как соловей улетел из клетки). Его можно сравнить с временем вылета соловья-Бродского из Советского Союза. Лев Лосев пишет в своей книге: «Китайский исследователь творчества Бродского Лю Вэньфэй указал на сходство „Писем династии Минь“ с легендой периода династии Мин о женщине, возлюбленного которой послали на строительство Великой Стены…»

Я хорошо знаю эту легенду о строителе, которого замуровали в Великую Стену и которого долго искала его возлюбленная. Кроме самого факта разлуки женщины со своим возлюбленным и упоминания о Стене во второй части стихотворения, никакого сходства со стихотворением Бродского я не вижу. Впрочем, интересно прочитать статью Лю Вэньфэя целиком — может, Лев Лосев что-то не понял? Письмо дальнему другу пишет его возлюбленная и одновременно одна из любимых наложниц богдыхана (иначе она бы не объясняла сыну богдыхана природу звезд и вряд ли получила бы рисовую тонкую бумагу от самой императрицы). Сходство со сказкой Андерсена меня мало задевает — поэт имеет право на любое сходство. Возлюбленная буднично пишет о жестокости окружающих ее императорских будней и лишь жалеет, что уже 13 лет не видит своего соловья, одновременно радуясь, что он улетел из клетки. Далее описывается невеселая жизнь героини: зеркала дорожают, садики в упадке, все меньше риса в стране (впрочем, это какая-то

излишне мужская деталь). Пожалуй, главная строфа в первой части стихотворения: «Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки / вырвался и улетел…»

Улетел Бродский в июне 1972 года. Стихотворение написано в 1977 году, спустя пять лет. А 13 лет назад он находился в архангельской ссылке, и с ним была его возлюбленная Марина Басманова. Не будем буквоедами, в поэзии все более-менее условно. Но полагаю, что Бродский вел счет одновременно от ссылки и от разлуки с любимой женщиной. Тогда и получается ровно 13 лет. Поэт, конечно, и в 1977 году ждал писем от своей Дикой Утки, но вряд ли дождался. Я бы отнес «Письма династии Минь» к циклу стихов, посвященных знаменитой М. Б., его Лауре или Беатриче.

Но разлука была у поэта прежде всего со своей страной. Смешно сказать, но 13 лет прошло с того самого лучшего в жизни периода, каким Иосиф Бродский считал до конца дней своих архангельскую ссылку. Возлюбленная уже 13 лет молчит, а годы идут. И на самом деле в стране все меньше риса и хлеба.

«Письма династии Минь» откровенно трагичны. И, конечно, говоря о жестокости древней китайской династии, поэт подразумевал жестокость родной страны, выславшей его. Соловей отлучен от друзей и творческой среды, от поэтического воздуха России. Это особенно заметно по другой части стихотворения. Число строчек в обеих частях стихотворения совпадает, как и положено в жанре «цы». Но во второй части уже говорит сам поэт:

> Дорога в тысячу ли начинается с одного
> шага, гласит пословица. Жалко, что от него
> не зависит дорога обратно, превышающая многократно
> тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о».
> Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —
> тысяча означает, что ты сейчас вдали
> от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
> перекидывается на цифры; особенно на ноли.
> Ветер несет на Запад, как желтые семена
> из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
> На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
> как любые другие неразборчивые письмена.
> Движение в одну сторону превращает меня
> в нечто вытянутое, как голова коня.
> Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
> О сухие колосья дикого ячменя.

Страшный иероглиф, страшная стена, страшная

бессмысленность. Это уже о России и своей судьбе. Как пишет Лев Лосев: «Две шестнадцатистрочных части стихотворения семантически симметричны: первая строка части I содержит характеристику прожитого времени („тринадцать лет“), а первая строка части II характеристику пройденного пути („тысяча ли“); заключает часть I слово „риса“, а часть II — слово „ячменя“. В то же время „женская“ и „мужская“ части содержательно контрастны: первая насыщена конкретной, предметной образностью, вторая знаковой — слова, цифры, иероглиф…»

Семантически обе части и на самом деле симметричны, но смысл для Бродского всегда главенствовал над семантикой. Тем более сам Лосев нашел и черновики стихотворения на подобную мрачную же восточную тему. «В черновиках отечественного периода сохранилось неоконченное недатированное стихотворение (РНБ. Ед. хр. 63. Л. 68 [22] и № 124):

Высокая бесцветная стена.
На этом фоне человек уродлив
(или прекрасен), точно иероглиф,
[…] письмена.

За той стеной, по-видимому, есть
пространство. Обитаемое или
безлюдное. И бурое от пыли.
Неважно. Все равно не перелезть.

Что ж, это даже к лучшему. Во мне
ни грусти, ни смущенья, ни тревоги,
я против продолжения дороги,
которая и привела к стене».

Пусть извинят меня либеральные бродсковеды, но я предпочитаю вычитывать в стихотворении то, что в нем написано, не уходя от главного смысла. Отчаянная ностальгия и тоска по родимому крову еще более усиливаются от образности стиха. Как это замечательно подмечено, дорога обратно, особенно если она невозможна, превосходит многократно тысячу ли (приблизительно 600 километров). В эмиграцию из Советского Союза уезжали навсегда. Кто-то относился к этому легкомысленно и даже радовался; кто-то, как поэт Иосиф Бродский или прозаик Александр Солженицын, отчаянно переживал. Конечно, это якобы китайское стихотворение — на самом деле о переживании русского поэта, покинувшего свою родину. Вчитаемся внимательно: «Ветер несет на Запад (и Запад

написан с большой буквы, как у нас именовали именно западный мир, а не географическую часть света. — *В. Б.),* / как желтые семена из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена».

Что же это за Стена стояла перед поэтом на том самом Западе, куда его занес ветер эмиграции? Похоже, это отнюдь не Великая Китайская стена, которая всегда была защитой для Поднебесной империи. Да и китайцы не станут писать запад с большой буквы. Это для них скорее край варваров — запад и север… «На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф, / как любые неразборчивые письмена…» Я понимаю западных исследователей, которые отмахиваются от утверждений самого Бродского, что «Письма династии Минь» не имеют отношения к китайским реалиям. При этом почему-то эти исследователи, как правило, прочитывают вторую часть стихотворения, как впечатление о Китае и китайской Стене. Но Стена находится по отношению ко всем бывшим столицам Поднебесной, и Чаньаню, и Лояну, и Пекину, скорее на севере, а по отношению к изгнаннику — на юге. Да, когда во времена жестокого собирателя Поднебесной Цинь Шихуанди Стену строили рабы и подневольные крестьяне, их сгоняли на работу без жалости, как в Воркуту или Норильск в сталинские времена. Тогда и возникла легенда о замурованном строителе, которого искала верная жена. Но эпоха Мин — это уже не эпоха Цинь Шихуанди. И Стена к тому времени стала для китайцев не концлагерем, а защитой от кочевых набегов — не слишком, правда, надежной.

Антон Носик правильно отмечает: «Все реалии приведенного стихотворения в сегодняшнем Китае проверяются, так сказать, на местности. И проверки, увы, не выдерживают. Первые заминки возникают с географией. Во-первых, дорога в тысячу ли — это, оказывается, всего лишь 500 километров… Так что даже пафос героя стихотворения трудно было бы оправдать столь незначительным расстоянием (императорский гонец преодолевал его за двое суток, а световое письмо — за полтора часа). Если уж мы заговорили о цифрах, то нелишне упомянуть, что ни одна, ни две тысячи ли во времена династии Минь не писались с нулями. Одна тысяча — это и чен, две тысячи — лян чен, по два иероглифа на каждое числительное, но уж никак не 1000 и не 2000. В описании Стены у Бродского проверку выдерживает лишь само это слово. Да, Стена действительно стоит. Но почему на западе?! Ведь стена была построена, чтобы защитить Китай от нашествия с севера! То есть относительно любого китайского города и любой провинции стена стоит на севере. Если же главный герой — изгнанник и живет по другую сторону Стены, то Стена может быть от него на юге (если смотреть из Монголии)

либо на востоке (если смотреть из России или Европы)… Внешний вид Стены в стихотворении тоже никак не привязан к действительности. Во-первых, она имеет цвет кофе с молоком. Во-вторых, эта стена имеет высоту примерно 10 метров… Не лучше обстоит дело с психологией главного героя. Фраза „уродлив и страшен, как иероглиф“ звучит нормально для европейского уха, но человеку, писавшему ко двору во времена династии Минь, иероглиф никак не мог представляться ни уродливым, ни страшным…»

Верно подмечено — человек Востока не мог назвать иероглиф уродливым и страшным. Значит, о другой стене пишет поэт, о другом Западе, и другие подразумевает «неразборчивые письмена», такие же уродливые, как человек. И поэт против продолжения дороги, которая привела его к стене, унесла на Запад. Не собираюсь делать радикальные антизападные выпады или представлять Бродского отчаянным патриотом России. Но тут есть о чем задуматься, поразмышлять. Думаю, политика тут вовсе ни при чем: ни западная, ни российская, ни советская. Дело в судьбе поэта, в его поэтическом движении. Он предугадывал, что «Движение в одну сторону превращает меня / в нечто вытянутое, как голова коня…». В моей восточной коллекции есть такие вытянутые в одну сторону мифические кони. Очевидно, видел таких и Бродский. Он не хотел превращаться в одностороннего, плоскостного, вытянутого в сторону Запада поэта, понимал, что его сила, его поэтическое величие — в России и великой русской культуре. А «неразборчивые письмена» — это страшная для него неразличимость поэтической личности, потеря индивидуальности.

Но, увы, так и случилось, и поздние, написанные даже не на английском, а на американском сленге стихи это наглядно демонстрируют. Их раскритиковали все ведущие англоязычные критики. Поэт вовремя отказался от них, вернулся к русскому языку. Умный поэт предсказал и самому себе печальную судьбу в «Письмах династии Минь»: «Силы, жившие в теле, ушли на трение тени…» Трение о западные тени, о многочисленные американские СМИ, о либеральную тусовку, диктующую свои условия, поглотило все силы поэта, и духовные, и физические, приготовив ему раннюю смерть в полете…

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ

Спасение в Америке он находил для себя, как ни странно, в чайнатаунах, в недорогих китайских ресторанах, где был завсегдатаем. Не ради же дешевой лапши ходил он туда! Помню, еще когда мы с ним встречались у него дома, он говорил мне о восточной философии, о «Дао дэ цзин», цитировал вечные истины мудреца Лао-цзы. От односторонней вытянутости своего коня на Запад он спасался в истинах восточной философии и поэзии.

Лев Лосев тоже высоко ценил «Письма династии Минь» и восточные переводы своего друга. Он писал: «Можно, однако, отметить, что у него был устойчивый интерес к Китаю, ему всегда хотелось побывать на Дальнем Востоке, в последние годы жизни это стало возможно, но намеченные поездки несколько раз отменялись из-за сердечного заболевания (он думал, что, может быть, состояние здоровья позволит ему воспользоваться приглашением посетить Тайвань осенью 1996 г.)». Он также отмечал, что Бродский рекомендовал своим американским студентам читать стихотворение великого Ли Бо «Письмо жены речного торговца», написанное от лица тоскующей в разлуке с мужем женщины, как одну из образцовых элегий.

В Америке его устойчивый интерес к Китаю поддерживала синолог Татьяна Аист. Она рассказывает, как объясняла Иосифу Бродскому смысл китайских иероглифов. «Объясняю ему иероглиф Дао. Говорю: „Иероглиф состоит из двух элементов. Один, который является и ключом ко всему смыслу иероглифа, — это дорога, или знак ходить, путешествовать. Другой — это голова чиновника, одетая в официальный головной убор. Все вместе значит следовать своему природному пути; вверх-вниз, вверх-вниз, вправо-влево и так далее“. А он мне: „А что же простой крестьянин не может следовать своему пути?“ Я говорю: „Конечно же, может“. — „Тогда почему не голова крестьянина, а чиновника?“ Молчу. Не знаю, что сказать. „Наверное, потому что голова чиновника издалека виднее…“ А сам смеется. И я знаю очень хорошо, почему смеется. Дао не путать с массовостью. Дао не путать с демократизмом…»

Поэт сам всю жизнь старался понять свое дао и следовать ему.

Для себя он уловил смысл дао еще в молодости. Потому так легко ступил на путь китайских переводов, что смысл восточных истин проходил как бы заново, возвращаясь во времена своей молодости. Впрочем, и его поэзия своим величием напоминала восхождение на горные вершины — непременный путь китайского

мудреца.

Поэт из Томска Андрей Олеар, первый, кто перевел все стихи Иосифа Бродского, написанные по-английски, познал поэзию Бродского на горных вершинах Гималаев. Он пишет: «Мой роман со стихами Бродского был закреплен „совместным“ путешествием. В 2001 году я оказался в команде сибирской альпинистской экспедиции на Эверест. Два месяца в Непале и Тибете, настоящие люди и настоящая жизнь, приключения и трагедии… И везде со мною — книжка Бродского (прямо как у любимого Бродским великого британского поэта Одена в „Письме лорду Байрону“: в путешествии лучший друг-собеседник — томик любимого поэта. Но об Одене, которого сейчас увлеченно перевожу, я узнал несколько позже. Жизнь удивительна, как стихи, в ней все рифмуется: через несколько лет я выпущу „своего Бродского“, и книжка переводов его англоязычной поэзии будет называться „Письмо археологу“). И вот на что там, в далеких суровых Гималаях, я обратил внимание. Стихи Бродского оказались удивительно соразмерны гигантским горным массивам. Его поэзия созвучна Гималаям своим благородным совершенством формы, мощью замысла Творца, эхом тайны, дыханием вечности… Это сложно объяснить. Помню, как, сидя на морене ледника в лагере АВС под Эверестом, я читал эти строки: „С высоты ледника я озирал полмира…“ или „Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах…“. Именно там, рядом с величайшими творениями Природы, как-то само собой возникло и закрепилось понимание масштабов поэзии Иосифа Бродского. Она вдруг в одночасье открылась мне явлением не менее реальным, чем тысячелетние восточные культуры и устремленные в стратосферу гималайские восьмитысячники».

Поэзия Востока — всегда погружение в вечные истины, незаметные простому обывательскому глазу. Мудрец Чжуан-цзы писал: «Как это мелко: знать лишь то, что известно!» Китайские поэты со времен «Вопросов к Небу» Цюй Юаня привыкли высказывать невысказанное, обращаться с невидимым. Лю Се, автор средневекового эстетического трактата «Дракон, изваянный в сердцах письмен», наставлял поэтов: «Чувства и намерения следует сделать душою, факты и замыслы — остовом, слова и красоты — мышцами и кожей». В китайской поэзии главное в тексте — невидимо, как душа. Я солидарен с А. Генисом, который в статье о китайской культуре пишет: «Поэтому ученые знатоки считали недостойным следовать за внешней канвой событий. Книга, исчерпывающаяся своим содержанием, относилась к низкому жанру „сяошо“ (что-то вроде нашей „беллетристики“). К этому разряду китайская эстетика относила даже прославленные,

любимые всем Китаем романы. Легенда рассказывает, что Ло Гуань-чжуан, автор знаменитого романа „Речные заводи“[3], был наказан: три поколения его наследников рождались глухонемыми. Столь суровое отношение к прозе занимательного вымысла объяснялось тем, что единственным творчеством, достойным подлинного художника, китайская традиция считала „литературу чувств“. Высокая словесность — „вэнь“, — проникая в глубины мирового бытия, приникает к его источнику — дао. Для этого автору нужно только сердце — особый орган, позволяющий реальности высказать себя, явить себя миру. В центре „сердечной“ литературы стоит не сюжет, а ситуация, лирическое событие, толкнувшее автора на погружение. Поэтому „вэнь“, не признавая эпики, воплощается исключительно в лирике. Автор пишет о том, что его поразило, рисует те обстоятельства, которые привели его к прозрению. Истинной реальностью может считаться лишь то, что прошло сквозь авторское сердце. Другая, „объективная“, действительность — бессмысленная, немая, безжизненная и бездушная модель, картонный макет мироздания. Субъективируя реальность, китайская традиция растворяла в ней автора. Классическая поэзия всегда безлична: в ней говорит не автор, а сама ситуация, породившая его чувства. Такая парадоксально внеличностная лирика переводит словесность в „пассивный залог“, о котором так много писал Бродский: настоящий поэт говорит не своим голосом, он — ухо бытия и его гортань…»

Не случайно Генис заканчивает этот пассаж примером из Бродского. Поэт внутренне близок китайским поэтам. Это видно по первому же сделанному им переводу из Ли Бо:

ВСПОМИНАЮ РОДНУЮ СТРАНУ
Сиянье лунное мне снегом показалось,
Холодным ветром вдруг дохнуло от окна…
Над домом, где друзья мои остались,
Сейчас такая же, наверное, луна.

Кстати, это очень близко и настроению самого Бродского в его отрыве от родины. И уж, конечно, несопоставимо с «ужасным», как пишет Татьяна Аист, переводом А. Гитовича:

У самой моей постели
Лежит от луны дорожка.
А может быть, это иней —
Я сам хорошо не знаю.
Я голову поднимаю —

Гляжу на луну в окошко.
Я голову опускаю —
И родину вспоминаю.

Согласен с Аист: «То, что было написано гением на китайском языке, превратилось в смешной обэриутский стишок. Кажется, что поэт пьян или с бодуна. Пялится в окно и сам хорошо не знает, что он там видит. А потом, к чему эти физкультурные упражнения в кровати — я голову опускаю, а вот я ее поднимаю… Стихотворение кажется водянистым, многословным по той причине, что Гитович строго придерживался принципа удвоения строки при переводе с китайского на русский…»

По сути, Иосиф Бродский предложил другую систему перевода китайских поэтов. Когда лучше, когда хуже — он перевел еще несколько классических китайских стихотворений. Надо отдать должное стараниям Татьяны Аист, вдохновившей поэта на переводы, сохранившей и впервые опубликовавшей их в малодоступном научном журнале «Российская эмиграция: прошлое и будущее».

Вслед за классическим стихотворением Ли Бо «Вспоминаю родную страну» Бродский перевел не менее известное в Китае стихотворение Ван Вэя, название которого можно перевести и как «Загон для оленей», и как «Место отшельника». Стихотворение из двадцати иероглифов, написанных очень короткой строфой, почти как японская танка.

Горы безлюдны, бесчеловечны горы.
Только ручья в горах слышатся разговоры.
Луч, пробившись с потерями сквозь частокол деревьев,
Кладет на лиловый мох причудливые узоры.

Приведу еще два его перевода китайских поэтов.
Лю Чжанъинь
СЛУШАЯ ИГРУ МУЗЫКАНТА НА ЛЮТНЕ, НАПИСАЛ:

Ту музыку, которую сейчас играет музыкант,
я один узнаю.
Всего лишь тридцать пять лет прошло,
а все исполнители ее уже в раю.
И ценители, которых больше было многократно,
Почти уже догнали музыкантов.

Ду Му

ОТВЕЧАЮ НА ПИСЬМО ЯНЧЖОУСКОГО ЧИНОВНИКА ХАНЬ ЧЖО:

И вовсе не страшна природа у Чжуншаньских гор,
а скуповата; их вершины
забрались вверх настолько далеко,
что летом из-за них не видно облаков,
зимой же облака до половины
уменьшают горы.

Как считал Бродский, игра составляет подлинную суть любого творчества; он не воспринимал «серьезные», но скучные стихи. Вот так и начинал когда-то в детстве маленький Иосиф играть с китайской джонкой и фарфоровыми фигурками. Игра спасала от одиночества и трагичности жизни, заставляла прощать людей. В игре он понимал иные судьбы, иное мировоззрение. К примеру, он и сборник даосских истин, высказанных Лао-цзы по просьбе пограничного офицера на дальней заставе, ведущей на запад, воспринимал без излишнего философствования. Как и Лао-цзы, написав свое лучшее, поэт ушел на запад, но на другой. Для китайцев запад, край гор и пустынь, был страной бессмертных мудрецов. Для Бродского западом оказалась Америка, лишенная вечных истин мудрости. Оставалось идти своим путем, «путем зерна», как писал его любимый Ходасевич, или же путем своего личного дао. Может, вся его жизнь, от первых игр с китайской джонкой до листания «Дао дэ цзин» незадолго до смерти и была поиском своего дао, когда удачным, когда не очень.

Снова дадим слово Татьяне Аист: «Ради забавы мы заходили в различные нью-йоркские кофейни и в каждой он обращался к человеку за стойкой словами из „Дао дэ цзина“. Для кого еще ему было „переводить“ на китайский, если понимающих китайский русских в Америке было так мало? А в нем самом было все. И всего в нем было полно. Используя его собственную шутку, его жизнь была мечтой Марко Поло… Для того чтобы совсем уже поставить все вверх ногами и тем самым „описать круг“, цитирую фразу из его последнего ко мне письма: „Пока не поздно, надо планировать путешествие в Китай. Тем временем отправляюсь в треклятую Европу“».

Может быть, «Письма династии Минь» и китайские переводы и стали для него посмертным путешествием на Восток, где ему так и не пришлось побывать?

ВЕЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ

Человек соткан из противоречий, особенно поэт. Иосиф Бродский, как он сам утверждает, «русский поэт, еврей и американский гражданин». Или по-другому: «русский поэт, хотя и евреец». Моя книга посвящена русскому поэту Иосифу Бродскому. Но в разные периоды по разным причинам он сам пробовал отказаться от своего же русского предназначения. У каждой нации есть свои народные герои, как положительные, так и не очень. К примеру, в России — Иванушка-дурачок. В каждом из русских есть доля от этого истинно народного персонажа. И у еврейской нации с древних времен есть такой вечно странствующий герой, легендарный Вечный жид.

Сразу хочу четко заявить, что к антисемитскому смыслу слова «жид» легенда о Вечном жиде никакого отношения не имеет. Имя Агасфер, которым Вечный жид стал с XVII века именоваться в легендах большинства европейских народов, — это слегка измененная форма имени персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса) из еврейских театральных представлений на праздник Пурим. В 1602 году в Германии была опубликована лубочная книга «Краткое описание и повествование о еврее по имени Ахасверус». Книга имеет еще одно длинное название: «Новое сообщение об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфером, видевшем распятие нашего Господа Иисуса Христа и находящемся еще в живых». Рассказанная в книге история с чрезвычайной быстротой облетает всю Европу и навсегда захватывает народное воображение. Зафиксировано более сотни легенд о Вечном жиде. Другие имена Агасфера — Эспера-Диос (надейся на Бога), Бутадеус (ударивший Бога), Картафил (сторож претория). Во время пути Иисуса Христа на Голгофу Агасфер отказал ему в кратком отдыхе и велел идти дальше. За это ему самому отказано в упокоении, до второго пришествия Христа он обречен из века в век безостановочно скитаться. Христианские корни легенды об Агасфере можно найти в Евангелии от Матфея (16: 28), где приведены такие слова Иисуса: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

Вечный жид возникал в воображении народов как неутомимый путешественник, который взбудораживал своим появлением целые страны. О нем писали книги, пели песни, спорили. Появилось множество свидетелей даже среди представителей привилегированных кругов, которые либо сами видели Агасфера, либо слышали от весьма уважаемых лиц о его

появлении то тут, то там. Вечного жида представляли то неутомимым странником, то непреклонным моралистом, то благодетелем и спасителем, олицетворяющим идею любви и взаимопонимания между людьми, то злым духом, то провозвестником конца света, то символической фигурой, олицетворяющей неправедное преследование евреев… Вечный жид — символ человечества, обреченного шагать по пути прогресса до конца мира. Видят в нем и аллегорическое изображение судьбы еврейского народа, изгнанного из своего отечества, блуждающего по свету. С этим охотно соглашаются и сами евреи, и впрямь, несмотря на Израиль, обреченные своим историческим призванием вечно странствовать по миру. Да они и сами не отрицают, что во многих из них сидит эта древняя частичка Вечного жида.

Не ушел от национального прототипа и Иосиф Бродский. Сама эмиграция, переезд по политической причине из одной страны в другую, вряд ли приближала поэта к образу мирового героя. Но кто будет отрицать, что Иосиф Бродский более, чем Борис Пастернак или Осип Мандельштам, был *Le Juif errant*, буквально «странствующим евреем»? Кто заставлял Иосифа Бродского уже после эмиграции в Америку постоянно мотаться то в Мексику, то в Англию, то в Швецию, то в Италию? Это не поездки израильтянина ли, немца, француза, русского из своей родной страны в поисках дорожных приключений. Это выход за пределы судьбы русского поэта в иную ипостась — вечного странника, Вечного жида. Он сам переселяет себя в стихах в разные точки пространства, покойного и горячо любимого им отца отправляет зачем-то в Австралию, сравнивает себя то с Тиберием, то с Постумом, то с пеплом, сгоревшим дотла и развеянным по ветру.

Гражданин России, Советского Союза в результате политической эмиграции стал гражданином США, но это не характеризует вечное странничество — таковы судьбы миллионов русских эмигрантов, многие из которых благополучно обжились на новой родине. Но — родился в России, был русским поэтом, уехал в США, даже купил себе там место на кладбище (какое уж тут странничество?), а похоронен в Венеции, где, по сути, никогда и не жил, так, наведывался. Это ли не удел вечных странников?! Да, я знаю, что сам Бродский не собирался себя отправлять в Венецию, а хотел мирно упокоиться на американском кладбище, отринув уже и Россию, и Васильевский остров как ушедшее прошлое. Не оставлял он и никакого завещания на этот счет, что бы сегодня ни придумывали иные журналисты. Но не иначе как сама судьба заставила его уже после смерти воплотиться в

«странствующего еврея». Почти никогда не дающая интервью его вдова Мария Соццани, как-то разговорилась с польской журналисткой Ирэной Грудзиньской-Гросс и призналась ей: «Идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия — моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен».

Америку вдова откровенно не любила и оставаться в ней с дочкой не желала, а потому тело мужа увезла к себе на родину. По-человечески это понятно, но о мистическом перемещении поэта в «вечное странствие» уже никто думать не стал. Вот так и поплыл по волнам вечного странствия теплоход «Иосиф Бродский». Правда, в жизни своей поэт часто решительно боролся с проявлениями в себе этого «вечножидовства». Его имперское «я» не хотело быть ничейным. Из русского поэта Иосифа Бродского прорастал американский поэт Джозеф Бродски — это тоже иная ипостась личности. Иная судьба, иное и отношение к ней. В такой второй ипостаси жили и Владимир Набоков, и Джозеф Конрад, и многие другие…

А вот обрести еще одну, уже третью ипостась «Вечного жида» — не каждому еврею суждено. Не подвести под это понятие ни Пастернака, ни Мандельштама, ни друга Бродского Евгения Рейна… Не подвести под нее и наших американских эмигрантов.

Элкан Натан Адлер, известный еврейский путешественник и собиратель древних манускриптов, пишет: «Странствующий жид — вполне реальный персонаж великой драмы Истории. В самые отдаленные города широко раскинувшейся Римской империи путешествовал он в качестве кочевника и переселенца, беженца и завоевателя, коллекционера и посла. Его интерес к другим странам, расположенным поблизости и вдалеке, пробудило чтение Священного Писания… Он разговаривал на многих иностранных языках и мог объясниться с любым евреем, в какой бы стране тот ни жил». И уже заканчивая свое увлекательное путешествие — повествование о «Детях Вечного жида», Натан Адлер пишет: «Он по-прежнему являлся связующим звеном между рассеянными по миру членами еврейской диаспоры и оставался человеком набожным, внимательным и великодушным ко всему, что он ожидал увидеть, и в том, что он отдавал другим».

Разве это не отчетливый портрет поэта Иосифа Бродского в его странствующей еврейской ипостаси? Один к одному. Мне этот персонаж, эта его ипостась не близки — моя книга о другой, главенствующей его ипостаси русского поэта. Но не видеть его периодических побегов в мир Вечного жида я не могу. Этот его

лик изредка проявлялся еще в петербургский период. Думаю, он упорно боролся с ним, подавлял его, а позже, уже в Америке, махнул на него рукой. Решил: пусть чередуются в нем два или даже три разных лика: русского поэта, англоязычного эссеиста и гражданина США и Вечного жида. Думаю, в самом Израиле таких Вечных жидов нет, да и среди правоверных иудеев они вряд ли отыщутся. Как писал Михаил Крепс в своей содержательной книге о поэзии Бродского, иные стихи его — это «вечные жиды, блуждающие среди кривых зеркал». Поэзия Вечного жида — это поэзия «совершенного никто», написанная неизвестно где и неизвестно когда, поэзия одинокого вечного странника:

Но, видать, не судьба, и года не те,
И уже седина стыдно молвить где,
Больше длинных жил, чем для них кровей,
Да и мысли мертвых кустов кривей.

Он уже обращен внутрь самого себя: «Запах старого тела острей, чем его очертанья» («Колыбельная Трескового мыса»). Его стихи уже стали адресоваться неизвестно откуда, неизвестно когда и неизвестно кому:

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг…

Расплывчатость, размытость всего мира, и внешнего, и внутреннего, и времени, и пространства, характерны для этого лика поэта. Он потерян для всех, в том числе для самого себя. Его противоречивость, совмещение несовместимого, соединение вульгарного и высокого стилей, пусть и произросшие из уличного детства и всеядности питерского шпанистского подростка, были погружены уже в ничейный мир, откуда он метал свои стрелы. В один и тот же период времени он мог искренне написать, вспоминая свою любимую Марину Басманову: «До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбужденье». А позже, разозлившись, нарочито эпатажно обратиться к бюсту римского императора Тиберия: «Приветствую тебя две тыщи лет / спустя. Ты тоже был женат на бляди. / У нас много общего…» Впрочем, такие же контрасты и по отношению к России. То полное обожание и возвышение:

Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,
Говорящий неправду, ладонью закроет народ,
И такого на свете нигде не найти языка,
Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.

То полное пренебрежение:

Входит некто православный, говорит: «Теперь я — главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю».

И то и другое пишется абсолютно искренне. Это и есть разные ипостаси одной личности: русского поэта Иосифа Бродского и вечно странствующего еврея.

В Америке он пробует уйти в англоязычную поэзию. Александр Кушнер писал в своих заметках о Бродском, что, когда они встретились в Нью-Йорке после десятилетней разлуки, в лице Иосифа появилось что-то новое. Кушнер предположил, что постоянная жизнь в английском языке заставила развиться группу лицевых мышц Иосифа, которые раньше были неразвитыми. Он переводил на английский собственные стихи, сохраняя метр и рифму, он писал стихи по-английски, исповедуя те же правила. В результате он перессорился со многими переводчиками и навлек на себя безжалостную ругань английских поэтов и критиков. Результаты перемены места и языка: «совершенный никто».

И впрямь, как пишет его друг Кейс Верхейл еще в сентябре 1972 года, после перелета Бродского в Америку: «В последний раз я слышал его голос, когда он был в Вене. Он не мог взять в толк, что же с ним произошло, — один раз принялся горячо рассказывать мне о первом знакомстве с Западом и о том внимании, которым он, поэт, в России сумевший опубликовать лишь несколько строк из написанного, вдруг оказался окружен; в остальном же был мрачен и полон тихого бешенства. На открытке с фотографией *Tower Bridge* (моста Тауэр), которую он послал мне из Лондона незадолго до отъезда в Америку, были, в частности, такие слова: „Если всерьез — я мертв, если невсерьез: мне дали место *poet in residence* (поэта-преподавателя. — *В. Б.)* в *Ann Arbor'e“».* О его поздней поэзии, написанной как бы после смерти, пишет и Рудольф Нуреев. Позже, уже справившись со сменой империи и языка, он все-таки по-прежнему повторяет уже в интервью 1987 года: «Я полагаю, что страх, высказанный в 1972

году, отражал опасение потерять свое „я“ и самоуважение писателя. Думаю, что я действительно не был уверен — да и не очень уверен сегодня, — что не превращусь в дурачка, потому что жизнь здесь требует от меня гораздо меньше усилий, это не столь изощренное каждодневное испытание, как в России». В 1973 году появилась формула для выражения человека в новом пространстве — «совершенный никто / потерявший память, отчизну, сына» («Лагуна»). Этот его период хорошо проанализировал Владимир Козлов в статье «Непереводимые годы Бродского». Они и впрямь непереводимы. Этого американского англоязычного Бродского не воспринимают всерьез многие критики — и американские, и наши отечественные.

Наверное, его бы не воспринимал и я, но зачем мне непереводимый англоязычный поэт Джозеф Бродски, когда для меня есть великолепный русский поэт Иосиф Бродский? Англоязычного поэта Бродского большинство американских и английских поэтов тоже не воспринимали. Может быть, Америка с точки зрения бытовой жизни и есть самое лучшее место для вечного странника, но вряд ли для русского поэта. Он в каком-то смысле сам себя «изгнал» в «лучшее место в мире». Но не потерял ли он со временем русскость? Как он сам иронично говорит, отвечая на вопрос финского корреспондента: «Есть еще более серьезный упрек — что Вы утрачиваете свою русскость… — Если ее можно утратить — грош цена такой русскости». Он сам же и анализирует свое метафорическое изгнание: «Если бы нам пришлось определить жанр жизни изгнанного писателя — это была бы, несомненно, трагикомедия. Благодаря своему предыдущему воплощению он способен почувствовать социальные и материальные преимущества демократии гораздо острее, чем ее уроженцы. Однако по той же самой причине (главным сопутствующим результатом которой является языковой барьер) он оказывается совершенно неспособным играть сколько-нибудь значительную роль в этом новом обществе. Демократия, в которую он прибыл, обеспечивает ему физическую безопасность, но делает его социально незначительным».

Он сам сползает в изоляцию и поэтическую, и языковую, сам о себе говорит, что прибыл в США уже «без своей Музы». Что может быть страшнее для поэта? «Здесь утром, видя скисшим молоко, / молочник узнает о вашей смерти. / Здесь можно жить, забыв про календарь, / глотать свой бром, не выходить наружу…»

Англоязычного поэта Бродского внимательно разбирает талантливый литературовед Арина Волгина. Она права, когда сравнивает английского и русского Бродского с Льюисом

Кэрроллом: «Английская королева Виктория, прочитав удивительную сказку „Алиса в стране чудес“, потребовала, чтобы ей принесли „все книги этого автора“. Каково же было ее изумление, когда на ее письменный стол легли тома математических трактатов! Приближенные Ее Величества переусердствовали: вместе с книгами Льюиса Кэрролла — тонкого сказочника, мастера поэзии нонсенса — они принесли труды Чарлза Латуиджа Доджсона — известного математика, адепта чистой логики. Однако биографически два этих автора — одна и та же личность!»

То же самое случилось в эмиграции с Иосифом Бродским — он и впрямь становится там *Joseph Brodsky*. Совсем другим человеком, другим поэтом. Не буду касаться его великолепной англоязычной эссеистики, в этом жанре двуязычность удается и Набокову, и Конраду, и Бродскому. Но Бродский прежде всего — поэт. При его жизни за рубежом в Великобритании и США вышли в свет четыре сборника стихотворений на английском языке. А. Волгина упоминает об англоязычных поэтах Крэге Рейне, Питере Портере и других, которые пишут об английской поэзии Бродского скорее как об «антологии плохой поэзии». Она приводит конкретные примеры разгромной критики англофонного Бродского: к примеру, тот же Портер воспринимает как исключения его удачные строки и лаконичные, непозерские стихотворения. В целом же он оценивает эту поэзию чрезвычайно низко. Речь о Бродском Портер завершает прозрачным намеком: судя по сборнику «To Urania», Нобелевская премия, присужденная Бродскому, была политическим демаршем, а не заслуженной поэтом наградой.

Дональд Дэви, известный критик и поэт, хотя и выражает свое мнение не так резко, однако его оценка еще более негативна. Его статья «Насыщенная строка» — не краткая эмоциональная реплика, подобно заметке П. Портера. В ней находится место и анализу, и обширным цитатам, и историческим справкам. Дэви полагает, что английские стихотворения Бродского до отказа перегружены тропами, «гиперактивными метафорами», игрой слов… Финал рецензии, пожалуй, еще строже, чем реплика Питера Портера: Бродский, разумеется, «высокоодаренный поэт, серьезно относящийся к своему призванию», но критики, поторопившиеся с высокими оценками его англоязычного творчества, сослужили ему плохую службу, а присуждение ему в возрасте 47 лет Нобелевской премии было не только преждевременно, но и губительно. «Мы сделали из него монумент и икону, прежде чем научились видеть в нем страдающего человека и добросовестного мастера», — полагает Дональд Дэви.

Противопоставить такой критике можно разве что восторженное эссе близкого друга Иосифа Бродского Дерека Уолкотта. Эта полемика мне интересна, потому что она во многом объясняет нашу отечественную разгромную русскую критику позднего американского Бродского. Критику Александра Солженицына, Наума Коржавина, Льва Наврозова. Но, ощутив свою англоязычную беспомощность, Бродский в поздних стихах на русском языке, от злости и гордыни, пробует время от времени уйти в поэзию странничества, в поэзию «Вечного жида». Это ему удается в гораздо большей мере, чем его англоязычная поэзия; есть немало великолепных страннических стихов, но именно страннические поэзия Бродского вызывает неприятие многих наших читателей. Как в «Пятой годовщине»:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

Сейчас мы вроде бы знаем, что лежит он на венецианской земле, но навечно ли? Кто знает, может, еще со временем и перенесут его прах из Венеции на Васильевский остров по желанию читателей и будущих наследников, как перенесли уже немало захоронений наших именитых соотечественников из парижского Сен-Женевьев-де-Буа, из США, из других центров русской эмиграции. А заодно перенесут на русскую землю прах Сергея Дягилева и Игоря Стравинского… И успокоится уже тогда навеки ипостась «Вечного жида», оставив нам лишь большого русского поэта, «хотя и еврейца». Закончатся его вечное рассеивание и жизнь вне родины. Придет искупление. Без спроса поместили на «Остров мертвых», в вечное изгнание, без спроса и вернут по первому, пророческому адресу. Дай-то бог.

Поздний русскоязычный поэт немало путешествует по миру, равно удаленный от глубинной жизни той или иной страны и нации, лишь прислоненный к местам странствий. Блестящий американский поэт Крэг Рейн не приемлет лишь прикасающегося к его стране и американской поэзии вечного странника Бродского; талантливый русский поэт Александр Бобров, так же как Наум Коржавин или Евгений Евтушенко, не приемлет лишь прикасающегося к русской поэзии, к русской культуре вечного странника Иосифа Бродского его позднего американского периода. Как писал Евтушенко, «Бродский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом». Я бы согласился с Евгением Александровичем, но вряд ли он говорит о стихах Бродского периода его северной ссылки, вряд ли в своей книге

Александр Бобров оспаривает его стихи «Северный край, укрой…». «В деревне Бог живет не по углам…», «Народ» или же так пленившие Александра Солженицына стихи из цикла «Новые стансы к Августе».

Замечу, как часто ниспровергателей Бродского затягивает его поэзия. В книге Александра Боброва «Вечный скиталец» автор хотел показать чужеродность поэзии Бродского, но сам же втянулся в его пророческую поэзию северного периода. Да, у него есть скептические, даже циничные стихи типа «Представления». Но подобные стихи иногда прорывались у Сергея Есенина в период его богоборчества, у Александра Блока («Пальнем-ка пулей в святую Русь…») и у многих других русских классиков, начиная с Пушкина и Лермонтова… Просто напомню, что Бобров сам же в книге своей и опровергает себя, приводя в пример стихи того же Бродского: «Вот пророческие стихи, чисто имперские:

Лучше быть голодным и усталым,
Чем холопом доедать объедки,
Лучше быть в Империи капралом,
Чем царем — в стране-марионетке.

Как это злободневно звучит сегодня по отношению ко всем странам, тявкающим на Россию! Но Бродский в нелепой кофте из местечкового фильма никогда бы не написал таких строк…»

Так о чем же спорить с тобой, Саша? Из 350 страниц «антибродской» книги Боброва, страниц 300 как минимум написаны в его возвеличивание, с цитатами из Якова Гордина, Анатолия Наймана, Валентины Полухиной. Александр Бобров сам же и размышляет, почти так же, как я, о «лучшем периоде» его жизни на Севере: «А ведь туда приезжали и его друзья, и любимая, там были написаны самые светлые строки…» Сам потом же себя и оспаривает. Приведены и две мои статьи о русском поэте Иосифе Бродском.

Стихи скитающегося Бродского не жалуют и его давние друзья. Как пишет Евгений Рейн, Бродский «отказался от того, что так характерно для всей русской лирики — темпераментной, теплокровной, надрывной ноты». С Евгением Рейном полностью солидарна Елена Шварц: «Он привил совершенно новую музыкальность и даже образ мышления, несвойственный русскому поэту. Но нужно ли это русской поэзии? Я не уверена, что это русский язык. Это какой-то иной язык. Каждым поэтом движет какая-то стихия, которая за ним стоит. Холодность и рациональность малосвойственны русской поэзии. Ей свойственна внутренняя и глубокая надрывность». А уж от

«Представления» отказываются почти все подряд, и поэтически, и политически. Кому это надо: «С того света, как химеры, палачи-пенсионеры» или же «Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик»? Недаром Александр Солженицын характеризовал «Представление» как «срыв в дешевый раешник, с советским жаргоном и матом, и карикатура не столько на советскость, сколько на Россию».

Отмечу только, что подобное отстранение и даже отчуждение в ипостаси вечного странника у Иосифа Бродского относится не только к России или к Москве, но и к Америке, к Венеции, к Стамбулу, а уж тем более к абсолютно чуждому ему Израилю. Не забудем его: «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый…» Да, можно возмутиться, когда Бродский иронизирует, когда пишет свое «Представление», но такие же дешевые раешники он устраивал и по отношению к Америке, вовсю издевался и над Западом, и над Востоком от Китая до Турции, любил поиздеваться и над самим собой. Ведь это же он о себе самом пишет:

Гражданин второсортной эпохи гордо
Признавал он товаром второго сорта
Свои лучшие мысли, мыслишки же прочих
Некондицией вовсе считал, пророча.

Ему не нужна была героическая биография, он хотел жить так: «Не знаю я, известно ль вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова…» В одном из интервью на вопрос, кто он на самом деле, Бродский дал исчерпывающий ответ: «Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединенных Штатов Америки». Вот и можно написать три книги: о русском поэте (что я и делаю), о блестящем англоязычном эссеисте и о благополучном и даже достаточно обывательском законопослушном гражданине США.

Как русский поэт Иосиф Бродский даже в свой американский период жалеет о разрушенной империи, говорит о себе «мы, кацапы…» и даже порой рвется плюнуть на всё и поехать в Россию, но сам же себя и останавливает: «Время от времени меня подмывает сесть на самолет и приехать в Россию. Но мне хватает здравого смысла остановиться. Куда мне возвращаться? Ведь это теперь уже другое государство, чем то, в котором я родился. Я по-прежнему думаю об этой стране в категориях Союза, не России, с этой страной меня связывает только прошлое. Прошлое, которое дало мне абсолютно все, дало понимание жизни. Россия — это совершенно поразительная экзистенциальная лаборатория, в

которой человек сведен до минимума, и потому ты видишь, чего он стоит. Но возвратиться в прошлое нельзя и не нужно. У человека только одна жизнь, и когда справедливость торжествует на тридцать или сорок лет позже, чем хотелось бы, — человек уже не может этим воспользоваться. Поздно. К сожалению, поздно. Я не хочу видеть, во что превратился тот город Ленинград, где я родился, не хочу видеть вывески на английском, не хочу возвращаться в страну, в которой я жил и которой больше нет. Знаете, когда тебя выкидывают из страны — это одно, с этим приходится смириться, но когда твое Отечество перестает существовать — это сводит с ума»…

Парадоксально, но Иосиф Бродский не хочет возвращаться именно в перестроечный Петербург, где все вывески на английском и названия фирм звучат по-английски. Русский поэт хочет оставаться в своей имперской, советской русскости. Впрочем, он и не отрицает своей «советскости».

Уже не как американский гражданин и англоязычный эссеист, а как «странствующий по миру еврей» Иосиф Бродский предпочитает стать «совершенным никто» и писать «Ниоткуда с любовью…». Но ему никогда не преодолеть дистанцию между «русским» и «англоязычным» Бродским. Англоязычный читатель по обе стороны океана воспринимает его книгу стихов не как переводное издание, а как сборник англоязычной поэзии, в уме же думает: очевидно, у него есть нечто выдающееся, написанное по-русски? Главное, это прекрасно понимал, споткнувшись сам о собственные нелепости, и Иосиф Бродский. В разговоре с Соломоном Волковым о «неминуемом переходе на англоязычные рельсы» он заметил: «Это и так, и не так. Что касается изящной словесности — это определенно не так. <…> Но стихи на двух языках писать невозможно, хотя я и пытался это делать…» О том же поэт говорил и Свену Биркертсу: «Прежде всего, мне хватает того, что я пишу по-русски. А среди поэтов, которые сегодня пишут по-английски, так много талантливых людей! Мне нет смысла вторгаться в чужую область. Стихи памяти Лоуэлла я написал по-английски потому, что хотел сделать приятное его тени. <…> И когда я закончил эту элегию, в голове уже начали складываться другие английские стихи, возникли интересные рифмы. <…> Но тут я сказал себе: стоп! Я не хочу создавать для себя дополнительную реальность. К тому же пришлось бы конкурировать с людьми, для которых английский — родной язык. Наконец — и это самое важное — я перед собою такую цель не ставлю. Я, в общем, удовлетворен тем, что пишу по-русски, хотя иногда это идет, иногда не идет. Но если и не идет, то мне не приходит на ум сделать английский вариант. Я не хочу быть

наказанным дважды…»

При работе над образом Иисуса, в раздумьях над судьбами еврейского народа у прекрасного русского скульптора, еврея по национальности, Марка Антокольского появилась мысль изобразить еврейский народ в образе Вечного странника. Из письма корреспондентке, которая пользовалась его доверием: «У меня два сюжета, которые меня одинаково сильно занимают. Первый — это „Вечный жид“ — исхудалая, жилистая фигура, насколько усталая, настолько же и энергичная. Оборванный, обросший, съежившись, идет он безостановочно против бури и ветра, который развевает остатки его лохмотьев. Это эмблема не только еврейства, но и всех угнетенных. Второй сюжет — святая мученица из времен раннего христианства: по-видимому, еще не римлянка, а еврейка…» Увы, воплотить замысел Марк Антокольский не успел…

Пришлось этот образ, даже не называя, воплощать своей позднеэмигрантской жизнью Иосифу Бродскому. «Вечный жид» — это одно из проявлений «мировой скорби», охватившей европейский мир… Может быть, этот вечный образ и переходит время от времени в разные реальные личности, и в том числе на какой-то момент в Бродского?

Именно такого вечного скитальца изобразил в своем романе «Теплоход „Иосиф Бродский“» мой друг Александр Проханов:

> «Некоторое время чародейка взирала на большой портрет Иосифа Бродского, украшавший кают-компанию. Из рамки красного дерева смотрело изнуренное, с большими глазами, лицо иудейского мученика, прозревавшего весь скорбный путь богоизбранного народа от грехопадения, египетского плена, исхода, бессчетных гонений и рассеяний до напрасной попытки создать государство Израиль, обреченное пасть под ударами палестинских гранатометов…
>
> — Все вы правы. — Вещунья озирала гостей проницательными очами, над которыми наведенные брови выгибались синими дугами. Сова, вторя ей, поворачивала круглую голову с ненавидящими золотыми глазами. — Видите ли, Иосиф Бродский вездесущ. Он был в далеком прошлом, существует ныне во множестве воплощений и никогда не исчезнет, какие бы сюрпризы ни преподносила нам история. Человечество, с момента зарождения, двигалось от одного Иосифа Бродского к другому, которые являлись в самые переломные, драматические периоды, не позволяли истории

уклониться от божественного промысла. „Иосиф“ на арамейском языке — „подающий знак“. Иосиф Бродский — это тот, кто подает человечеству знаки, уводя за собой сбившуюся с пути историю. Таким был Иосиф, сын Иакова, проданный братьями в Египет, что предопределило появление Моисея, великий „исход“, скрижали, скинию и весь иудаизм как неизбежный путь человечества. Таким был великий историк и метафизик Иосиф Флавий, предсказавший христианство. Никто не сомневается, что святой Иосиф, в семье которого родился Христос, был такой же путеводной звездой человечества. <…>

Есаул смотрел на портрет в лакированной рамке, — выпуклые, печальные, переполненные тайными слезами глаза, наклоненная голая шея, словно ее побрили перед ударом топора, горько сжатые губы, познавшие тщету славословий, вкусившие полынь молчания. Он чувствовал непостижимую связь, сочетавшую его, потомственного казака Есаула, и этого печального иудея, занесенного в русскую жизнь, как заносит астероид в пространство чужой планеты. Эта связь была неявной, состояла из мучительной несовместимости и сладкой нерасторжимости. Донской казак, военный разведчик, изощренный государственный муж. И иудей, печальный изгнанник, болезненный стихотворец. Они являли собой две ветви расщепленного человечества, которые пытались срастись и в тщетных попытках истребляли друг друга. Погибали в этом непрерывном борении, уповая на смерть, в которой снова сольются… Есаул переживал странное прозрение. Иудей Иосиф Бродский и он, Есаул, донской казак, были лютыми врагами по крови, обильно пропитавшей грешную русскую землю. Но их астральные тела обагрили метафизической кровью одну и ту же стальную ось, по которой текли и сливались струйки их метафизической крови, создавая таинственную общность их творческих душ и судеб, обреченных на поиск истины, на жертвенность, на поношение близких, на нестерпимую, непреходящую боль.

Колдунья между тем принялась ворожить. Извлекла табакерку, где хранился порошок растертой в труху саламандры. Кинула на стол колоду игральных карт, рассыпав ворох валетов, тузов и дам. Пересадила сову на другое плечо, отчего недовольная птица зашипела и

выпустила из-под хвоста ядовитый шмоток…

— Явись, лжец!.. Иначе книгу твою буду сечь лозой, пороть розгой, кину на уголья, превращу в мертвый пепел! — Она швырнула в свечу последнюю щепоть порошка. Комната озарилась фиолетовым светом. Ударил гром. Из рамы, неловко, как перелезают через забор, вылез тощий, угловатый, болезненный человек. Дико вращал глазами, затравленно поворачивая шею. Перенес через раму сначала одну тонкую ногу, потом другую. На нем были длинная, расстегнутая на груди рубаха, белые кальсоны с тесемками, стоптанные туфли на босу ногу. Так одевают пациентов в сумасшедших домах. Загнанно глядя на мучительницу, путаясь в тесемках, бочком протиснулся меж рядов, добрался до двери, вышел на палубу. Переступил через борт и мягко опустился на воду. Не утонул, а лишь слегка разбередил поверхность. Сутуля плечи, прижимая руки к груди, пошел по водам, удаляясь, переставляя неловкие ноги, тощий, одинокий, в сторону берега, оставляя на воде след, подобный росчерку ветра. Следом, покинув плечо колдуньи, полетела сова, уменьшаясь, переваливаясь с крыла на крыло.

Все, обомлев, смотрели, как уходит по водам Иосиф Бродский…»

Я уж боюсь даже думать, с чьим ликом сравнивает Проханов своего героя, шагающего по водам. Непонятно, как не обратили внимание на этот образ вечного скитальца наши бродсковеды. Такого возвеличивания «подающего знак» иудейского мученика еще не было в нашей литературе…

Сам Иосиф Бродский размышляет на эту тему: «Никто не вбирает в себя прошлое с такой полнотой, как поэт, хотя бы из опасения пройти уже пройденный путь. (Вот почему поэт оказывается так часто впереди „своего времени“, занятого, как правило, подгонкой старых клише.) Что бы ни собирался сказать поэт, в момент произнесения слов он сознает свою преемственность. Великая литература прошлого смиряет гордыню наследников мастерством и широтою охвата. Поэт всегда говорит о своем горе сдержанно, потому что в отношении горестей и печалей поистине он — Вечный жид…»

Вот уж верно, в отношении своих позднеамериканских эмигрантских горестей и печалей поэт Иосиф Бродский и впрямь настоящий Вечный жид. Он отошел от этой ипостаси в последние годы, после свадьбы с Марией, после рождения любимой дочурки

и, может быть, вернулся бы к «оседлой поэзии» хотя бы американского образца. Но — случилась смерть, а потом, через год, перенос его останков в Венецию, на остров Сан-Микеле.

Он сам выбрал себе защитную нишу в эмиграции, нишу странствующего никто, не желая становиться полноценным американским гражданином. Вскоре после отъезда в США, в 1972 году, узнав о смерти друга Сергея Чудакова (известие оказалось ложным), Иосиф Бродский посвятил ему стихотворение «На смерть друга»:

> Может, лучшей и нету на свете калитки в ничто,
> Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
> Вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
> Чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
> Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
> Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
> Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
> С берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Замечательное стихотворение, но уже и не русского пасынка, и отнюдь не американского приемыша. Это многажды повторяемое в разных и проходных для него и знаковых стихах существование в «нигде», адресованное в «ничто», написанное «неизвестно когда» — наверное, и есть суть просыпавшегося в Бродском Вечного жида? Этот образ в каком-то смысле вненационален, это еврей в вечном изгнании, но никак не иудей по вере и не привязанный к месту израильтянин. Поэт Виктор Куллэ пишет применительно к Бродскому: «Не знаю, существует ли на генетическом уровне еврейская тяга к странствиям. Возможно, жадность к миру, стремление все увидеть своими глазами, везде побывать и является отличительной чертой еврейского народа…»

Олег Осетинский интересно сравнивает Иосифа Бродского с Сергеем Чудаковым, ныне почти забытым поэтом, другом Бродского:

> «„Оглушены трудом и водкой / В коммунистической стране, / Мы остаемся за решеткой / На той и этой стороне!“ — писал незабвенный Серж Чудаков в 62-м… А в 1989-м, в городе Риме, Иосиф Бродский спокойно сказал мне:
>
> — Если по правде, то Нобелевку нужно было дать Сереже. Я серьезно.
>
> — А как же — *злостное*? — хохотал я. — „Злостное

неповиновение“! Ты вот вроде „политический“, — но корректный!

— Я — корректный? — как бы обиделся Бродский. — А кто сочинил вот это: „Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик!“

— Так это ж письменность, Ёсик! Ты ж не грыз милиционеров, не выпрыгивал из зала суда на Сивцевом, не продавал девиц киношникам!

— Да-да! — Бродский грустно качнул головой. — Конечно, нобелевцы никогда б ему не дали, они ханжи, еще похуже совков!..

„Злостное неповиновение органам правопорядка“ — строчки из приговора поэту Сергею Чудакову. Златоуст-златоротец, русский Вийон. Грязнющая пивная на Дорогомиловке была его башней из слоновой кости. Помню его признания: „Я живу на доходы от школьницы, / На костре меня мало спалить!“ Помню и строчки Лени Губанова: „Пусть он был обормотом и вором, / Все равно мы покрепче той свары, / Все равно мы повыше той своры, / Все равно мы звончее той славы!“… Рядом были, конечно, Вознесенские — Евтушенки, они тоже как бы сопротивлялись режиму, — шумно, но не „злостно“… — *выживая*! Гримеры совка, они вслед за ВВ (не Путиным!) выгодно обменяли желтые кофты на желтые ботинки и заграничные вояжи, но мужской логики выстрела-покаяния, с которым Маяковский все-таки обрел Судьбу Поэта, не хватило из них никому…

А подлинные гении, аватары, — Чудаков, Губанов, Красовицкий, даже Бродский — в кремлевский сортир не вписались! — и власть их изгнала или растоптала, а стихи оставила — „на потом!“. „Прости, железная держава, что притворялась золотой!“ Бродскому удавалось скрыть эзотерический вызов под вполне пристойным католицизмом, потому и выпала Нобелевка. Думаю, он втайне страдал от невозможности *прыжка* радикального, апофатического!»

В каком-то смысле я согласен с Осетинским: Бродскому удавалось скрывать свой эзотеричный лик Вечного жида, потому и получил Нобелевку. Ведь дело не в еврействе, дело в эзотеричности этого неполиткорректного образа… По сути Вечный жид — это мировой радикально неполиткорректный образ, чуждый и России, и Европе, и Америке, и Израилю…

Этот лик и описал Иосиф Бродский в своей «Пятой

годовщине», написанной к пятилетию его эмиграции:

На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Это уже не американское пространство, не европейское или еще какое-нибудь, в нем нет места никакой нации и никакой державе. Как контраст можно вспомнить его же тоже эмигрантское, но совсем иное по смыслу и звучанию стихотворение, где он пытается стать сыном Америки:

Я, пасынок державы дикой
С разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый…

Удавалось ему стать подлинным американцем, но редко. Все-таки чаще всего в поздний его период побеждало странничество. Нет ни русских пасынков, ни американских приемышей, есть осознанно антиэстетическое, антинациональное, неприлично болезненное осознание «на языке человека, который убыл…». Он искренне разоблачает сам себя и свою немощную дряхлость и ненужность: «Могу прибавить, что теперь на воре, / уже не шапка — лысина горит…»

Так и будет появляться в разных странах эта странствующая поэзия Иосифа Бродского. И вновь будет появляться нам странный герой, и это явное самоощущение поэта Иосифа Бродского:

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Все-таки не случайно Иосиф Бродский любил китайские ресторанчики. Именно там и дождался он своей Нобелевской премии в 1987 году. Конечно же, он знал, что является одним из трех-четырех фаворитов премии. Готовился к ней, мечтал о ней. Когда-то в гостях у Лосевых он написал шуточное двустишие по-французски:

Prix Nobel?
Oui, ma belle, —

что означает: «Нобелевская премия? / Да, моя красавица».

Уже с 1980 года его имя фигурировало в списке вероятных кандидатов, так что у мировой общественности присуждение ему Нобелевской премии особого удивления не вызвало. Но момент неожиданности всегда оставался.

В ожидании возможного решения Иосиф Бродский, прилетев из Нью-Йорка, остановился в Лондоне, как обычно, у своих давних друзей, известного пианиста Альфреда Бренделя и его жены Рене, в симпатичном местечке Хэмпстед, дачном пригороде британской столицы. Хэмпстед облюбовали писатели и художники, артисты и музыканты. Здесь жили Ромни, Стивенсон, Голсуорси, Грэм Грин… Поблизости — квартиры-музеи поэта Китса и Зигмунда Фрейда, здесь когда-то жила балерина Тамара Карсавина и находится знаменитый дом Анны Павловой. Рядом с Грэмом Грином жил и автор шпионских книг Джон Ле Карре — литературный псевдоним, под которым приобрел мировую известность Дэвид Джон Мур Корнуэлл. Ле Карре хорошо знал Иосифа Бродского, и в этот день, 22 октября 1987 года, они решили вместе пообедать в любимом китайском ресторанчике.

Джон Ле Карре позже рассказывал Валентине Полухиной:

> «Когда я позвал Иосифа на ланч, я думаю, он принял приглашение по двум причинам: во-первых, у Рене Брендель не принято было пить, во всяком случае не столько, сколько ему хотелось бы, а во-вторых, конечно, ему надо было как-то убить время в ожидании новостей. У меня-то об этом не было ни малейшего представления. Я просто-напросто не помнил, что это был как раз момент присуждения Нобелевских премий. Я не люблю литературу в ее общественных проявлениях, литература

как индустрия мне противна. И тут Рене Брендель появилась в дверях. Она крупная немка, высокая, все еще говорит с легким немецким акцентом, весь авторитет и известность ее мужа как бы перешли к ней, и она говорит: „Иосиф, тебе нужно идти домой“. А он говорит: „Зачем?“ К этому времени он уже выпил два или три больших виски (большой виски — 62 грамма. — *В. Б.)*. А она говорит: „Тебе присудили премию“. Он говорит: „Какую премию?“ А она говорит: „Нобелевскую премию по литературе“. Я сказал: „Официант! Бутылку шампанского!“ Так что она присела и согласилась на бутылку шампанского. Я у нее тогда спрашиваю: „Вы откуда узнали?“ Она говорит: „Шведское национальное телевидение подстерегает Иосифа возле нашего дома“.

Оставаясь в этот момент единственным трезвомыслящим человеком, я спрашиваю: „Кто вам сказал, почему вы уверены?“ Она говорит: „Все шведы говорят“. Я говорю: „Ну, знаете, кандидатов-то три или четыре, так что шведы, может, у каждой двери караулят, нам надо поточнее разузнать, прежде чем мы сможем спокойно выпить шампанского“. А тогда как раз издатель Иосифа, Роджер Страус, был в Лондоне, так что Джейн позвонила ему в гостиницу, и он подтвердил, что да, пришло сообщение из Стокгольма о том, что премия присуждена Иосифу. Итак, мы выпили шампанского. Иосиф шампанского не любил, согласился символически, ему хотелось еще виски, но Рене сказала, что ему нужно идти домой, и мы пошли… Выглядел он совершенно несчастным. Так что я ему сказал: „Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни“. Он пробормотал: „Ага, ага…“ Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал: „Итак, начинается год трепотни“. Это было великолепно. И потом он отправился приниматься за свои дела. Конечно же, была у Иосифа и другая сторона — он был выдающимся профессионалом. Умел оказывать давление на кого надо и, я уверен, делал это… Я познакомился с ним в доме Рене Брендель, но он у них тогда не останавливался, а снимал что-то под горкой в Саут Энд Грин, и после ужина у Рене (мы сильно выпили, но были в очень хорошем настроении) мы дошли до его дома и пили там уже вдвоем. У него там была впечатляющая коллекция виски. Это было еще до того, как я побывал в

России. После этого мы встречались еще пять-шесть раз. Я чувствовал, что ему приятно со мной, а мне было приятно с ним…»

Дальше пошел тот самый, счастливый «год трепотни», год встреч с королевой Швеции, выступлений в самых изысканных обществах, бесчисленных интервью и поездок. В первом же интервью, которое он дал после китайского ланча с Ле Карре, Бродский публично заявил, кому обязан этой премией: «Ее получила русская литература». Да, сам Иосиф Бродский был к тому времени гражданином Америки, но премию-то дают не за гражданство, а за творчество, а творчество его принадлежало русской литературе. Он долго раздумывал над тем, на каком языке читать нобелевскую лекцию. Написал он ее по-русски, затем сам же перевел на английский язык и до самого последнего момента вносил поправки. Ему предлагали прочитать английский вариант, но это означало бы, по мнению самого Бродского, что премию получил англоязычный эссеист, а он себя считал прежде всего русским поэтом и потому выбрал для выступления русский текст.

С этим текстом связан и политический сюжет. Представители советского посольства в Стокгольме выразили желание присутствовать на вручении Бродскому Нобелевской премии. Советским послом в Швеции в то время был бывший главный редактор «Комсомольской правды», известный литературный критик Борис Панкин. Как критик, он прекрасно понимал, что у него есть шанс войти таким образом в историю литературы. Но как советский дипломат, он хотел знать, что в прочитанном тексте не будет выпадов против Советского Союза. Насколько я понимаю, Бродский и сам был бы не против пойти на первый контакт с официальным представителем своей родины. Заниматься какой-то особенной политикой в своей лекции он не собирался, но тем не менее обойтись без высказываний о трагической судьбе литературы в России XX века не мог. Пришлось так мечтавшему поучаствовать в церемонии советскому послу Борису Панкину отказаться от участия в церемонии.

Бродский оказался пятым русским писателем, удостоившимся этой высокой литературной награды после И. Бунина (1933), Б. Пастернака (1958), М. Шолохова (1965) и А. Солженицына (1970). В формулировке Нобелевского комитета было сказано: «Премия присуждается за литературное творчество редкостной широты, отмеченное остротой интеллекта и поэтической интенсивностью».

В России уже начиналась перестройка, и поэтому власти, в

отличие от предыдущих гневных нападок на нобелевских лауреатов Бориса Пастернака и Александра Солженицына, не спешили бурно реагировать. Но уже короткое время спустя о Бродском заговорила вся Россия, весь тогда еще Советский Союз. Ведь и в этот раз определенная политическая интрига была: на премию выдвигали и советского писателя Чингиза Айтматова. Вполне может быть, что это лишь усилило шансы Иосифа Бродского — все западное антисоветское лобби поддержало поэта. Ну и хорошо. Получил бы премию Айтматов — стал бы киргизским нобелевским лауреатом, а России бы никакой славы не досталось, хотя Айтматов тоже писал по-русски и был воспитан на русской культуре. А Бродский так сразу же и заявил, что премия дается русской литературе! К перестройке он отнесся с присущим ему скептическим юмором, написал на эту тему сатирическую пьеску «Демократия», Горбачева всерьез воспринимать не хотел, но за событиями в России следил внимательно.

Уже 8 ноября, еще до вручения Нобелевской премии в Стокгольме, в «Московских новостях» появилось скромное упоминание о присуждении премии русскому поэту без каких-либо оценок его творчества. А в декабрьском номере «Нового мира» была напечатана отлично составленная Олегом Чухонцевым подборка стихов: «Письма римскому другу», «Письма династии Минь», «Новый Жюль Верн»… Так началось литературное возвращение Иосифа Бродского на родину. «Как блудный сын, вернулся в отчий дом / и сразу получил все письма».

Появились и первые отклики на присуждение премии, высказанные русскими писателями. Юнна Мориц откомментировала событие так: «Это победа над всеми формами имитации и лакейства». Не получивший премию Чингиз Айтматов сдержанно отметил: «Выражу только свое личное мнение. К сожалению, лично я его не знал. Но причислил бы к той когорте, которая сейчас ведущая в советской поэзии: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Возможно (это мое личное предположение), его стихи будут у нас опубликованы. Если поэт известен лишь узкому кругу почитателей, это одно. Когда его узнают массы — это совсем другое». 25 октября о вручении Иосифу Бродскому Нобелевской премии объявили под аплодисменты со сцены Большого зала Центрального дома литераторов. Лидия Чуковская сразу же отреагировала: «Все мы тут уже с четверга поздравляем друг друга…»

Газеты всего мира сообщили о премии на самых видных местах, активно беря интервью у находившихся за границей или в

эмиграции писателей. Помню, я в то время, в октябре 1987 года, был в Мексике на гастролях Малого театра, в котором тогда работал завлитом. Ко мне приехал корреспондент крупной мексиканской газеты «Эксельсиор», и я с радостью высказался о присуждении премии Бродскому. В Париже в «Русской мысли» сразу же откликнулся друг Бродского, известный писатель Владимир Максимов: «Гораздо ближе нас свела эмиграция. Честно говоря, зная его, зная глубоко укорененное в нем отвращение ко всякого рода политике или общественной деятельности, я даже не решился предложить ему в самом начале войти в редакционную коллегию „Континента“, а когда как-то в случайном разговоре затронул эту тему, то к своему удивлению и, не скрою, радости получил немедленное согласие. Надо хорошо знать Иосифа Бродского, чтобы по-настоящему оценить этот его шаг. Кому-кому, а мне-то доподлинно известно, какое огромное давление приходится выдерживать не только нашим членам редколлегии, но и рядовым авторам со стороны тех, кто, как на Востоке, так и на Западе, не брезгует никакими средствами, только бы заткнуть рот подлинно свободному русскому слову…

Его публикации в „Континенте“ — всегда событие и для редакции, и для читателей. Я заранее знаю, что номер, в котором печатается Бродский, разойдется сразу и до последнего экземпляра. И закономерно, ибо, что бы он ни предложил своей аудитории — стихи, эссе или мысли о литературе, — это всегда будет написано, как выразился однажды Борис Пастернак, до полной гибели всерьез. Недаром авторская библиография поэта оказалась в нашей картотеке наиболее обширной: 18 публикаций за неполных 14 лет существования журнала. Присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе за 1987 год — это не только событие в русской литературе вообще, но и праздник для всех нас: и на родине, и в эмиграции…»

Еще один известный эмигрант, критик и философ Никита Струве сказал: «У русской поэзии Нобелевский комитет оставался в долгу (Пастернака в 1958 году прославил „Доктор Живаго“): в лице Бродского великая гонимая русская поэзия XX века, которой, пожалуй, в мире равных нет, признана в присущем ей универсальном значении».

Прислал свое поздравительное письмо лауреату и президент США Рональд Рейган.

Шестого декабря Иосиф Бродский прилетел в Стокгольм. В тот же день провел пресс-конференцию. 8 декабря прочитал нобелевскую лекцию в здании Шведской королевской академии. На другой день был торжественный прием в здании Шведской

академии, а вечером — выступление в Стокгольмском драматическом театре.

Десятого декабря в ратуше король Швеции Карл XVI Густав вручил поэту Нобелевскую премию по литературе в размере 340 тысяч долларов. В ответ Бродский произнес благодарственную речь. Он откровенно радовался, хотя и смущался, и по своей неисправимой привычке подшучивал над «голливудски-опереточным характером» мероприятия. Он разделял для себя литературную значимость Нобелевской премии и сиюминутный карнавальный ритуал, ему откровенно чуждый. После вручения премии он писал Исайе Берлину: «После речи в Академии — салют в честь моей милости в стокгольмском небе. От всего этого чувствуешь себя лгуном, жуликом, узурпатором, подлой, неискренней скотиной… С другой стороны, для человека, родившегося в Петербурге, обедать со шведским королем в его дворце — переживание в известной мере пикантное… Меня не оставляло некое смутное ощущение исторической логики происходящего».

На празднование в Стокгольм приехали его друзья — Лев Лосев, Томас Венцлова, Маша Воробьева, Вероника Шильц, Кейс Верхейл, Джованни Буттафава, Марго Пикен. Бродский искренне жалел, что до этого момента не дожили его отец с матерью. Увы, проживи они еще три-четыре года, и всё могло бы пойти по-другому. Во-первых, в декабре 1987 года родителей на церемонию обязательно бы уже пустили; во-вторых, неизбежно бы и сам Иосиф вскорости не один раз побывал бы на родине. Но прошедшего не воротишь. И остался лежать нобелевский кот с книжкой под мышкой на прибалтийских берегах со стокгольмской ратушей в изголовье, внимательно вглядываясь в сторону родного Санкт-Петербурга. Когда празднования утихли, Иосиф Бродский подвел итоги: «В моем лице победили как минимум пятеро. Это Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Оден и Фрост. Без них я бы не состоялся как писатель, как поэт. Без них я был бы гораздо мельче».

Впрочем, о своих славных предшественниках он говорил и в нобелевской лекции. Эта блестящая речь подтверждала значимость литературы для жизни вообще, для каждого человека в частности:

> «Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную — но не стихотворение, скажем Райнера Марии Рильке. Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без

посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия — разнодушие и разноголосие, на месте решимости к действию — невнимание и брезгливость. Иными словами, в нолики, которыми ревнители общего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает „точку-точку-запятую с минусом“, превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу. Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую „лица необщим выраженьем“. В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь…»

И уже как окончательный вывод: «Язык и, думается, литература — вещи более древние, неизбежные, долговечные, чем любая форма общественной организации».

Иосиф Бродский кроме своего поэтического и, шире, литературного творчества был великим пропагандистом самой литературы. Пожалуй, никто до него из нобелиатов так страстно и логично не доказывал первичность искусства и литературы:

«При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что „сапиенсу“ пора остановиться в своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия „хорошо“ и „плохо“ — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории „добра“ и „зла“. В этике не „все позволено“ потому, что в эстетике не „все позволено“, потому что количество цветов в спектре

ограничено. Несмышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный. Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее».

За одну нобелевскую лекцию ему можно было дать Нобелевскую премию. Я уже не говорю о постоянной пропаганде русской литературы в его выступлениях. В этих выступлениях он часто был несдержан; к примеру, речь на выпускной церемонии в колледже Маунт-Холиок, где поэт иронизировал над всеми либеральными догмами, до сих пор не опубликована, считается реакционной и даже расистской.

Иосиф Бродский явно не желал быть тихим и незаметным литератором. В чем-то он был близок Владимиру Маяковскому. Он считал, что поэзия должна широко внедряться в любое общество любыми средствами. Предлагал томики стихов ведущих поэтов размещать наряду с Библией в номерах отелей, рекомендовал чтение стихов на станциях метро. Собственно, об этом же он говорил в своей нобелевской речи: «Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков и алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом… Над человеком, читающим стихи, труднее восторжествовать, чем над

тем, кто их не читает. Конечно, это чертовски окольный путь из Санкт-Петербурга в Стокгольм, но для человека моей профессии представление, что прямая линия — кратчайшее расстояние между двумя точками, давно утратило свою привлекательность».

Фотокорреспондент Александр Стефанович сумел побывать на церемонии вручения Нобелевской премии, хотя и не имел права на аккредитацию как советский журналист — посольство не разрешило. Он снимал церемонию на дешевую мыльницу и записывал выступления на купленный плеер. К тому же Стефанович привез из России в подарок Бродскому галстук Пастернака, который был на нем в шведском посольстве. Стефанович рассказывает: «Я привез Бродскому галстук Пастернака. По легенде Евгения Рейна, этот галстук был на Пастернаке, когда он в шведском посольстве узнал, что ему присудили премию. На фотографиях видно, как Иосиф снимает свой галстук и надевает новый — Пастернака. Он же очень обрадовался подарку, сказал: „Я в этом галстуке буду ‘нобелюху’ получать“». Все-таки «нобелюху» получать пришлось в другом, официальном наряде, пришлось влезть в непривычный и неудобный фрак, но галстук Пастернака поэт хранил при себе. Интересно: когда и кому из русских писателей будет подарен галстук Бродского?

В своих заметках Александр Стефанович отметил резкое недовольство советского посольства выступлением поэта: «Новый вариант речи был более полемичным. В частности, Иосиф вставил такую фразу: „Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже, а Мао Цзэдун, так тот даже стихи писал, но список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного“. С официальной советской точки зрения в 1987 году эта фраза была вызывающей. На следующий день это отметили все газеты… Надо сказать, что советские дипломаты и журналисты лекцию проигнорировали. Я был в академии единственным человеком из нашей страны. Вероятно, поэтому на следующий день меня пригласил к себе советский посол Борис Дмитриевич Панкин, бывший редактор „Комсомольской правды“. Он был огорчен: „Зачем Иосиф это сделал? Я в каждой шифровке пишу в Москву, что не надо нам повторять прежних ошибок. Неужели истории с Пастернаком и Солженицыным ничему не научили? Присуждение премии Бродскому можно было записать себе в актив, особенно в эпоху перестройки. А он такое про Ленина“».

Интересно, что в этом юбилейном интервью Стефановичу Иосиф Бродский еще собирается приехать в Россию:

«— Хотели бы вы приехать на родину?

— Хотел бы.

— Тогда, надеюсь, мы скоро увидим вас в России…

— Честно признаюсь, я этого немного боюсь. А что касается надежды, то замечательный английский мыслитель Фрэнсис Бэкон сказал: „Надежда — это хороший завтрак, но плохой ужин“.

— Вы жили в Ленинграде, в Питере, совсем недалеко от того дома, где жил когда-то Нобель. Когда вы проходили мимо, никаких параллелей не возникало?

— (*Улыбнувшись*.) Абсолютно никаких!

— Я думаю, что когда-нибудь на том доме, где вы жили, тоже появится мемориальная доска с надписью об этом.

— Мемориальные доски появляются только после смерти человека. Так что чем позже это произойдет, тем лучше.

— Какую линию в русской поэзии вы продолжаете, кто были ваши учителя?

— Этот список довольно большой, начиная с Кантемира, — Державин, Баратынский, Александр Сергеевич, конечно, Вяземский. В двадцатом веке для меня наиболее существенными были Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Клюев. Из послевоенного поколения — Слуцкий. А учителем моим всегда был Рейн…»

А тем временем и в Ленинграде, и в Москве начались вечера поэзии нобелевского лауреата Иосифа Бродского, организованные Яковом Гординым, Евгением Рейном, Михаилом Козаковым. Постепенно то в одном журнале, то в другом стали появляться его стихи. Границу приоткрыли, и начиная с лета 1988 года Бродский уже стал выступать на литературных вечерах вместе с приехавшими из России писателями. 18 сентября, через 16 лет разлуки, к нему в Нью-Йорк прилетел Евгений Рейн, они проводили совместные вечера поэзии.

Стремительно росла мировая известность, еще стремительнее таяли нобелевские денежки. Многие знакомые подтверждают, что не привыкший к большим деньгам поэт щедро раздаривал свою премию всем нуждающимся. Выстроилась целая очередь. Посыпались и просьбы: помочь получить грант, написать рецензию или предисловие. До конца жизни Бродский был погружен в эту благотворительную суету. При его тяге к одиночеству, естественно, этот шум вокруг собственной персоны

его угнетал. Чем больше он становился знаменит, тем больше было к нему претензий. А самого поэта угнетала явная бесцеремонность иных случайных знакомых, бывших друзей и даже бывших доносчиков. В Германии к нему на вечер пришел Шахматов, в свое время заложивший Иосифа по полной программе и чуть не доведший его до тюрьмы. Может быть, одной из причин отказа Бродского приехать в Петербург и была боязнь погрузиться в бесцеремонную толпу просителей и нахлебников. К тому же почти все бывшие друзья, от Наймана до Кушнера, были откровенно раздражены мировой славой и признанием поэта. Пожалуй, лишь немногие были искренне рады его успехам: к таким можно отнести Якова Гордина, Льва Лосева, Геннадия Шмакова, Михаила Барышникова, Глеба Горбовского, Евгения Рейна.

Летом 1989 года Иосиф Бродский был реабилитирован на родине. С тех пор начались настойчивые, регулярно повторяющиеся приглашения приехать в Россию, в родной Петербург. Может быть, эта настойчивость пугала Бродского. Если он и мечтал вернуться в родной город, то как бы невзначай, никому не говоря, инкогнито. Рассказывают, что однажды, когда они с Михаилом Барышниковым были в Стокгольме, Иосиф увидел паром, отправляющийся в его родной Питер, и внезапно спросил Барышникова: «Миша, а у тебя паспорт с собой?» Им обоим вернули в 1990 году русское гражданство и русские паспорта. Но они посмотрели друг на друга и решили не торопиться. А жаль. Думаю, он рано или поздно таким образом и навестил бы Петербург, где его к тому же избрали почетным гражданином города. Тогда и визы никакой не надо, сел на паром или на машину через Финляндию, и гуляй себе по Невскому, пока какого-нибудь знакомого не встретишь. Но что ушло, то ушло. Скорее всего, дал бы Бог ему жизни побольше, приехал бы обязательно с любимой женой Марией и дочуркой Нюшей, показал бы им свою родину…

ШВЕДСКАЯ НИША

Иосиф Бродский обожал Швецию по разным причинам. Прежде всего она напоминала ему его родину, его питерские места. Приезжая в Швецию, он как бы приезжал в свою родную Прибалтику. Я бывал в Стокгольме, видел дома, где останавливался Бродский, специально заходил в те помещения, где он жил, смотрел в окна. Та же балтийская вода, те же улицы, та же местность. Будто и не уезжал. Разве что чуть почище и понаряднее, поуютнее.

Еще в 1972 году, сразу же после своего изгнания, Иосиф Бродский писал:

> Слушай, дружина, враги и братие!
> Все, что творил я, творил не ради я
> славы в эпоху кино и радио,
> но ради речи родной, словесности,
> за каковое речение-жречество
> чаши лишившись в пиру Отечества,
> нынче стою в незнакомой местности.

Ему предстояло посетить немало незнакомых местностей, но тянулся он всегда лишь к двум: к Венеции, где бывал каждый январь и которая кроме чарующей красоты и эстетства (что Бродский всегда любил) также напоминала ему родной Питер своими набережными. Вторым родным местом была Швеция.

Впрочем, и изумительную «Набережную неисцелимых», посвященную Венеции, Бродский написал именно в Стокгольме, в гостинице «Рейзен», смотря в окно примерно на такую же набережную. Тут и Питер, и Венеция, всё сразу. Как он писал о Стокгольме: «Главное — водичка и все остальное — знакомого цвета и пошиба. Весь город — сплошная Петроградская сторона. Пароходики шныряют в шхерах и тому подобное». По сути, он никогда, до своей смерти, не выезжал из своего Петербурга-Ленинграда, хранил его в себе и окружал себя питерскими приметами.

Еще подробнее он высказался своему шведскому другу Бенгту Янгфельдту: «Последние два или три года я каждое лето приезжаю более или менее сюда, в Швецию, по соображениям главным образом экологическим, я полагаю. Это экологическая ниша, то есть ландшафт, начиная с облаков и кончая самым последним барвинком, не говоря про гранит, про эти валуны, про

растительность, практически про все — воздух и так далее и так далее. Это то, с чем я вырос, это пейзаж детства, это та же самая широта, это та же самая фауна, та же самая флора. И диковатым некоторым образом я чувствую себя здесь абсолютно дома, может быть, более дома, чем где бы то ни было, чем в Ленинграде, чем в Нью-Йорке или в Англии, я уже не знаю где. <…> Это просто, как бы сказать, естественная среда, самая известная среда, которая известна для меня физически».

Как считает Янгфельдт, шведская «экологическая ниша» во многом заменила Иосифу Бродскому родину, посетить которую у него не было надежд. Пожалуй, Швеция стала не только воспоминанием о детстве, а улучшенным вариантом оного. «Ужасно похоже на детство, — пишет он своему давнему ленинградскому другу Якову Гордину, — но не на то, которое было, а наоборот, — то есть детство, каким оно могло бы состояться». Он и свое расписание жизни приспосабливал к питерской местности. На время занятий в Америке, которая так и не стала ему родной, затем в январе в Венецию, потом опять занятия, и ближе к лету в Лондон и Швецию, можно сказать, к себе домой.

В 1975 году он написал свое первое шведское стихотворение «Шведская музыка», посвященное писательнице Кароле Хансон:

> Когда снег заметает море и скрип сосны
> оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
> до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
> может упасть безучастный голос?
> <…>
> так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
> так стенные часы, сердцебиенью вторя,
> остановившись по эту, продолжают идти по ту
> сторону моря.

Впрочем, Швеция у него всегда была связана с музыкой.

Первый раз он приехал в эту страну в 1974 году по частным делам, затем в 1978 году с чтением стихов. Тогда же познакомился с Янгфельдтом и своими русскими переводчиками. В 1976 году в Стокгольме вышла книга стихов Иосифа Бродского «Остановка в пустыне» в переводе на шведский язык. Позже она была переиздана в 1987 году. Интересно, что на обложку поместили фотографию поэта с православным крестиком на шее. Еще до Нобелевской премии он приезжал на книжную ярмарку в Гётеборг, там и произошла его первая встреча с будущим другом и будущим нобелиатом, шведским поэтом Томасом

Транстрёмером. Читали стихи почти четыре часа. А вокруг были та же трава, тот же прибалтийский мох. С 1988 по 1994 год Бродский бывал в Швеции практически каждое лето. То в Стокгольме, то в окрестностях города, то на острове Торе. Я специально съездил на Торе, чтобы увидеть эти места как бы глазами Бродского, тем более я и сам северный человек по рождению. Конечно, остров Торе — это наш Валаам, ему там легко дышалось и писалось. Ведь дело не только и не столько в «экологической нише», о которой часто пишут бродсковеды, — дело в творческой свободе, творческом полете. Не мог он свободно писать на жаре, в духоте, на тропическом юге, как какой-нибудь не менее великий Киплинг. У каждого поэта своя пространственная ниша.

Чем пересказывать Янгфельдта, дам опять высказаться ему самому: «„Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого“, — пишет Бродский в своем эссе о Венеции, „Набережной неисцелимых“. „Поверхность — то есть первое, что замечает глаз, — часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни“. В стихотворении „Доклад для симпозиума“ он формулировал свое геоэстетическое кредо следующим образом: „Но, отделившись от тела, глаз, / скорей всего, предпочтет поселиться где-нибудь/ в Италии, Голландии или в Швеции“.

Порядок, в котором Бродский перечисляет эти три страны, соответствует порядку, в котором он с ними знакомился. Во время первого своего визита в Швецию летом 1974 года он провел здесь неделю. В следующий раз он приехал в марте 1978 года по приглашению Упсальского и Стокгольмского университетов, а в 1987 году посетил Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе.

После этого Бродский приезжал в Швецию каждый год — до 1994 года включительно. Чаще всего — летом, чтобы отдыхать и работать, но и в другие времена года, в связи с конференциями, выступлениями и прочими делами. В августе 1988 года он выступал на книжной ярмарке в Гётеборге и в октябре 1989 года — в Упсальском университете в связи с конференцией, устроенной „Центром метрических штудий“; в ноябре 1990 года он там же вел три семинара о поэзии Томаса Харди, Роберта Фроста и У. Х. Одена; в декабре 1991 года в Шведской академии в Стокгольме он читал доклад на симпозиуме „The Situation of High-Quality Literature“, устроенном в связи с 90-летием Нобелевской премии; в сентябре 1993-го выступал вместе с Дереком Уолкоттом в университетах в городах Линчёпинг и

Оребру и на Гётеборгской книжной ярмарке; в августе 1994 года участвовал в Стокгольме в Нобелевском симпозиуме „The Relationship between Language and Mind“».

Доклады — докладами, ярмарки — ярмарками, но он находил время и для путешествий на хорошо ему знакомых с детства маленьких пароходиках, да и места напоминали ему Карельский перешеек с серым мшистым камнем, с серыми, под цвет неба, дачками. Это была его любимая, воспетая и реабилитированная им «серость» — самая природная северная среда. Он и другому своему приятелю, Петру Вайлю, объяснял, как напоминает ему Швеция родное детство «в деталях, до мельчайших подробностей… Знаешь, с какой стороны должен подуть ветер или прилететь комар».

Бенгт Янгфельдт продолжает: «Привлекали Иосифа в Швеции не только природа и климат, не только мох и гранит под летним небом, полным кучевых облаков, приплывших из его родных краев или же стремящихся туда. Здесь были, как в Риме, Венеции и Амстердаме, дома. На улицах Стокгольма он зрел в чистом виде фасады домов, опоганенных в его родном городе десятилетиями пренебрежения и запустения. И при виде церкви Хедвиг Элеоноры в конце перспективы Девичьей улицы „радость узнавания“, говоря словами Мандельштама, была так велика, что ему оставалось только покачать головой: ее ли — или церковь Св. Пантелеймона он видел в молодости, устремив свой взгляд вдоль улицы Пестеля с балкона полутора комнат?»

Потому и оказались шведские периоды у Иосифа Бродского не менее плодотворными, чем период северной ссылки. «Набережная неисцелимых», где вспоминается и место написания: «В этом городе, при всей его промышленности и населении, как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здоровается семга». Книга была задумана и начата в Стокгольме. В Швеции были написаны пьеса «Демократия!», эссе «Поэзия как форма сопротивления действительности», стихотворения «На столетие Анны Ахматовой», «Памяти Геннадия Шмакова», «Облака», «Вертумн», «Пристань Фагердала»:

голые мачты шведских
яхт, безмятежно спящих в одних подвязках,
в одних подвесках
сном вертикали, привыкшей к горизонтали,
комкая мокрые простыни пристани в Фагердале.

Стихотворение навеяно впечатлениями от экскурсии на паруснике по Стокгольмскому архипелагу. Янгфельдт

вспоминает: «По словам владельца парусника, вид простыней, висящих на веревочке около маленькой пристани Фагердала, привел Бродского в восторг. Вообще, рассказывает он, обожающий море Бродский находился во время этой экскурсии в состоянии, граничившем с блаженством». В Швеции, на острове Торе, были написаны замечательные стихи о северной природе и морском дыхании. В Швеции же Янгфельдтом была выпущена примечательная во всех отношениях книга стихов Бродского «Примечания папоротника», тиражом тысяча экземпляров, прямо как у сегодняшних поэтов. На обложке все тот же балтийский пейзаж художника Эрнста Нурлинда с согнутой морским балтийским ветром сосной. Выпустил Янгфельдт и еще два, можно сказать, раритетных издания стихов Бродского «Вид с холма» и «Провинциальное» всего в нескольких экземплярах. Ничего, переиздадут нынче и массовым тиражом, если позволят наследники.

В 1993 году он написал первое свое посвящение другу, замечательному шведскому поэту Томасу Транстрёмеру, которого не раз сам же выдвигал на Нобелевскую премию.

Вот я и снова под этим бесцветным небом,
заваленным перистым, рыхлым, единым хлебом
души. Немного накрапывает. Мышь-полевка
приветствует меня свистом. Прошло полвека.

Барвинок и валун, заросший густой щетиной
мха, не сдвинулись с места. И пахнет тиной
блеклый, в простую полоску, отрез Гомеров,
которому некуда деться из-за своих размеров.

Первым это заметили, скорее всего, деревья,
чья неподвижность тоже следствие недоверья
к птицам с их мельтешеньем и отражает строгость
взгляда на многорукость — если не одноногость.

В здешнем бесстрастном, ровном, потустороннем свете
разница между рыбой, идущей в сети,
и мокнущей под дождем статуей алконавта
заметна только привыкшим к идее деленья на два.

И более двоеточье, чем частное от деленья
голоса на бессрочье, исчадье оледененья,
я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе
серой каплей зрачка, вернувшейся восвояси.

Обратите внимание на текст — «Вот я и снова под этим бесцветным небом», то есть в родных местах. Хотя и «прошло полвека», но поэт с отчаянием и безграничной любовью вновь припадает к «родной, ржавой, гранитной массе» своей серой каплей зрачка, «вернувшейся восвояси». Хотя и посвящено это стихотворение шведскому поэту Транстрёмеру, но написано о России, о дикой любви к России. Кто способен опровергнуть эту любовь? Какие патриоты или демократы? Просто поэт Иосиф Бродский присоединил Швецию к своей поэтической русской империи.

Янгфельдт считает, что Бродский начинал писать это стихотворение в 1990 году. Всё может быть.

Когда шведы задумали книгу его переводов, он не поленился написать требования, обязательные для всех переводчиков. Думаю, эти требования будут интересны всем: «В связи с предстоящим изданием моих стихов я хотел бы изложить два или три принципа, которыми надо руководствоваться при выборе переводов. Я хочу настоять на сохранении формальных аспектов подлинника. Под этим я имею в виду размер и рифму. Я понимаю, что в некоторых случаях это невозможно, но лучше быть непереведенным по-шведски, нежели быть представленным в ложном виде. Минимальное требование, которое следует предъявить любому переводчику, — сохранение размера. Я уверен, что у Вас служит достаточное количество людей, знакомых с основами просодии, чтобы здраво судить о предлагаемых переводах. Размер — позвоночник стихотворения, и лучше выглядеть окостенелым, чем бесхребетным. Я профессионал и хочу, чтобы со мной обращались профессионально. Частная философия того или другого переводчика не должна приниматься в счет, несмотря на его или ее репутацию в стране. Вышеупомянутое требование должно предъявляться любому человеку, желающему или получившему задание перевести мои стихи, чтобы он или она знали с порога, чего от них ожидается. Таким образом можно избежать конфликтов и потраченного зря времени. Само собой разумеется, я полностью доверяю Вашей и Бенгта рассудительности и надеюсь, что Вы сможете применить эти принципы без лишних проблем. Было бы приятно, если бы выжили и рифмы: не ради меня, но ради читателей».

Этой требовательности могли бы поучиться многие другие поэты, легко отказывающиеся и от рифмы, и от размера, лишь бы увидеть свои стихи в западном издании. Лучше быть

непереведенным, чем переведенным ложно!

Но вернемся к другому нобелиату, шведскому поэту Томасу Транстрёмеру. Два поэта давно и близко дружили. Как вспоминает тот же Янгфельдт: «Август 1990 года, на даче у поэта Томаса Транстрёмера. Среди прочих гостей — китайские поэты Бей Дао и Ли Ли. Погода замечательная, компания симпатичная, и Иосиф в прекрасном настроении. Только что было опубликовано стихотворение Транстрёмера „Траурная гондола“, и Иосиф вдруг загорается идеей перевести его на русский. Оно начинается словами: „Два старика, тесть и зять…“ Мы садимся на двух стульях в саду. Он опережает меня: „Два старых хрена, да?“ Я говорю, что обычный перевод — „два старика“, но он настаивает на своем. Он был прав, „правильный“ перевод был бы эвфонически значительно хуже…»

Насколько я знаю, пока еще перевод Бродского про этих двух хренов не опубликован. Знаю, что он читал его другому переводчику Транстрёмера, Илье Кутику. Кутик стал переводить Транстрёмера еще в 1990 году, а в 1992 году издал книгу «Шведские поэты» и подарил ее Бродскому.

Интересно, что там же, в Швеции, Бродский дал небольшое интервью, касающееся шведской поэзии… Даю отрывки из этой беседы:

> «*Интервьюер*: Как Вам шведские верлибры?
>
> *Бродский:* Ну, я по-шведски не читаю, я читаю только в переводах на русский и на английский язык.
>
> Просто стихотворение определяется не столько верлибром, сколько содержанием. То есть не тем, не манерой, в которой оно написано, а в конечном счете в соответствии, в соотношении манеры и содержания, да?..
>
> И… Ну, есть шведские поэты, у которых содержания колоссально много, даже при всех верлибрах. Ну кто?.. Их масса, масса… Ну, например, назвать одно. Самый замечательный, по-моему, шведский поэт. Один из крупнейших, по-моему, поэтов XX века. Это — Томас Транстрёмер. Кроме того: Вернер Аспенстрем, замечательный поэт, но это — старое поколение. Из более молодых — я даже не знаю… То есть я не знаю их возрастов. То есть я недавно прочитал совершенно замечательную книгу переводов шведской поэзии Ильи Кутика, да?.. Там для меня просто было огромное количество открытий, то есть, например, тоже пожилой поэт примерно моего возраста — Ларс Густафсон; мне понравился более молодой человек, Гуннар Хардинг,

например, о котором у меня было чрезвычайно поверхностное представление — я его немного знаю лично, и — замечательный поэт! То есть огромное количество совершенно замечательных поэтов!..

Интервьюер: А Вы знаете такие имена, как Катарина Фростенсон, например?

Бродский: Фростенсон? То есть более молодая? Член Шведской академии?

Интервьюер: Да, да…

Бродский: Вы знаете, я посмотрел там эти стихи… Я знаю ее стихи и по-английски, и по-русски, таким образом, да?.. По-английски я видел больше. По-английски это на меня не произвело никакого впечатления, по правде сказать.

Интервьюер: А по-русски?

Бродский: По-русски тоже, в общем. Тоже, в общем. Я не знаю, что происходит с… Может, это моя, как бы сказать, ну, ортодоксальность некоторых взглядов, ну, не знаю! но на меня… Но молодых людей довольно мало — в России их гораздо больше, вот этого возраста, что эта самая Фростенсон, да?.. И качество выше, на мой взгляд.

Интервьюер: Кого Вы можете назвать?

Бродский: Ну, Вы знаете, я не знаю… А… назвать одного… В России — масса имен, то есть назвать одно — это не назвать, не хочу… Назвать кого бы то ни было — это назвать в ущерб остальным. Ну, например, мне просто в голову приходит кто-нибудь: ну, Алексей Парщиков, например, или там, я не знаю, Тимура Кибирова, да?.. Или, ну, это несколько иначе, не знаю, Гандлевского, например… Это вот, примерно, возраст Фростенсон, я полагаю. Ну, это просто несколько имен, хотя их там действительно мириады. Я получаю стихи из самых разных мест из России, то есть со всей страны. И это нечто феноменальное.

Интервьюер: Как Вы успеваете их смотреть?

Бродский: Ну, я успеваю, успеваю. Нахожу время… Я знаю Транстрёмера стихи, может быть, лучше, чем какого-либо иного шведского поэта. По той простой причине, что я сам переводил Транстрёмера. Я переводил некоторые стихи, которые оказались в этой вот книжке Кутика.

Интервьюер: Можно ли как-то сформулировать то, что происходит сейчас в изящной словесности?

Бродский: Происходит совершенно небывалый взлет.

Взлет качества. Качество прежде всего феноменальное. И разнообразие. Ахматова говорила о Золотом веке, о Серебряном веке русской поэзии… О Золотом веке она говорила, вот когда мы познакомились, когда возникла эта группа, к которой я принадлежал, что начинается Золотой век, и так далее и так далее. Я думаю вообще, что Золотой век — именно сейчас, потому что действительно много золота!.. Очень высокий процент.

Интервьюер: Ахматова же говорила, что теперь они делают Иосифу биографию…

Бродский: Это правда, наверно. Я не помню, сказала она это или нет, но я думаю, что если, до известной степени, взглянуть на это со стороны — то действительно государство делало мне биографию.

Интервьюер: Вы ему благодарны за это?

Бродский: Нет… Нет. Я вполне мог бы обойтись и без этого».

Томас Транстрёмер был известен в России и до Иосифа Бродского. Сам шведский поэт давно и страстно увлекался Россией и обожал великую русскую культуру. Не раз бывал в Москве, где встречался с нашим поэтом-авангардистом Геннадием Айги. Писал стихи на русскую тему. Вот фрагмент одного из них, посвященного композитору Балакиреву, в переводе Ильи Кутика:

Черный рояль, глянцево-черный паук,
дрожит в паутине, сплетаемой тут же. Звук
в зал долетает из некой дали,
где камни не тяжелее росы. А в зале
Балакирев спит под музыку. И снится Милию
сон про царские дрожки. Миля за милею
по мостовой булыжной их тащат кони
в нечто черное, каркающее по-вороньи.
Он в них сидит и встречается взглядом
с собой же, бегущим с коляской рядом.
Он-то знает, что путь был долгим.
Его часы показывают годы, а не часы…

«Он пишет свободным стихом. Свободный стих сам по себе труден, потому что каждый раз это уникальная форма. Он вроде бы пишет спокойно и просто, не прибегая к какой-то заумной лексике», — говорит его переводчик Алексей Прокопьев. Транстрёмер побывал в Москве в 2001 году, несмотря на свой

недуг — паралич после тяжелого инсульта. «Когда он приезжал, — вспоминает Прокопьев, — я его катал по парку Коломенское. Он там смотрел на церкви и просил его даже оставить посидеть».

Что же, если не дают Нобелевской премии русским поэтам и писателям, то пусть дадут хотя бы таким поклонникам русской литературы, каким безусловно является Томас Транстрёмер!

Но вернемся к нашим двум нобелиатам и их многолетней дружбе. Бродский отнюдь не был авангардистом, и его дружба с Транстрёмером была основана на близости не поэтической, а духовной, в конце концов, на любви к России. Не случайно и свой семидесятилетний юбилей шведский поэт приехал отмечать в Россию. Немало десятилетий встречались они в уютных ресторанчиках Швеции, не один раз пили любимую водку Иосифа Бродского «Горькие капли». Я специально привез из Швеции несколько бутылок — это не «Абсолют», нигде, кроме Швеции, не продается. А Бродскому она была полезна как настойка для сердца вроде валериановых капель или корвалола, такая же крепкая и горькая. Он вроде бы не пил, а лечился — вечная мужская отговорка…

В Швеции Янгфельдт обычно арендовал для Бродского автомобиль, так что было на чем поездить по родным балтийским просторам, заехать к тому же Томасу Транстрёмеру. После инсульта поэт с трудом говорил, не мог ходить, едва двигал одной, левой рукой. Но его сила воли была такова, что он заставил себя разработать эту руку и играл ею на рояле. Шведские композиторы специально писали музыку для его левой руки. Он продолжал писать стихи, но уже не мог читать их с эстрады. Его возит в инвалидной коляске жена Моника, с которой он прожил вместе более полувека. Она же и читает его стихи, озвучивает его заявления для прессы.

Вот в это время с ним вновь встретился Иосиф Бродский, и он был поражен, увидев, как Транстрёмер, почти парализованный, играет на рояле. Так возникло сильнейшее стихотворение Иосифа Бродского «Томас Транстрёмер за роялем»:

И рука, приделанная к фортепиано,
постепенно отделывается от тела,
точно под занавес овладела
состоянием более крупным или
безразличным, чем то, что в мозгу скопили
клетки; и пальцы, точно они боятся
растерять приснившееся богатство,
лихорадочно мечутся по пещере,

сокровищами затыкая щели.

Это стихотворение о шведском поэте и музыканте за роялем. В момент такого исполнения и застал Иосиф Бродский своего друга. Вот поэтому его рука, «приделанная к фортепиано, постепенно отделывается от тела». Музыка стиха и музыка фортепиано как бы отделяются от немеющего тела, и пальцы, пишущие стихи, играющие мелодию, «лихорадочно мечутся», пытаясь заткнуть сокровищами духа пустоту, рвущуюся сквозь щели немощного тела. По сути, трагическое стихотворение.

Томас Транстрёмер — один из крупнейших поэтов XX века, классик шведской литературы, которого на родине ставят в один ряд со Стриндбергом и Ибсеном. В 2011 году его признание увенчалось присуждением ему Нобелевской премии. Задолго до этого Бродский называл его крупнейшим поэтом современности, с гордостью признавал свою творческую близость с ним. Конечно, фантазии Транстрёмера отличаются от метафизической конкретики Бродского; Транстрёмер ближе к сюрреализму, к Бретону, а Бродский — в России к державинской линии, в мировой литературе — к Одену. Соединяют их любимая балтийская природа, любимая музыка и любимая Россия.

Вот так и встретились два будущих нобелиата сначала в начале 1970-х годов на поэтическом фестивале в Стокгольме, потом не раз виделись у Томаса дома и последний раз, уже после инсульта — в 1993 году на книжной ярмарке в Гётеборге.

Остается встреча на небесах. Наверное, там они будут вспоминать и ту же дорогую им балтийскую природу, и русскую культуру, увлеченность которой когда-то их сблизила.

«РИСКНУ СДЕЛАТЬ ЭТО…»

Я бы назвал стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины» главным стихотворением 2014 года. Когда я прочитал его в 1994 году, поразился его радикальности, подумал, не перебарщивает ли автор. Прошло 20 лет после того памятного вечера в Квинс-колледже в США, где поэт решился прочитать это стихотворение, написанное еще в 1991 году. Перед тем как прочитать, поэт добавил: «Сейчас найду стихотворение, которое мне нравится… я рискну, впрочем, сделать это». Поэт рискнул прочитать его публично после того, как в феврале 1994 года Украина стала участницей программы НАТО «Партнерство ради мира». Стихотворение стало пророческим. Поэт как бы по велению свыше написал то, что вырывалось из души, никак не насилуя свою поэтическую волю. Потом он неоднократно читал его своим друзьям, но не осмелился публиковать его в своих книгах. Впрочем, ко времени смерти Бродского примерно треть его стихов еще не была опубликована. Дело другое, что и во всех нынешних собраниях сочинений, включая последний, самый полный двухтомник «Новой библиотеки поэта», куда, наконец, вошло и стихотворение «Народ», стихотворение «На независимость Украины» осознанно не печатали ни в каком варианте — разве что упоминали в примечаниях. Не случайно он сам признал риск чтения этого стихотворения, но все-таки рискнул. Это рисковал поэт Иосиф Бродский, отогнав законопослушного гражданина куда-то в сторону. Рискнем и мы вместе с поэтом:

> Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
> слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
> время покажет — кузькину мать, руины,
> кости посмертной радости с привкусом Украины.

Часть украинских казаков вместе с гетманом Мазепой во время Северной войны неожиданно изменила русским и перешла на сторону шведского короля Карла XII. Тем не менее шведы вместе с изменниками эту войну проиграли. И остались от всего этого только руины — точнее, Руина, очередное разорение Украины, всю свою историю мечущейся между враждующими империями. Да еще Хрущев, подложивший «кузькину мать» и России, и Украине, отдав украинцам чужой Крым.

Пожалуй, сегодня это стихотворение Иосифа Бродского

является самым цитируемым. Одновременно, несмотря на все доказательства, аудиозапись вечера в Квинс-колледже, где поэт читал это стихотворение большой аудитории, несмотря на подтверждения авторитетных бродсковедов Льва Лосева, Виктора Куллэ, Валентины Полухиной, на уверения его друзей, лично слышавших от автора чтение стиха, к примеру, Томаса Венцловы, многие либеральные его поклонники и исследователи считают стихотворение фальшивкой, подделкой. В ответ на аудиозапись они отвечают, что он читал это стихотворение как пародию на себя, а организаторов вечера, сделавших и распространивших эту запись в Интернете, называют стукачами, агентами непонятно кого — наверное, давно почившего к тому времени КГБ. Я думаю, не было бы этой аудиозаписи и столь ответственных свидетелей, политиканы бы точно доказали, что этого стихотворения вовсе не существует. Ведь есть уже с десяток статей, филологически убедительно доказывающих, что это стихотворение — фальшивка, написанная кем угодно, только не Бродским. Но несколько авторитетных экспертов всегда важнее сотни самозванцев. Послушайте, к примеру, что говорит Виктор Куллэ своим оппонентам, называя стихи «стишами», как делал иногда и сам Бродский:

> «Попытаюсь прокомментировать по пунктам.
>
> 1. Через год после смерти Иосифа Бродского я приехал в Нью-Йорк, чтобы начать описывать его архив. Состояние архива сумбурное, ибо покойный это дело не любил, черновики часто выбрасывались, и коли что-то сохранилось — то, скорее, вопреки воле Иосифа Бродского. Тем не менее я своими собственными глазами видел там несколько листков с черновыми вариантами стиша. Это была машинопись, как обычно у ИБ: с несколькими вариантами катрена рядышком, иногда с правкой от руки. Сейчас всё это дело, как я понимаю, никуда не девалось: архив доступен для исследователей при получении санкции от Фонда ИБ.
>
> 2. Наш герой действительно читал эти стиши в Квинс-колледж (и несколько раз во всяческих компаниях, где также могла быть магнитозапись). Барри Рубин, устраивавший то выступление ИБ в колледже, еще жив. У него я эту пленку пресловутую некогда и скопировал. Кроме того, на том выступлении присутствовал покойный Саша Сумаркин — составитель „Пейзажа с наводнением“ (точнее, помощник ИБ в этом деле). Он рассказывал, что уговаривал ИБ включить стиши в книгу.

Тот наотрез отказался: „неправильно поймут“.

3. По поводу вариантов и разночтений навскидку ничего поведать не могу: специально я именно этим текстом не занимался, т. к. было очевидно, что в силу запрета он опубликован не будет.

4. Насколько я знаю, большая часть гуляющих ныне версий восходит к пиратской публикации, предпринятой Эдичкой в „Лимонке“. Он снимал на слух с кассеты. Кроме того, ровно посреди стиша кассета как раз оканчивалась, и какой-то крохотный кусок выпал, пока ее переворачивали.

Вроде, всё, что я знаю по поводу данного текста. Покойный Леша Лосев, несомненно, знал больше.

5. Кстати, только сейчас пришла в голову мысль, что наличие именно нескольких черновиков — подходов к теме — свидетельствует, что ИБ рожал стиш достаточно протяженно и непросто. Но начало везде было неизменным: „Дорогой Карл Двенадцатый…“».

В США существует большая украинская диаспора, не стесняющаяся в проклятиях по адресу «клятых москалей». А Бродский был патриотом России, как говорит Куллэ, «гораздо в большей степени, чем все деревенщики, великодержавники и антисемиты, вместе взятые». Когда поэт оказался в США, он, как известно, не занялся охаиванием своей бывшей родины, подобно многим диссидентам, таким образом отрабатывавшим свой хлеб с маслом. Бродский же стал преподавать литературу в провинциальном университете, вдали от всех столиц, в заштатном Анн-Арборе. Позже он написал в «Нью-Йорк таймс», что «не собирается мазать дегтем ворота Родины».

По мнению Виктора Куллэ, вполне может быть, что он столкнулся в эмигрантской среде с каким-нибудь ярым украинским националистом, и тот его попросту достал: «Иосиф, повторяюсь, был (как, пожалуй, все великие поэты) гораздо большим патриотом своей страны, чем разнообразно окрашенные ублюдки, сделавшие из патриотизма выгодную профессию».

Украинцам глупо и незачем обижаться на Бродского. Каждый поэт защищает культуру своего народа, своей страны. Пушкин ответил Мицкевичу знаменитым «Клеветникам России». В итоге они мирно стоят на полке рядышком — и в России, и в Польше.

Стихотворение «На независимость Украины» — не единственный случай, когда поэт встал на защиту России, русской культуры. Уже говорилось о его резком ответе на антирусские выпады Милана Кундеры на Лиссабонской

конференции. Вот и в случае с Украиной Бродский почувствовал себя лично задетым. Опять обращаюсь к Виктору Куллэ, который написал по поводу этого стихотворения: «Совершенно очевидно, что написано большим поэтом. Стиль — типичный Бродский. Никакого оскорбления украинцев тут и близко нет. Есть раздражение этими бесконечными и абсолютно идиотскими обвинениями, которые льются от украинцев бесконечным потоком. Все эти „хохлы поганые“ — это самоназвания украинцев, которые они приписывают „поганым кацапам“ (а это тоже украинское название, так как многие русские даже не поймут про кого это). И все это — часть пропагандистской мифологии, цель которой — создать нацию, которой нет, и которую, сколько ни старайся, не удастся сколотить на одном антагонизме Украины к России, частью которой она все еще является, хоть и не юридически.

И смысл стихотворения Бродского абсолютно прозрачен. Как русский (не советский) патриот он не мог воспринимать отделение Украины иначе как в контексте многовекового построения Российской империи и скоротечного разрушения пространства русской культуры. Отсюда и обращение к Карлу 12-му, как напоминание о героических подвигах строителей Империи, отсюда и сравнение Пушкина с Шевченко, как напоминание о несравнимости великой русской культуры в целом с ее региональным украинским компонентом. И пусть и грубоватое, но геополитически абсолютно адекватное предсказание, что уход из России будет означать включение в сферу влияния Польши и Германии на вторых (в лучшем случае) ролях. Мало украинцам не покажется. И для России это будет тяжелое время, но для Украины — сплошной кошмар».

Я считаю это стихотворение одним из лучших у Бродского: предельно искреннее, крайне эмоциональное, прячущее за язвительностью горечь и грусть. Как часто бывает в позднем творчестве поэта, оно полно конкретных деталей, но содержит и далекоидущие обобщения. Говоря об украинских сторонниках «незалежности» резко и даже грубо, автор при этом стремится к объективности, демонстрируя при этом отличное знание современных политических событий: «Не нам, кацапам, их обвинять в измене». Действительно, развал советской империи начала не Украина: к нему привели неразумные, если не сказать предательские, действия союзного и российского руководства. Наплевав на результаты референдума 1991 года о сохранении единства Союза, они дружно повели дело к распаду великой страны, к разрыву вековых связей между ее народами.

Эти строки говорят еще об одном: уже в Америке, спустя

много лет после отъезда из России, погружаясь в поэзию, Бродский погружается одновременно и в русскую стихию, чувствует себя русским — «кацапом». Знаю, что нашлись исследователи, считающие, что это как бы голос лирического героя, голос тех русских, заливающих глаза водкой где-нибудь в Рязани, от имени которых написано стихотворение. Но, во-первых, Бродский уж как-нибудь дал бы понять читателям свою отчужденность от этого героя. Во-вторых, вряд ли такой герой стал бы читать перед смертью строчки из Пушкина и уж тем более призывать к этому других. И в-третьих, если стихотворение написано как бы от имени всего русского народа (как оно и есть на самом деле), понимаешь, с какой болью оно написано и с какой ответственностью. Этот частный, автономный от всех, отчужденный и от евреев, и от американцев, и от всех других наций и религий поэт вдруг берет на себя высочайшую ответственность от имени всех русских упрекать украинцев за их уход из единого имперского пространства, из единой России, «грызть в одиночку курицу из борща». Иосиф Бродский ведь не упрекает ни грузин, ни прибалтов, ни среднеазиатов. Но украинцы — это же часть Древней Руси, неделимой русской культуры, куда они уходят? Надо сказать им прощальное слово:

> Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
> скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
> Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
> по адресу на три буквы на все четыре стороны…
> <…>
> Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
> Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
> брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
> отвергнутыми углами и вековой обидой.

И на самом деле, сколько веков жили одними бедами, одними радостями, вместе воевали, вместе побеждали, и всё на равных — какое уж тут колониальное угнетение украинцев, о котором не устают твердить «свидомые» в Киеве! Скорее уж, из Украины Москва вербовала себе и в армию, и в органы, и в высшие чиновники трудолюбивых и исполнительных граждан. И вдруг всё кончилось, что вызывает у поэта искреннюю печаль, смешанную с недоумением и гневом.

Финал стихотворения у Бродского явно пророческий, ибо хорошо ли, плохо ли, но без великой русской культуры, без русской поэзии никогда не будет новой украинской нации.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

И впрямь, можно быть храбрыми запорожскими казаками, сталинскими орлами, екатерининскими гетманами, лагерными вертухаями (кого больше ценили в лагерной охране во все времена, чем украинцев? Разве что азиатов, потому что им безразличны русские), но без опоры на великую державу, на великую культуру никакая казачья храбрость или вертухайская исполнительность не помогут. Тогда уж придется под другую — немецкую великую культуру ложиться, но они-то никакого равенства с собой не потерпят. Их кацапами не пообзываешь — быстро дадут знать свое лакейское место. А свою национальную культуру на местечковой «брехне» так просто не построишь. «Брехня» Тараса, к примеру, в таких его строчках: «Кохайтеся, чернобриві, та не з москалями, бо москалі — чужі людей. Роблять лихо з вами». Хотя и обязан был многим, если не всем, Тарас Шевченко русской культуре, но решил об этом запамятовать.

Вот и всё. Печальное и трагическое, гневно-прощальное стихотворение русского поэта. Я искренне сожалею, что он не решился опубликовать его при жизни, тем самым сняв бы все споры. С другой стороны, охотно читал его не один раз на вечерах, прекрасно зная, что его записывают на магнитофон. Это доказывает, что он и впрямь очень переживал этот неожиданный для него, как и для многих, отрыв Украины от России. Его друг Лев Лосев сказал: «Украину он не только считал единым, как теперь принято говорить, „культурным пространством“ с Великороссией, но он еще и сильно чувствовал ее как свою историческую родину. Последнее выражение мне не хочется брать в кавычки, потому что для Бродского это была очень интимно прочувствованная идея. Ощущение себя „Иосифом из Брод“».

Ведь дело вовсе не в том, насколько хорошо это стихотворение. У любого поэта бывают неудачи, черновые варианты, провалы, отнеситесь к этому как к заблуждению автора, но нет же, нет. Уже из года в год несется вал новых либеральных атак: это всего лишь пародия на Бродского. Интересно, что сами украинцы уверены в подлинности стихотворения, и их полемика идет уже по смысловому поводу. Не случайны и постоянные сравнения этого стихотворения с «Клеветникам России» Александра Пушкина. Оба поэта поразили своих современников своей нескрываемой государственностью и

имперскостью.

Да и повод примерно одинаков: спор славян между собой.

> О чем шумите вы, народные витии?
> Зачем анафемой грозите вы России?
> Что возмутило вас? волнения Литвы?
> Оставьте: это спор славян между собою,
> Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
> Вопрос, которого не разрешите вы.

И на самом деле, не американцам же решать вопрос: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос»? А если еще добавить словцо Достоевского о славянах, то мы еще более остро почувствуем давние противоречия между вроде бы близкими славянскими народами: «Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян!.. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее…»

Вот так и Украина, ничего нового. Не случайно же именно украинцы первыми и напечатали это стихотворение Бродского в 1996 году в Киеве в газете «Голос громадянина». Сразу же понесся вполне ожидаемый шквал ругани. В России впервые это стихотворение перепечатали в «Лимонке», а затем в «Дне литературы». Наследники Бродского запрещали стихотворение публиковать, но оно широко распространилось и стало общеизвестным благодаря Интернету, демонстрируя радикальную эволюцию взглядов Бродского от советско-либеральных к русско-имперским.

Некий украинский академик Павло Кислий решил дать свой «ответ Чемберлену», в смысле Бродскому, — к сожалению, поэтически абсолютно убогий. Как тут не вспомнить «строчки из Александра» и «брехню Тараса» — даже самые радикальные украинцы мгновенно запомнили яркие строчки из Бродского, но никто не помнит ни слова из ответа кислого академика. В ответ «кацапу» Бродскому приводится всего лишь плохо зарифмованная брань в адрес России и самого поэта — «фальшивого диссидента» и «никчемного имперского шовиниста»:

Ну що ж, прощавайте, кацапи!
Нарешті ми розійшлися шляхами.
Вам, певно, назад в «імперію зла»,
Нам, хохлам, знов на змагання з ляхами…
А щодо тебе, нікчемний раб!
Ти був фальшивий дисидент забільшовиченої Росії,
Двоголового орла вірний слуга,
Погонич придуманого Месії.
Не варто гадати, чому ти проклинав Україну,
Народу російському ти не окраса.
Ти був нікчемний імперський шовініст,
Не вартий нігтя Тараса.

В 1993 году Бродскому попробовала ответить поэт и прозаик Оксана Забужко:

Лине «плач по империи» — як написав би був Бродський,
Та сходов од плачу — і, від ’їхавши в Амгерст, замовк.
Хай хто хоче, той плаче. Я — весело зціплюю зуби…

Тоже не убедительно, ни ее стих, ни ее статья. Лучше бы и не трогали, себя на посмешище не выставляли. Свою версию написания стихотворения предложил незадолго до смерти Виктор Топоров: «На мой взгляд, демонстративная „украинофобия“ Бродского объясняется двумя причинами — макро- и микро-. На макроуровне Бродский так и не простил „вождям Союза“ того, что они проглядели присущий ему потенциал государственного поэта, — и напомнил об этом задним числом при первом же удобном случае: печатали бы массовыми тиражами меня вместо Евтушенко, — глядишь, и не развалилась бы ваша хваленая империя. На микроуровне я предложил бы вспомнить фильм „Брат-2“ с тамошними однозначно отвратительными „новыми американцами“ из украинцев. Понятно, что ни с какими украинцами Бродский в США не общался. Да и с русскими тоже. Он общался с понаехавшими из СССР евреями. Однако одни из евреев понаехали в США из России, а другие — с (тогда еще не „из“) Украины. И вот эти-то украинские евреи и возликовали в США по случаю „незалежности“. И вот им-то в первую очередь и дал гневную отповедь поэт…»

Вполне возможно, что был какой-то личный первотолчок к появлению стиха. Может, Бродский прочитал где-нибудь стихотворение украинского поэта-эмигранта Евгения Маланюка: «Пусть же хищное сердце России половецкие псы разорвут». Чего-

чего, а ликующей русофобии в украинской прессе после объявления незалежности хватало с избытком. И потому соглашусь в данном случае с Михаилом Золотоносовым, написавшим: «Эмоциональный смысл „оды“ — обида на украинцев. Жили вместе, одной дружной семьей народов, а украинцы вдруг покинули „гуртожиток“, что воспринимается поэтом (либо его лирическим героем) как измена, не столько политическая, сколько семейная. Естественно, жгучая обида диктует обидную лексику, а в конце оскорбление национального символа — Тараса Шевченко. В общем, „как-нибудь перебьемся“. Теперь комментарием к обидам, выраженным 20 лет назад Иосифом Бродским, стала сама политическая реальность. Любопытная ситуация: обычно стихи комментируют жизнь, а тут жизнь дала комментарий к стихотворению». Вот уж верно, стихотворение, пусть и резкое, но не настолько уж известное, ныне, во времена украинско-русского противостояния, и впрямь стало символом наших отношений. «Пожили вместе, хватит…»

А вот мнение доброй знакомой Бродского, поэтессы Натальи Горбаневской: «У меня к нему очень запутанное отношение: и отталкивает, и влечет. Думаю, что, сказав то, что он сказал о нас, кацапах, Бродский вроде бы уже имел право многое сказать, так назовем, антиукраинское. Многое, но не всё. Но его перехлестнуло, занесло — что, видимо, сам потом понял, почему и не велел печатать». Надо сказать, что при всем сложном отношении к стихотворению именно Горбаневская одной из первых поместила его на свой популярный сайт, тем самым дав ему новую жизнь.

Сам поэт говорил не раз, что это частное мнение частного лица. Он любил ссылаться на свою частность. Когда он обедает в любимой венецианской траттории, пьет любимую граппу или шведскую водку «Горькие капли» — он и в самом деле частный человек. Да вот беда, будучи выдающимся поэтом, он, прикасаясь к поэзии, перестает быть частным лицом и становится достоянием миллионов и его мнение влияет на мнение миллионов. Иной раз больше, чем мнение президента страны. И в этом смысле его «ода» на независимость Украины — документ эпохи.

> Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
> нет на нее указа ждать до другого раза.

Не случайно сегодня в интернетном голосовании это стихотворение Бродского попало в список ста лучших стихотворений всех времен и народов. Стихотворение написано в

1991 году, впервые прочитано на широкую аудиторию в 1994-м, что уже интересно само по себе. Поэт пустил его в публичное плавание уже после четырех инфарктов и двух операций на открытом сердце. Стал его читать в аудиториях уже в преддверии смерти, до которой оставалось меньше двух лет. Это явно не случайно — и как можно говорить о случайности такого стихотворения для поэта?

Смирившись с тем, что «На независимость Украины» в самом деле написано Бродским, многие украинолюбы обрушились на поэта с критикой. Одним из них был поэт Наум Сагаловский: «Стихотворение, на мой взгляд, совершенно гнусное. Можно, вероятно, выбрать и другой, не такой резкий эпитет, но зачем? Весь текст дышит такой неприкрытой ненавистью к Украине, к украинцам, что диву даешься. Я сперва, грешным делом, подумал, что стихотворение это — злая сатира, как бы монолог некоего не очень, будем говорить, интеллигентного российского шовиниста, над которым поэт с большим удовольствием издевается. Надо сказать, что сатира присутствует иногда в творчестве Бродского, так что ничего удивительного в такой сатире не было бы. Но вот что сказал сам Бродский перед чтением своего стихотворения в Стокгольме в 1992 году: „Сейчас я прочту стихотворение, которое может вам сильно не понравиться, но тем не менее…“ То есть он ничего о сатире не сказал, другими словами — стихотворение написано на полном серьезе, от имени самого поэта. Что, мне кажется, не делает ему чести, наоборот — представляет его в совершенно неприглядном свете…»

Как уже говорилось, первым в России это стихотворение опубликовал в своей «Лимонке» Эдуард Лимонов, хорошо знавший Бродского. Тогда никакого отклика ни у правых, ни у левых оно не вызвало. Но в 2014 году кровавые украинские события сделали его весьма актуальным. И вот в «Русском журнале» появляется статья историка Александра Даниэля, где он вновь громогласно называет «На независимость Украины» фальшивкой. Конечно, это достаточно злое стихотворение не вписывается ни в какие либеральные каноны. Конечно, сегодня оно стало гораздо более злободневным, чем в пору написания. Конечно, режет слух последняя строчка, где русскому гению Александру Пушкину Бродский противопоставляет «брехню Тараса». Кстати, эта строчка резко возмутила в свое время и патриотическую поэтессу Татьяну Глушкову. Но откуда слепая уверенность Александра Даниэля, что этот «стихотворный текст никогда и ни при каких условиях не может принадлежать Бродскому»?

Почему? Потому что поэт называет в стихотворении себя

самого «кацапом»? Так есть буквально сотни высказываний Бродского, где он называет себя русским, иногда добавляя «хотя и евреец». Может, удивляет отсутствие политкорректности в выражениях? Но по отношению к азиатам, африканцам и вообще «черным» у Бродского и в стихах, и в прозе, и в очерках есть гораздо более сильные, чуть ли не матерные выражения. Он чуть ли не гордился репутацией «расиста», чуть ли не бравировал своей неполиткорректностью. Даниэля удивило слово «краля» — а откуда в стихотворении о Жукове блатные «прахоря»? «Могут ли обороты типа „шить нам одно, другое“… принадлежать поэту, известному катулловской чеканностью слога?» Еще как могут. Жаргонных выражений в поэзии Бродского с избытком, вплоть до непечатных. Впечатление такое, что Даниэль поэзию своего кумира совсем не знает или… лукавит по политическим мотивам. В среде бродсковедов самых разных стран ни у кого нет сомнений в авторстве этого стихотворения. Может быть, и запись исполнения Бродским стихотворения Даниэль назовет фальшивкой? Но есть сотни свидетелей этого исполнения на поэтических вечерах. Может, и их надо обвинить во лжи? Или поклонник либеральной чистоты Бродского уже вправе сам решать, что мог срифмовать поэт, а на что не имел права?

Ох уж эти фанаты! Помню, они мешали нам в «Завтра» опубликовать запись монологов Георгия Свиридова — мол, это клевета и унижение мастера. Позже вышла книга его дневниковых записей, по сравнению с которой наш с трудом опубликованный монолог выглядит невинной слезой ребенка. Так было и с записями Высоцкого, и со стихами Рубцова. Блюстители либеральной морали готовы обкорнать кого угодно. Особенно это касается наследия Бродского: русофильские его стихи вымарываются из всех собраний сочинений. Думаю, тот же Александр Даниэль с удовольствием назвал бы фальшивкой и стихотворение «Народ», но тут мешает мнение Анны Ахматовой о гениальности. Авторство стихотворения «На независимость Украины» несомненно, хотя, конечно, текстологам предстоит еще из рукописей и авторских записей выбрать законченный вариант, не подвергая цензурированию сам текст. Но его давно пора печатать и в книгах, дабы не возникало сомнений у разных Даниэлей.

Меня самого задевают резкости Бродского в этом стихотворении, но все-таки после отторжения Украины от России, после насаждения в ней оголтелой русофобии не русские почвенники, а еврей Иосиф Бродский оказался единственным поэтом, который возмутился «мазепством» наших братьев по крови.

Стихотворение прекрасное, резкое, неполиткорректное. Но должен ли настоящий поэт думать о какой-то политкорректности? Когда я в 1994 году прочитал «На независимость Украины», я по-настоящему понял и высоко оценил великого русского поэта Иосифа Бродского…

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Изумительный снимок Иосифа и Марии, сделанный другом поэта Михаилом Барышниковым в 1994 году в зоопарке Флориды, я бы назвал «Семейное счастье». То, о чем мечтали его родители. То, о чем мечтал и он сам. Не случайно он и дочке своей дал имя Анна, как предсказал в «Пророчестве», и два других, в честь отца и матери — Александра и Мария.

На снимке то, на что уже почти не надеялся сам Иосиф Бродский. Движение, жизнь, любовь, Иосиф с Марией торопливо идут по зоопарку Флориды вслед за тигром, Бродский даже снял очки на ходу. Сам Барышников вспоминает о своей съемке: «Там огромные вольеры, тигр терся о решетку, а Иосиф мурлыкал: „Мрау… мрау… мрау“… Сидел, наверное, минут двадцать. Потом пришла Мария, и тигр, значит, побежал. Они — за ним. Туда и сюда. Параллельно, с другой стороны, есть еще вольеры. По-моему, с леопардами. Мария смотрит на леопарда в одну сторону, а Иосиф — на тигра — в другую». Живой снимок вышел лучше любого постановочного. Все детали подчеркивают стремительное движение их обоих — движение к счастью, которое они заслужили.

В 1980-е годы, при всех своих внешних успехах, даже при Нобелевской премии в 1987 году, при получении звания поэта-лауреата США в 1991 году, при непрерывном присуждении почетных званий докторов тех или иных университетов: Йеля, Дартмута, Оксфорда, — в своей личной жизни Иосиф был несчастен и одинок. Его все больше утомлял хоровод окружавших его женщин, вечно любимая Марина по-прежнему была далеко, а всё остальное, думаю, он всерьез не воспринимал. Как писали переживавшие за него друзья: «Каменея, болея, все более превращаясь при жизни в бронзу и мрамор, обжегшийся в первой попытке полюбить всем своим существом, всем сердцем, он, познав жизнь и людей, холодным рассудком отвергал плывших на него потоком жалких хищниц, мерзких стерв и пустых „дам — не дам, дам, но не вам“, пытаясь выловить в избраннице иное качество содержательности и человечности, надежности и мудрости…»

Я не хочу обидеть никого из обширного «донжуанского списка» Бродского — напротив, благодарен всем его женщинам за то, что они, как могли, согревали и обихаживали поэта. Но, говоря откровенно, в его жизни было только две женщины: Марина и Мария, — и одна дочка Анна. Всё остальное — или выдуманное, или сочиненное, или преувеличенное, или даже

существовавшее и существующее в реальности для него не представляло интереса: «Так, одна знакомая…» Они никак не нарушали его одиночества.

Это горчайшее одиночество отражалось и в американских стихах. Первые три года в Анн-Арборе он жил в вакууме, в полной изоляции. Он, как мог, терпел свое одиночество, даже хорохорился в письмах: «Я в высшей степени сам по себе, и в конце концов мне это даже нравится, — когда некому слова сказать, опричь стенки». Но давайте лучше почитаем его стихи той поры, чтобы определить истинное настроение поэта:

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

Думаю, он готов был променять и нобелевскую славу, и ворох наград на простое семейное счастье. Сколько же можно сидеть в президиумах, скитаться по городам и странам — и знать, что дома тебя никто не ждет?

Я одинок. Я сильно одинок.
Как смоква на холмах Генисарета.
В ночи не украшает табурета
ни юбка, ни подвязка, ни чулок.

Внешне всё было хорошо. Он гонял на машинах: «И какой же русский (а особенно еврей) не любит быстрой езды», — любил вкусно и обильно поесть, обожал восточную кухню, но не забывал и привычную русскую водку, особенно хреновую и кориандровую. На Нобелевскую премию стал даже совладельцем ресторана «Русский самовар», где и сам любил посидеть, выпить, попеть русские народные песни. Вот отрывок из его интервью:

«— Чем занимается Иосиф Бродский, „пока не требует поэта к священной жертве Аполлон“?

Бродский: Он читает, выпивает, куда-нибудь ходит, смотрит, как садится солнышко или как оно восходит…»

Устав от одинокой жизни в глухом провинциальном городишке, Бродский в 1981 году переезжает в Нью-Йорк.

Казалось бы, он переместился в центр литературной, светской, богемной, какой угодно жизни и в этом шумном мегаполисе позабудет о своем одиночестве. Поначалу так и случилось: его окружали друзья-эмигранты, журналисты исправно брали интервью, подружки плавно, без обид, сменяли друг друга. Многие из них — что итальянская славистка Аннелиза Аллева, что соседка по дому на Мортон-стрит Маша Воробьева, что американка Кэрол Юланд — искренне любили его, во всем помогали и служили ему, но, как пишет поэт:

> У всего есть предел, в том числе у печали.
> Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде.
> Можно налить воды. Позвенеть ключами.
> Одиночество есть человек в квадрате.

В центре оживленного города Иосиф Бродский писал, что если «одиночество есть человек в квадрате», то «поэт — это одиночка в кубе».

> Ночь. Дожив до седин, ужинаешь один.
> Сам себе быдло, сам себе господин.

Целая группа стихов в сборнике «Урания» связана с Аннелизой Аллева. Бродский вписал ее имя над «Арией», над стихотворением «Ночь, одержимая белизной…», над «Элегией». А к стихотворению «Сидя в тени» он сделал следующую приписку: «Размер оденовского „1 сентября 1939 года“. Написано — дописано на острове Иския в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево»… Под посвящением той же Аннелизе другая фраза: «…на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, еще и произойдет», — о чем и рассказал позже Евгений Рейн. Эти предположения о женитьбе высказывались и в адрес других добрых приятельниц Иосифа Бродского. Он готов был жениться и на итальянке, и на американке, и на полячке. Страшился пустоты одиночества, но для себя все же ждал чего-то необычного, как в детстве — ждал принцессу…

В Нью-Йорке он поселился недалеко от Гудзона, на Мортон-стрит, в доме, к которому сегодня ходят туристы, но на котором, в отличие от его питерского дома Мурузи, от дома в Норенской и даже от вокзала в Коноше, нет никаких мемориальных досок и памятных табличек. Спроси на нью-йоркских улицах про Бродского, никто никогда ничего не скажет. Да и что сказать: был

некий профессор, вроде бы русский, который и школу-то среднюю не окончил, нигде не учился, но зато преподавал более двадцати лет в крупнейших американских университетах. Повезло парню. Поддержали как политическую жертву советского строя…

Услышав нечто подобное, Бродский злился, порой даже рвал отношения с теми, кто видел в нем прежде всего диссидента, жертву режима. Его откровенно бесило, что именно судом и ссылкой многие на Западе объясняли его мировую известность. Даже многие известные западные писатели признавали: мол, стихов Бродского не читали, но поддерживают его как пострадавшего от советского строя. Он же хотел, чтобы его ценили за поэзию, за его творчество, а не за судебный процесс и ссылку. И со студентами своими Бродский говорил не о плохом советском строе, а о великой русской культуре. Кстати, им он был известен скорее не как лауреат Нобелевской премии, а как лауреат американской премии Гениев, как гордость Америки. Кроме работы в университетах Бродский охотно ездил по всей Европе со своими лекциями. Все-таки Америка чем-то его не устраивала. Недаром о Нью-Йорке он не написал практически ни одного стихотворения, переносясь душой то в Венецию, то в Швецию, то в Париж, то в родной Петербург. Меня поразил его диплом нобелевского лауреата: на одной странице текст, где написано, что в 1987 году Нобелевскую премию по литературе получает Иосиф Бродский, а на другой — коллаж из памятных для поэта мест, где и Медный всадник, и Нева; сверху, как в православном храме, лики наших святых, и в середине нечто вроде буденовки с пятиконечной звездой. Неужели это специально для Иосифа Бродского придумали такую композицию?

Жизнь складывалась удачно, вот только, уходя от внешнего мира, он опять погружался в пугающую пустоту одиночества. Родителей уже не было в живых, с Мариной они окончательно расстались, с сыном Андреем отношения не сложились после его единственного приезда в Америку.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть,
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

На людях он веселился, любил посидеть в «Русском самоваре», попеть в компании друзей «Очи черные» и «Мой костер в тумане светит…». Иногда заезжал на ночь к подружкам, иногда привозил их к себе, но грусть не проходила.

Окончательно расставшись с Мариной, он продолжал мечтать о новой любви, способной вытеснить старую. И вот — случилось. На его лекцию в Париже, в Сорбонне, в январе 1990 года приехала специально из Италии юная красавица из самых аристократических русско-итальянских кругов Мария Соццани. Ее мать из рода Трубецких-Барятинских, а отец, итальянец Винченцо Соццани, был высокопоставленным управляющим в компании «Пирелли». После лекции Мария написала ему письмо, завязалась переписка. Уже спустя десять дней, 23 января, вместе с Марией Соццани он идет в Нью-Йорке на день рождения своего друга Дерека Уолкотта. Любовь стремительно развивалась. Летом они едут в привычную для него Швецию, а в сентябре того же 1990 года Иосиф увез Марию в Стокгольм, поближе к балтийским берегам, и 1 сентября они поженились. Многие поговаривали, что выбор пал на Марию, потому что она была очень похожа на Марину Басманову. К тому же — созвучие имен и внешняя схожесть, не слишком заметная, но подмеченная друзьями. «Его жена Мария Соццани-Бродская похожа и на Зару Леандер, и на Марину Басманову», — писала Людмила Штерн. Я не стал бы педалировать этот момент схожести и созвучия. Мария прежде всего очень созвучна самому Иосифу. И по библейским ассоциациям, и по самой жизни.

В Швеции перед свадьбой им было начато любовное стихотворение «Törnfallet», посвященное Марии и законченное только в 1993-м, незадолго до рождения дочери. Торфлет — название прелестного местечка в глуши Швеции, где Иосиф счастливо проводил время со своей возлюбленной Марией. Он вновь, после многих лет напряженных отношений с Мариной Басмановой, стал счастливым человеком. К сожалению, поэт в тот период увлекся англоязычными, не самыми удачными своими стихами, и любовная лирика прозвучала по-английски. Впрочем, есть и переводы на русский. Вот один из них, принадлежащий перу Кирилла Анкудинова:

Швеции посередине
Лежу в луговине,
Слежу краешком зренья
Облачное круженье.

Вдовушку манит север —

Оборвала весь клевер:
— Будет тебе веночек,
Миленький мой дружочек.

…Как нас венчали зори
Там, в гранитном соборе,
Свадебной лентой снежной,
Сосен речью мятежной.

Озера лик овальный,
Зеркала блик хрустальный,
Ты, и волны, и блеск опала —
Трещина зазияла.

Каждой полночью черной
Огненно и упорно
Рыжее солнце твое светило —
И прибавлялась сила.

Голос твой глуше, тише.
Слушаю и не слышу
Звуки «Ласточки синей»
За звуковой пустыней.

Вечерние тени
Крадут цвета, измеренья.
Там, где цвело лугов убранство, —
Ледяное пространство

Умиранья и ночи.
Вижу близкие очи
Звезд. Вот и Венера.
А меж нами — безлюдная сфера.

Конечно, Кирилл Анкудинов — не Бродский, хотя я очень ценю его критику. Но этот перевод дает представление о сюжете стиха, о его замысле и, конечно, о чувствах Бродского к Марии. Мне важно то, что свою новую любовь Иосиф Бродский сразу — во всяком случае на период свадьбы — попытался максимально приблизить к своей родине, к балтийским просторам. А после его смерти сама Мария, без всякого выдуманного болтунами завещания, решила похоронить Иосифа уже у себя на родине, в Венеции, поближе к своему дому. Как же крепки национальные и

пространственные корни у любого человека!

Об этой сущности говорит и его рисунок — автопортрет: кот, растянувшийся вдоль Балтийского моря. А внизу надпись: «Внутренняя сущность Иосифа Бродского». Да, он обожал котов, он и сам был, как кот, который всегда гулял сам по себе, но не где-то в безбрежном пространстве, а у родной Балтики. Он и жил всегда с детства с котами. Говоря по телефону, любил заканчивать разговор характерным «мяу-мяу», «мур-мур-мур». В США у него был кот Миссисипи, в Ленинграде — Пасик. Бродский считал, что в каждом кошачьем имени обязательно должен присутствовать звук «с».

Как-то написал: «Я, как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому принюхиваюсь и облизываюсь… Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество „Память“. Или отдел пропаганды ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже кота?» В письмах Бродского к знакомым, к родителям, на книгах, подаренных им, встречается много рисунков с изображением котов, выполненных самим поэтом. Одно из поздних эссе Бродского о поэзии так и называется «Кошачье мяу».

Кошачья природа, считал Бродский, близка к поэтической, и несомненно, кот был для поэта тотемным животным. Когда-то в Ленинграде у него была Кошка в Белых Сапожках. Позже жил у него рыжий кот по прозвищу «Большой Рыжий», Иосиф звал его по-английски *Big Red.* После смерти этого кота Иосиф Бродский поместил его фотографию в рамку и поставил на столе в квартире в Нью-Йорке на Мортон-стрит. После смерти уже самого Бродского его кот Миссисипи долго не находил себе места, а всю ночь перед его смертью громко мяукал. Потом долго тосковал. Сохранился грустный снимок — Миссисипи через месяц после смерти Иосифа свернулся в клубочек в кресле своего ушедшего хозяина. Глядя на эту фотографию, ясно понимаешь две вещи: поэт уже никогда не вернется, и — любовь существует.

Питерскому коту Самсону посвящено стихотворение:

Кот Самсон прописан в центре,
в переулке возле церкви.
Он красив и безработен.
По натуре — беззаботен…
<…>
Обеспеченный ночлегом,
он сочувствует коллегам:
тот — водичку пьет из Мойки,
тот — поужинал в помойке,

тот — вздремнул на полчаса,
тот — спасается от пса,
тот — совсем больной от стужи…
…Кран ворчит на кухне сонно:
«Есть ли совесть у Самсона?..»

На даче Анны Ахматовой поэт сдружился с соседским котом Глюком, о котором Ахматова говорила: «Ну, знаете, это уже не кот, это целых полтора кота». Бродский даже описал внешность этого Глюка. «Открывается старая, шуршащая… дверь и из-за нее выглядывает пушистая прелесть… знатный кот, всем котам кот…» Видя, как поэт привязался к этому Глюку, Анна Андреевна стала его самого звать «Полтора кота». Впрочем, в прежней жизни, по буддийским канонам, которые Бродский хорошо знал, он и представлял себя рыжим пушистым котом. Как пишет Валентина Полухина, этот рыжий кот стал являться его друзьям после смерти поэта. Его видели в Нью-Йорке на могиле поэта. Режиссер Андрей Хржановский даже снял анимационно-документально-игровой фильм «Полтора кота», посвященный Иосифу Бродскому. В фильме кот — *alter ego* поэта, экран заполнен самыми разными котами, рисованными и живыми (в роли кота Бродского снимался кот писателя Андрея Битова).

Из северной ссылки Иосиф не раз посылал родителям и знакомым рисунки себя в виде кота. Людмила Штерн вспоминает: «Мама выиграла двухнедельного котенка в преферанс и объявила конкурс на лучшее имя». Бродский назвал юного кота картежным именем Пас, или ласково — Пасик. Пасик обожал, когда его гладили, позволял делать с собой что угодно, сворачивать, поворачивать, надевать на нос очки. О нем поэт тоже написал стихи:

О синеглазый, славный Пасик!
Побудь со мной, побудь хоть часик.
Смятенный дух с его ворчаньем
Смири своим святым урчаньем.
Позволь тебя погладить, то есть
Воспеть тем самым, шерсть и доблесть.

Как-то Бродский сказал: «Обратите внимание — у кошек нет ни одного некрасивого движения». В американском одиночестве Иосифа Бродского спасал и оживлял лишь кот Миссисипи. Если к Бродскому приходили гости, знаком особого расположения служило предложение поэта: «Хотите, я разбужу для вас кота?»

После замужества Мария стала звать обоих своих мужчин — рыжего Миссисипи и Иосифа — котами: «Эй, коты, идите сюда!» Оба откликались на зов немедленно. Иногда Бродский вывозил своего кота из Нью-Йорка на природу в деревню Саут-Хэдли.

Андрей Вознесенский, вспоминая встречу с Бродским в его нью-йоркской квартире в Гринвич-Виллидже, выделяет, что первым делом хозяин квартиры спросил его: «А у вас есть кот?» — и с интересом выслушал историю Вознесенского, как его кошка забралась на высоченную сосну на даче в Переделкине и пришлось пилить сосну, чтобы спасти ее. Звали ее Кус-кус, и Бродскому это имя приглянулось: «О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика…»

МАРИЯ И АННА

Анна Александра Мария, по-домашнему просто Нюша — дочь, которую родила Бродскому любимая жена Мария. Близкие друзья Бродского утверждают, что несколько лет с ней были для него счастливее, нежели предыдущие пятьдесят. Уверен, так и было. Познакомившись с Марией в Милане, я и сам подпал под очарование одновременно и аристократической, и глубинно русской, и доброжелательной, и потрясающе красивой женщины.

Мария, как и Марина, неразговорчива, не дает интервью и не пиарит себя как вдову нобелевского лауреата. В отличие от болтливых друзей, рассказавших уже всё, что они знали и не знали, и Марина, и Мария хранят молчание, но до каких пор? Их книги разлетались бы по всему миру, но мир не видит ни этих книг, ни их самих. Разве что неугомонная польская газета, а вернее, польская приятельница поэта Ирэна Грудзиньска-Гросс сумела взять небольшое интервью у вдовы поэта, опубликованное 9 мая 2000 года в «Газете Выборчей». Выделю в нем два момента. Первый: Иосиф Бродский и Италия.

«И.Г.-Г.: Как возникла любовь Бродского к Италии?

Мария Соццани-Бродская: Русские делятся на две категории: на тех, кто обожествляет Францию, и на тех, кто без ума от Италии. В Италии писали Гоголь и Вячеслав Иванов, сочинял музыку Чайковский, рисовал Александр Иванов. Иосиф был открыт на многие страны, но с Италией был связан особенно. Уже в юности он читал итальянскую литературу. Мы много раз говорили даже о малоизвестных авторах, которых за пределами Италии почти никто и не вспоминает… Иосиф всегда помнил и то, что уже в восемнадцатом и девятнадцатом веках контакты между художниками Италии и России были очень интенсивными.

И. Г.-Г.: Отсюда и выбор Рима как места для его Академии…

М.С.-Б.: Бродский трижды бывал в римской *American Academy,* она его вдохновляла. Он провел в ней много времени, результатом явились „Римские элегии“. Рим — это был логичный выбор, хотя Иосиф думал и о Венеции… В конце жизни он активно включился в разные проекты помощи людям. Начал этим особенно интенсивно заниматься после 1992 года, когда он стал „поэтом-лауреатом“ Соединенных Штатов. Он тогда хотел сделать так, чтобы поэзию можно было найти в отелях или супермаркетах, — этот проект реализован. Три или четыре года его жизни были посвящены как раз таким делам, и Русская академия в Риме была последним из них».

Второй момент: как относился поэт к России в последние

годы? Почему так и не приехал?

«И. Г.-Г.: Некоторые утверждали, что Бродский был безразличен по отношению к России. Ни разу не поехал, несмотря на многочисленные приглашения. Многие считали, что он должен был вернуться, ведь он был самым выдающимся русским поэтом…

М.С.-Б.: Он не хотел возвращаться, поскольку его друзья и так к нему приезжали, чтобы встретиться. Родителей уже не было в живых, страна была другой, вот он и не хотел появляться как некая дива, когда у людей было много больших забот. Его жизнь шла в одном направлении, а возвращения всегда трудны. Если бы пришлось переезжать, мы поехали бы в Италию. Мы даже об этом говорили — он получил бы работу в Перудже, в Университете для иностранцев, а там было бы видно. Но это были только мечты. Иосиф даже не хотел, чтобы его похоронили в России. Идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия — моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен. Похоронить его в Венеции было проще, чем в других городах, например, в моем родном городе Компиньяно около Лукки. Венеция ближе к России и является более доступным городом.

Но все это вовсе не означает, что он был безразличен или враждебен по отношению к России. Он вообще очень редко был безразличен в отношении чего бы то ни было *(смеется)*. Он очень внимательно следил за событиями в России — прежде всего в области литературы. Получал множество писем, люди присылали ему свои стихи. Был в восторге от того, как много там поэтов, — впрочем, у многих в стихах чувствовалось его влияние, что, с одной стороны, приносило ему большое удовлетворение, но и удивляло. Очень переживал в связи с войной в Чечне, как и с войной в Югославии».

В разговоре со мной Мария сказала, что мечтает привезти дочь на родину отца. Мария подарила нам с женой на память подготовленный ею в миланском издательстве «Adelphi», где она работает, сборник Бродского «Рождественские стихи». В России они пока не были, но хотят побывать — и в Москве, где у нее много родственников, и в Петербурге. Правда, не знают, как организовать поездку без всякой рекламной кампании, без шума в газетах, без светского шоу. Она мечтает даже побывать в Коноше и Норенской, на месте ссылки мужа.

Свадьба Бродского оказалась неожиданной для многих. Я уж не говорю о несостоявшихся невестах — обиделись даже не знающие его женщины. Такой завидный холостяк, и вдруг женится, да еще и на красавице, умнице, русской аристократке!

Окончательно обиделись и многие евреи — мол, не мог найти себе соплеменницу… К тому же все помнили, что на недавнем своем пятидесятилетии поэт пообещал: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель — одинокий путешественник». Все смирились, успокоились — и вдруг такой сюрприз!

Впрочем, Бродский всегда был предельно независимым человеком. Он выпадал из любых обойм, либеральных, державных, национальных, религиозных, даже поэтических… И жену, и дочурку обожал, боготворил. Казалось, они были для него как две дочки: старшая и младшая. Появились и стихи, посвященные дочери.

Сначала, в 1995 году, поэт пишет о дочке в стихотворном послании другу Дмитрию Голышеву:

Вдобавок — близость океана
ноздрею ловишь за углом.
Я рад, что этим дышит Анна,
дивясь Чувихе с Помелом.

Я рад, что ей стихии водной
знакомо с детства полотно.
Я рад, что может быть
свободной ей жить на свете суждено…

Позже он написал уже на английском языке стихотворение «Дочери». Есть хороший его перевод, сделанный Григорием Кружковым:

И поскольку нет жизни без джаза и легкой сплетни,
Я еще увижу тебя прекрасной, двадцатилетней —
И сквозь пыльные щели, сквозь потускневший глянец
На тебя буду пялиться издали, как иностранец.

В общем, помни — я рядом. Оглядывайся порою
Зорким взглядом. Покрытый лаком или корою,
Может быть, твой отец, очищенный от соблазнов,
На тебя глядит — внимательно и пристрастно.

Так что будь благосклонна к старым, немым предметам:
Вдруг припомнится что-то — контуром, силуэтом.
И прими как привет от тебя не забывшей вещи
Деревянные строки на нашем общем наречье.

В Америке Мария Соццани не прижилась и сразу же после смерти Бродского вернулась в Италию, поближе к своим корням. Сейчас они с дочкой живут в Милане. Она обещала Бродскому, что никогда не будет давать интервью и писать мемуаров. Поэтому сейчас пишет книгу под условным названием «Диалоги», где нет личной жизни, но есть их разговоры о литературе и культуре, его высказывания о поэзии и политике. Она и себя считает русской, хотя очень любит своего отца-итальянца. Не забывает русский язык, иногда переводит с него.

Дочь поэта изначально росла очень сообразительным малышом, ее даже называли вундеркиндом. Несмотря на то что Анечке было всего три года, когда папа умер, она очень хорошо его помнит. В таком же трехлетнем возрасте очень хорошо запомнил свою матушку и Мишель Лермонтов.

Один литератор сказал ей: «По-моему, твой папа был великий человек, великий поэт…» Аня сразу же добавила: «…И великий папа».

После смерти Иосифа, как рассказывает Мария, Нюша диктовала ей письма на небо к папе. Она ему писала: конечно, папе с неба трудно спуститься, но, может, он все же что-нибудь придумает — с дождиком, например, спустится… А если нет, то она, когда вырастет, все равно обязательно найдет способ к нему подняться…

Бродский, сам обожавший музыку, и дочь свою с пеленок воспитывал на музыке, она уже в два года отличала Гайдна от Моцарта. Любит музыку и сейчас.

Говорили в Америке в быту Иосиф с Марией по-английски, хотя русский она прекрасно понимает и говорит на нем. Нюша тоже начала говорить по-английски, но мать учила ее и русскому языку, чтобы дочь могла читать стихи отца. Бродскому Нюша успела доставить за три года своей жизни много радости. Когда-то, еще в 1967 году, в стихотворении «Речь о пролитом молоке» он писал:

Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки,
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.

И вот теперь у него была своя дочка. Он не мог надышаться на нее. Жаль, не смог Иосиф посмотреть на Анюту прекрасную, двадцатилетнюю, очень похожую на свою мать Марию. Даже его стихи семейного, а потом уже и отцовского периода стали обретать некую стабильность и эпичность. Бунтарь выходил на

новые, «генеральские» масштабы.

Чем лучше в семейной жизни, чем больше отцовских радостей, тем больше проблем со здоровьем. Ему уже сделали две операции на сердце, уговаривали на третью, не такую трудную — всего лишь продуть сердечные сосуды, сделать ангиопластику, поставить несколько укрепляющих стентов, глядишь, и продержался бы еще лет пять. Мне самому уже трижды делали стентирование, и я знаю, как эти металлические пружинки укрепляют сердце, возвращают тебя к жизни. Так жалко, что Иосиф всё тянул, не хотел делать весной или летом, переносил на осень. Не рассчитал…

Шел уже 1996 год, было написано очередное рождественское стихотворение «Бегство в Египет». Готовился сборник стихов «Пейзаж с наводнением», которому суждено было стать последним прижизненным. Его издатель А. Сумеркин вспоминает о подготовке сборника в декабре 1995 года: «За пределами „Пейзажа“ осталось два текста, относящиеся к этому периоду. Первый — сильнейшее стихотворение „На независимость Украины“, от которого и автор, и я единогласно решили на время воздержаться ввиду его чрезвычайной политической „неграмотности“, или — по-американски — „некорректности“, многократно усиленной эмоциональным импульсом и мастерством. Надо же что-то оставить и для посмертных академических изданий!» Это стихотворение, как уже говорилось, я считаю очень важным, показательным. Так и не ушла никуда его привитая еще отцом, морским советским офицером, русская державность, усилившаяся в северный ссыльный период, прорывающаяся и в его американских интервью. Вехи его державной поэзии: «Народ» — декабрь 1964 года, «На смерть Жукова» — 1974 год, «На независимость Украины» — февраль 1992 года.

Я ни в коем случае не собираюсь привязывать Бродского к какому-нибудь направлению, течению, заманивать в тот или иной лагерь. Он — неформатен изначально. Но одно сказать можно — что автор «не жлоб, не гомик, / не трус, не сноб, не либерал, / но — грустных мыслей генерал». В каждой шутке есть доля шутки, остальное истина. Вот и в этом шутливом послании своему врачу Чернышевой Иосиф Бродский привел все отвратительные для него качества человека, начиная от жлоба и гомика и заканчивая либералом. Это, мягко говоря, не я пишу — это пишет незадолго до смерти, когда он уже потихоньку начинал отчитываться и перед Богом, нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

В тот период все журналисты и литераторы прежде всего допытывались, почему поэт не едет в Россию. Из высказываний на

эту тему можно составить целую книгу. Одно из самых нейтральных принадлежит Татьяне Толстой: «Он никуда не поехал — все приезжали к нему. Всех приехавших водили к нему. Все убедились, что он и вправду существует, живет и пишет — такой странный русский поэт, не желающий ступить ногой на русскую почву. Его печатали в России в газетах, журналах, однотомниках, многотомниках, его цитировали, на него ссылались, его изучали, его печатали так, как он хотел, и не так, как он хотел, его перевирали, его использовали, его превратили в миф. Опрос на улице Москвы в 1993 году: „Какие у вас надежды на будущее в связи с выборами в новый парламент?“ Слесарь N: „О, мне плевать и на парламент, и на политику. Я хочу жить, как Бродский, частной жизнью“».

Он хотел жить, а не умирать — ни на Васильевском острове, ни на острове Манхэттен. Он был счастлив, у него были любимая семья, стихи, друзья, читатели, ученики. Он хотел убежать от врачей в свой колледж — тогда они его не догонят. Он хотел избежать собственного пророчества: «Между выцветших линий на асфальт упаду». Он упал на пол своего кабинета вблизи другого острова, под скрещенными линиями двойной судьбы эмигранта — русской и американской. «И две девочки-сестры из непрожитых лет, / Выбегая на остров, машут мальчику вслед». Это сбылось, он и правда оставил двух девочек — жену и дочку.

«„Знаете что, Иосиф, — говорила ему Толстая, — если вы не хотите поехать с шумом и грохотом, не хотите ни белого коня, ни восторженных толп, — почему бы вам не отправиться в Петербург инкогнито?“ — „Инкогнито?“ — Он вдруг не сердится и не отшучивается, но слушает очень внимательно. „Ну да, знаете — наклейте усы или так просто… Закройтесь газетой в самолете. Не говорите никому — вообще никому. Приедете, сядете на троллейбус, проедете по Невскому. Пройдете по улицам — свободный, неузнаваемый. Толпа, все толкаются. Мороженое купите. Да кто вас узнает? Захотите — позвоните друзьям из автомата, — можете сказать, что из Америки. А если понравится — позвоните приятелю в дверь: вот я. Просто зашел, соскучился“. Я говорю, шучу и вдруг вижу, что ему совсем не смешно — и на лице его возникает детское выражение беспомощности и какой-то странной мечтательности, и глаза смотрят как бы сквозь предметы, сквозь границы вещей, — на ту сторону времени… он молчит, и мне становится неловко, как будто я подглядываю, лезу, куда меня не просят, и чтобы разрушить это, я говорю жалким и бодрым голосом: „Ведь правда, замечательная идея?..“

Он смотрит сквозь меня и говорит: „Замечательная… Замечательная…“».

Мне кажется, эта тема излишне раздута. Дал бы Бог ему подольше жизни и здоровья, пошел бы он пораньше на третью операцию стентирования, глядишь, хотя бы даже для расширения языкового запаса обязательно приехал бы. Да еще жене и дочке нужно было показать Россию. С ними ему не горько было бы ехать на руины былой любви… Надеюсь, Мария и взрослая уже Аня все-таки приедут в Россию на 75-летие мужа и отца, не спеша поездят по его родине, по памятным для него местам.

При постоянном болезненном состоянии все же умер Иосиф Александрович внезапно. Еще за день, за два был бодр, раздаривал друзьям свою книгу. Поговорил по телефону с Львом Лосевым, поворчал на предающих его былых друзей, у кардиологов добился переноса операции на сердце (такова уж была магия у Бродского, всех умел уговорить, а надо ли было уговаривать?). Набил портфель рукописями, чтобы в понедельник взять его на работу, пожелал жене спокойной ночи и остался еще посидеть в своем кабинете, что-то дописать, додумать. В ночь с 27 на 28 января — точное время неизвестно — там, в кабинете, и умер.

Пишет Лев Лосев: «Там она и обнаружила его утром — на полу. Он был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга — двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за „мгновенную справедливость“, о такой смерти говорят одобрительно: „He died with his boots on“ („Умер в сапогах“). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно».

Хоронили его на обширном нью-йоркском кладбище Тренти. В ритуальном зале рядом лежал какой-то американо-итальянский гангстер, тоже отпевали. Вспоминает Евгений Рейн: «И вдруг приезжает… Виктор Степанович Черномырдин (в то время он как раз находился в Нью-Йорке). На нем длинное кашемировое пальто, крупные бриллианты на пальцах, в руках букет из белых орхидей. Любопытно, что итальянцы немедленно поняли, что это их человек — такой себе „год-фазер“. Мы оказались рядом с Черномырдиным, когда к нему подошел итальянец и обратился на эдаком простом английском: „Вы подойдите и к нашему покойнику — он не хуже вашего“…»

Увы, Бродского не отпевали в православном храме в Нью-Йорке — церемония прощания проходила в похоронном заведении на Бликер-стрит, 99, Гринвич-Виллидж 30 и 31 января. Отпевание состоялось 1 февраля в епископальной церкви Благодати *(Grace Church)* в Бруклин-Хайтс, недалеко от дома, где жил Бродский на Пьемонт-стрит.

Отпевали по желанию католички Марии в католическом

соборе Святого Патрика, затем уже на кладбище тело поместили в специальную морозильную нишу, где оно и пробыло целый год. На сороковой день, 8 марта, все-таки состоялась поминальная служба в православном соборе Святого Иоанна, присутствовали более тысячи его друзей и поклонников. Из России прилетел Яков Гордин, из Англии — Валентина Полухина. Валентина Платоновна Полухина, наш ведущий ныне бродсковед, вспоминает: «8 марта 1996 года мы с профессором Дэвидом Бетея сидим в середине огромного величественного собора Святого Иоанна Богослова перед началом службы поминовения на сороковой день. Я замечаю под крышей собора движущийся свет, он перемешается то влево, то вправо. Спрашиваю у Дэвида, что бы это могло значить. „Боже мой, — восклицает Дэвид, — он и там курит!“».

Друзья из Петербурга долго уговаривали Марию похоронить поэта на родине, рядом с Ахматовой, но Мария наотрез отказалась, выбрав для себя Венецию. Похороны Бродского на кладбище Сан-Микеле состоялись только 21 июня 1997 года. Больше века назад это кладбище связывалось с «материком» понтонным мостом, умерших везли сюда на традиционных катафалках. Потом, когда моста не стало, для перевозки по воде стали использовать черные похоронные гондолы.

Надгробие сделал хороший знакомый Бродского, художник Владимир Радунский, скромно и изящно, в античном стиле, с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском: «Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г. — 28 января 1996 г.». На оборотной стороне надпись по-латыни из его любимого Проперция: «Letum non omnia finit» — «Со смертью все не кончается».

Гуляет много баек от «очевидцев», как в самолете гроб открылся, как потом развалился надвое и его перевозили на Сан-Микеле на двух гондолах. Все это опровергает Лев Лосев, который сопровождал гроб на всем пути от Нью-Йорка до Сан-Микеле.

На оборотной стороне памятника, где помещена латинская надпись, изначально сидел ангелочек с книгой. Но фанаты уважать память о покойных не умеют. Могут и соседнюю могилу затоптать, как было на похоронах Владимира Высоцкого, могут и весь памятник разобрать на сувениры. Вот так и этот прелестный ангелочек, читающий стихи Бродского, недолго продержался на надгробии.

Открутили, отвинтили, унесли… словом, прибрали к рукам. Нового приделывать не стали, чтобы не создавать прецедент для «коллекционеров». Я обычно посещаю могилу Бродского на

Рождество, читаю над ней его «Рождественские стихи».

НЕИСЦЕЛИМЫЙ ИОСИФ

Так получилось, что я в своих маршрутах по земному шару частично повторял странствия Иосифа Бродского. Родной архангельский Север, Петербург, где еще в юности с ним и познакомился, Америка, Мексика, Швеция, Англия, Ирландия, Финляндия, Польша, Балтия, Венеция…

Очень емко о странствиях своего друга написал поэт Лев Лосев: «Образный мир Бродского обладает свойством выраженной географичности: приметы конкретного географического места почти всегда играют в его лирике важную роль. Большое количество стихотворений посвящено местностям, городам, городским районам. Карта поэзии Бродского разделена на северо-запад и юго-восток. Петербург, Венеция и Стамбул — три главных города в земном круге. Могут возразить, что в отличие от первых двух городов у Бродского нет стихов, посвященных Стамбулу, есть лишь большое эссе. Но „Стамбул“, так же как и „Watermark“, и эссе о Ленинграде, является своеобразной рекапитуляцией мотивов и образов, неоднократно варьировавшихся в лирике. В „Стамбуле“ — это азиатские мотивы, из которых главный у Бродского мотив пыли, метафора полной униженности, обезлички человека в массе. Сухой, пыльный, безобразный Стамбул, столица „Азии“ на карте Бродского, полярен влажной, чистой, прекрасной Венеции, столице „Запада“ (как ареала греко-римской и европейской цивилизации). Родной же город на Неве — вопреки реальной географии — расположен посередине между этими двумя полюсами, отражая своей зеркальной поверхностью „Запад“ и скрывая „Азию“ в своем Зазеркалье».

Насколько он не принимал душой всю мусульманскую Азию, настолько же ценил параллель между Петербургом и Венецией. По сути, за всю жизнь он лишь четырем городам посвятил свои эссе. Это Рио-де-Жанейро — эссе «После путешествия, или Посвящается позвоночнику» (1978), Ленинград — «Путеводитель по переименованному городу» (1979), Стамбул — «Путешествие в Стамбул» (1985) и Венеция, которой посвящено вышедшее отдельной книгой эссе «Набережная неисцелимых». Если Рио-де-Жанейро — лишь дань экзотике, если «Путешествие в Стамбул» — его философия неприятия исламского Востока, то Венеция становилась прямым продолжением его Петербурга. Кстати, и в «Набережной неисцелимых» он вдруг, не удержавшись, дает некое отступление об исламе.

«Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золота горчично-медовые, обладательница последних и

я встречали египетский военный корабль, точнее легкий крейсер, швартовавшийся у Фондамента делла Арсенале, рядом с Жардиньо. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ощетинившееся всевозможными антеннами, радарами, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычных орудий главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже вблизи пришлось бы подумать, потому что форма и выучка экипажа отдавали Британией. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к темному пурпуру. Пока мы недоумевали, что привело сюда корабль — нужда в ремонте? новая помолвка Венеции и Александрии? надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке? — вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали: „Алла! Акбар Алла! Акбар!“ Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву, обе мачты на мгновение превратились в минареты. Крейсер обернулся Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере, она сократилась на шесть веков: христианство стало ровесником ислама. Босфор накрыл Адриатику, и нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура».

Незадолго до своей смерти Лев Лосев прислал мне письмо. Он писал: «Спасибо за статью о Бродском. Я ее уже читал. Бродский был значительно многограннее, чем думают, и Вы справедливо отмечаете его органический патриотизм, на что обычно не обращают внимания. В терминах девятнадцатого века он был „русским европейцем“, хотя по-настоящему определить такого сложного человека, как Иосиф, в терминах девятнадцатого века нельзя. Если мы скажем, что он был „соткан из противоречий“, то это будет относиться к нашей неспособности понять цельность мировоззрения человека гениального. Ваш Лев Лосев».

Но, принимая органический патриотизм Бродского (как и самого Лосева), я не принимаю лосевского отрицания явной параллели между Петербургом и Венецией. Я не согласен с его мнением о неосновательности поверхностного прочтения параллели «Петербург — Северная Венеция». Он пишет: «За исключением небольшого квартала, называемого Новой Голландией, в Петербурге нет зданий, непосредственно омываемых водой, что является самой характерной чертой Венеции, несоизмеримы масштабы широко раскинувшегося Петербурга и компактной Венеции и, конечно, не похожи доминирующие архитектурные стили. Сходство между Венецией

и Петербургом, так остро ощущаемое Бродским, не градостроительно-архитектурного, а драматического порядка. Нигде на земле, кроме как в этих двух городах, не сталкиваются с такой драматической интенсивностью гармонизирующее человеческое творчество и стихийный хаос. К Венеции вполне приложимы слова, сказанные Достоевским о Петербурге: „Самый умышленный город в мире“».

Все это так и есть, но хорошо зная Венецию, я вижу и определенное архитектурное сходство иных ее районов с Петербургом. В Петербурге есть Новая Голландия, а в Венеции — виа Гарибальди, улица, очень схожая с родным для Бродского Литейным проспектом. Конечно, классическая Венеция другая, но не будем забывать, что, выходя с виа Гарибальди на набережную, мы вскоре встречаем, к примеру, отель «Лондра», где останавливался Иосиф Бродский. Да и многие другие любимые венецианские святыни Бродского, от храма Сан-Дзаккариа, где находится так восхищавшая Бродского картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем и четырьмя святыми», до острова Сан-Пьетро, тоже находятся вблизи от улицы Гарибальди. Не будем забывать, что Иосиф Бродский часто предпочитал «другую» Венецию традиционно туристической части города.

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

Как пишет его давний венецианский друг Роберт Морган, Венеция привлекала его «прежде всего тем, что напоминала ему Петербург. Ему нравились венецианские туманы, запах замерзших водорослей… Он был северным человеком, терпеть не мог жару и старался приезжать в Венецию зимой». Петр Вайль уточняет его самые любимые места: «Посмотрите напоследок через пролив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему…» Так надо ли отрицать очевидное?

Гуляя по Венеции, он шел к своему любимому Арсеналу и далее до улицы Гарибальди, проходящей по старому каналу, засыпанному по приказу Наполеона. Затем улица плавно

переходит в набережную Большого канала, а там уже впереди и остров Сан-Пьетро. И потом, Венеция и Петербург — города воды, отражение времени и пространства в воде, будь это родная Балтика или Адриатика. «Вода равна времени и снабжает красоту ее двойником, — пишет поэт. — Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит».

Впрочем, и его уже знаменитая в России «Набережная неисцелимых» тоже не проходит по туристическим маршрутам. Гуляя по этой тихой набережной зимой, он скорее думал и о себе, о своей уже давней «неисцелимости».

Не случайно именно в Венеции он вспомнил «первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: „В глубине Адриатики дикой…“. В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики… Стоило лишь оглянуться, чтобы увидать Стацьоне во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидать печатные буквы: VENEZIA». Он и бродил по берегам Адриатики дикой, и писал о таких же, как он, неисцелимых людях. Он писал в своем эссе: «Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, — ты понимаешь, что не все кончено… Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его Дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью. Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город».

История создания ныне знаменитой «Набережной

неисцелимых» крайне проста и обыденна. Как сказал сам Бродский на одной из пресс-конференций в Финляндии: «Исходный импульс был простой. В Венеции существует организация, которая называется „Консорцио Венеция Нуова“. Она занимается предохранением Венеции от наводнений. Лет шесть-семь назад люди из этой организации попросили меня написать для них эссе о Венеции. Никаких ограничений, ни в смысле содержания, ни в смысле объема, мне поставлено не было. Единственное ограничение, которое существовало, — сроки: мне было отпущено два месяца. Они сказали, что заплатят деньги. Это и было импульсом. У меня было два месяца, я написал эту книжку. К сожалению, мне пришлось остановиться тогда, когда срок истек. Я бы с удовольствием писал ее и по сей день».

Именно зимой многое в Венеции напоминает о его любимом Питере. Впрочем, всем нынешним исследователям, опровергающим всякую связь Венеции и Петербурга в жизни Бродского, советую все-таки иногда читать и самого поэта: «Она во многом похожа на мой родной город, Петербург. Но главное — Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности влюбляться. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни — и тем более не в состоянии сам создать — ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема».

Конечно же, Венеция — совершенно фантастический город. Но, заметим, ничто не мешало нобелевскому лауреату Бродскому переехать в Венецию навсегда. Почему же он приезжал туда хоть и 18 раз, но только поздней осенью или зимой? Наслаждался и уезжал. И в самой Венеции предпочитал уголки не совсем венецианские. И терпеть не мог переполненную людьми и пахнущую мочой летнюю туристическую Венецию.

Интересно, что о схожести Венеции с его родным Петербургом Бродский стал размышлять еще в молодости, задолго до того, как впервые посетил этот город. Прочитав «Провинциальные забавы» французского писателя Анри де Ренье, переведенные замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым, где действие происходило в зимней Венеции, Бродский возмечтал об этом городе. Но в то же время понимал, что «человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах, Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте…».

Он сразу же и навсегда соединил Петербург и зимнюю Венецию: «Я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на

первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин».

Венеция стала частью его жизни. Согласен с Петром Вайлем: «Он вписал в город свою биографию, а город — в себя. Стихотворение „Лагуна“ стало первым его стихотворением не о России или Америке. Стихотворение „С натуры“ — последним. Зимой 1973 года он написал „Лагуну“: „Тело в плаще обживает сферы“. И осенью 1995-го, за три месяца до кончины, он написал: „Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок“. И между этими датами — 1973-м и 1995-м — Венеция Бродского, в стихах и в жизни. Пансион „Академия“, рестораны „Локандо Мантин“, „Маскарон“ и „Алла Ривьетта“, базилика Сан-Пьетро и Арсенал…»

Я с уважением отношусь к добросовестным литературоведам и краеведам, буквально по часам сверяющим маршруты поэта. Но в корне не согласен с той или иной привязкой поэта к местности. Вот Бродский завел своего друга Женю Рейна в дорогое кафе «Флориан», недалеко от площади Сан-Марко, попили хорошего кофе по восемь евро чашечка. И сразу же возникает легенда о его любимом кафе в Венеции. Конечно, он, как и положено, водил своих друзей в фешенебельное кафе, где, согласно легендам, пили кофе многие знаменитые писатели, но, насколько мне известно, оно не было его любимым. Да и постоянно питаться в нем поэту было не по карману. Даже когда он стал, условно говоря, состоятельным человеком, стиль его жизни был лишен буржуазности и элитарности. Он был другим до последних дней своих. Мог быть замкнутым, неразговорчивым, нелюдимым, но не был напыщенным снобом, останавливающимся в самых дорогих отелях и посещающим только самые дорогие рестораны. Конечно, не во «Флориане» он обычно ел жареную рыбу, запивая ее своей любимой граппой. Туда он водил изредка своих уважаемых гостей. Как обычно положено на Руси, для гостей — самое дорогое.

Не постесняюсь рассказать, как я оказался в траттории «Риветта», самом обычном трактирчике, где Бродский любил посидеть со знакомыми, хорошенько выпить, плотно и вкусно поесть. Эту тратторию не так-то просто и найти, вроде бы и рядом от всех центральных мест, но будто где-то в тени, чуть ли не под мостом. Собирался специально походить, поискать ее с картой города. Но как-то, когда мы с женой угостились крабами, запив

их, как положено, крепкой граппой, нам потребовалось срочно посетить туалет. Кто бывал в Венеции, знает: ни платных, ни бесплатных общественных заведений там нет нигде, а были мы недалеко от площади Сан-Марко и Славянской набережной. В дорогой ресторан не пойдешь, да и не пустят, надо бежать до какой-нибудь ближайшей траттории. Бежим минут десять, уже не разбираясь, куда сворачивать, благо в Венеции заблудиться невозможно, и видим за углом какое-то приземистое, простое питейное заведение. Врываемся. После всех наших процедур заказываем себе по стаканчику, умиротворенно оглядываемся, я выхожу на улицу — и вижу, что это и есть та самая траттория «Риветта», любимое заведение Бродского.

Еще об одном любимом заведении пишет Петр Вайль: «А последний адрес понравился лично мне больше других — харчевня „Маскарон“, неподалеку от церкви Санта-Мария Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь — не ешь. Зато, если захочешь — не пожалеешь. Иосифу нравились эта непритязательность и отсутствие помпы, мне тоже».

Это и есть его Венеция. Готовят вкусно и дешево, никаких туристов, сплошь местный люд. А дальше начинаются восточные районы города с улицей Джузеппе Гарибальди. До этой улицы редко какой турист доходит, там нет картинной классической Венеции, нет ни бледно-алых на заре каналов, ни дворцов, ни горбатых мостиков Риальто. Типичный петербургский проспект. Я читал рассеренные заметки какого-то знатока и Венеции, и Бродского, уверяющего, что ничего общего с Венецией у Петербурга нет и не за петербургскими пейзажами ездил туда поэт.

Конечно, своеобразие Венеции совсем иное, чем Петербурга, конечно, Бродский прекрасно знал и Риальто, и Большой канал, и все знаменитые базилики. Но почему-то тянуло его все время в сторону улицы Гарибальди, на которой нет ни венецианских кружев, ни узеньких улочек, ни многочисленных каналов и канальчиков. Обыкновенный Литейный проспект, даже свой дом Мурузи на нем можно найти. Широкая торговая улица для местного люда, рядом Славянская набережная, недалеко, если идти все время вправо, будет и площадь Сан-Марко. И вид с этой улицы не на канальчики, а на широкий залив: выход то ли в родное Балтийское море, то ли в Адриатику.

Вот и в Стокгольме Бродский сначала один, а потом и со своей красавицей-женой всегда снимал такие номера в отелях или такие апартаменты, чтобы из окон была видна родная

Балтика, да и улицы никто не смог бы отличить от петербургских. И ел в таких же уютных дешевых ресторанчиках, презирая роскошь новой буржуазии. Нас водил по Стокгольму один из друзей поэта, и поневоле, сравнивая Стокгольм Бродского с его Венецией, я видел определенное питерское сходство впечатлений. Хотя и Стокгольм, конечно же, своеобразнейший город, легко отличимый от Петербурга.

Уже в своих нобелевских чинах и званиях Бродский останавливался в роскошном отеле «Лондра» на Славянской набережной, там написал свое прекрасное стихотворение «Сан-Пьетро», об одном из венецианских островков, который он обожал. Местоположение «Лондры» очень удобное, рядом с его петербургскими проспектами. Но роскошь невообразимая, торжество швейцаров и лакеев полнейшее. И потому само написанное стихотворение «Сан-Пьетро» о рабочем, рыбацком районе Венеции противоречит всему этому напыщенному дорогостоящему отелю.

Электричество
Продолжает гореть в таверне,
Плитняк мостовой отливает желтой
Жареной рыбой…
За сигаретами вышедший постоялец
Возвращается через десять минут к себе
По пробуравленному в тумане
Его же туловищем туннелю…

Зайди он в этот отель для олигархов «Лондра» один, без друзей и провожатых, швейцар не пустил бы его дальше передней — не тот вид. Впрочем, Иосиф и не скрывает, остановился он в этом отеле благодаря любезности «Выставки несогласных». Для несогласных с Россией всегда находятся деньги и на отели, и на приемы… На этой биеннале инакомыслия Иосиф Бродский познакомился и с Андреем Синявским, и с Александром Галичем, и со своим будущим другом Петром Вайлем. В свободное от «инакомыслия» время бродил по петербургской Венеции. Насколько я понимаю, в тот приезд питерская Венеция ему и открылась.

Я говорил с швейцаром «Лондры» в свою недавнюю поездку в Венецию, я был для него тоже недостаточно буржуазен, он нехотя выдавливал что-то сквозь зубы — представляю, с каким презрением он смотрел бы на Бродского в его обычном рабочем поэтическом прикиде! Вот и написал поэт скорее стихотворение-протест всей этой «Лондре» об обшарпанной уличной жизни

простых венецианцев. Кто не верит мне, расщедритесь на 500 евро на день, поживите хоть денек в этой насквозь буржуазной, олигархической «Лондре» и прочитайте там строчки Бродского о рыбацком острове Сан-Пьетро или его заметки о любимом островке: «Помню один день — день, когда, проведя в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу фондаменте Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер…» Нет, в «Лондре» он не нашел бы дешевой жареной рыбы и полбутылки вина, да и чемоданы бы ему собрать не дали, для этого есть лакей.

Что скрывать, жил он и в фешенебельных апартаментах, пивал во дворцах и замках, но его поэтический стиль жизни — совсем другой. Прочитайте, с каким пренебрежением пишет он в «Набережной неисцелимых» о чугунных фамильных кроватях, инкрустированных мраморных столах и прочих атрибутах, попадающихся ему в палаццо, куда он был случайно приглашен. «Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая *Nebbia,* превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца».

Так что, когда гиды будут водить туристов по «Венеции Бродского», останавливая внимание на таких палаццо, роскошных отелях или фешенебельных ресторанах, знайте, что это не мир Бродского. Не случайно и в Америке он больше всего обожал дешевенькие китайские ресторанчики. Там он чувствовал себя своим. Поэтом, бродягой, странником, пилигримом… Таким же он был в Европе. Поэтому понять Венецию Бродского можно, если бродить самому по неказистым районам, заселенным рабочим людом, заходить в непритязательные траттории среди кирпичных банальностей города. Как писал поэт: «Меня, впрочем, содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше — если не больше, — чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычками романиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни». И опять ностальгия по Петербургу, привычное однолюбие консерватора.

И на самом деле, чувствуется даже некий питерский снобизм в привязанности к облупившейся штукатурке, к проглядывающим красным кирпичам. Он и в Венеции жил по своему питерскому образу и подобию. Когда он приезжал в город сам по себе, без всяких конференций и выступлений, то и жил сам по себе, так,

как считал нужным, бродил по зимним безлюдным улицам, ел в местных тратториях жареную рыбу, запивал вином или граппой. Лето — фестивали, шум, толпы туристов — это не его пора. «В любом случае летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек — еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень — всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой — хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором. Взгляд, видимо, крайний, но я северянин».

Северный Бродский ехал как бы к себе на север: «Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, — ты понимаешь, что не все кончено».

Ощущение такое, что он ездил в Венецию осознанно — доживать свою жизнь. В Америке он поневоле работал, преподавал, забывал про свою неисцелимость. Его венецианское эссе недаром названо «Набережная неисцелимых». Его друг Роберт Морган размышляет: «Почему поэт назвал эссе „Набережной неисцелимых“? Рядом с набережной Дзаттере в свое время находилась „больница неисцелимых“. Бродский сам был неизлечимо болен, и его постоянно преследовала мысль о неизбежности смерти…»

Понять Венецию Бродского — это значит понять и весь путь жизни поэта. Он был однолюбом и в жизни, и в литературе. Он всю жизнь любил одну женщину — Марину Басманову, всю жизнь любил один город — Петербург и даже обстановку в своей американской квартире сделал такую же, как в доме Мурузи на улице Пестеля, и вовсе не из-за каких-то фрейдистских побуждений. Как он сам писал в стихах: «Я сижу у окна. За окном осина. / Я любил немногих. Однако — сильно…»

Он был консерватором и в жизни, и в литературе, ненавидевшим всяческий авангард Приговых и Рубинштейнов.

Для любого консерватора Венеция — это законченное совершенное произведение, которое, к счастью, никто не стремится модернизировать. Сегодня принято отрицать всё, что любил сам Иосиф Бродский.

К примеру, журналист Юрий Лепский в своей в целом неплохой книге «В поисках Бродского» охотно повторяет либеральные байки о том, что любовь Бродского к Марине Басмановой закончилась рано и инициалы над стихами «М. Б.» были всего лишь графическим символом, неким иероглифом. Люди, знающие Иосифа и Марину, посмеиваются над этим бредом, но нежелание многих видеть в М. Б. его Беатриче, его Лауру часто выпирает наружу.

Может, это неисцелимое однолюбство его и погубило?

Мистика всегда сопровождала Иосифа Бродского. Спрашивается: зачем он с друзьями отправился осматривать Остров мертвых? Выискивал себе место для похорон? Но до смерти было еще достаточно времени… «Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро, включая ее владельца, местного инженера, который и греб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть, — по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Наконец, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое „си“, перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь.

Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверно, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. И потом, движимая мужчиной и женщиной, гондола не была даже мужественной. В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей…»

Даже на кладбище он думал скорее об эротизме, чем о своих похоронах. Но выбор как бы уже был сделан. Впрочем, то же самое можно сказать и о его мистической встрече с вдовой Эзры Паунда Ольгой Радж, неоднократное упоминание об этой встрече

в его эссе. Он как бы заранее налаживал связь со своими соседями по кладбищу Сан-Микеле. Может быть, он и правда высказал Марии пожелание быть похороненным в Венеции. А может, это была только ее воля — ухаживать за могилой, расположенной на ее родине, было удобнее. К тому же отдавать тело в Петербург — значило отдавать навсегда Иосифа сопернице Марине Басмановой. Я не думаю, что Мария так уж жаждала с ней познакомиться.

За Мариной остались знаменитые любовные стихи поэта к «М. Б.», за Марией — могила в Венеции. Мария очаровательна и в поведении, и в своем старорусском правильном языке, и в манере общения. По своей юности помню, так вели себя русские дворяне, с которыми мне доводилось общаться. О Бродском говорила, что он был рад даже одной удачной строчке у посетившего его поэта и потому так охотно писал предисловия к их стихам. Он жаждал общения с русскими поэтами, ему его не хватало. Она знает одно: у него никогда не было ненависти и нелюбви к России. Мария обещала ему, что никогда не будет давать интервью и писать мемуаров. Ее искренне радует, что поэзию Бродского не забывают и на могилу приходит много русских.

В гостях у нее мы оказались на другой день после поездки на остров Сан-Микеле. Рано утром на площади Сан-Лука, где находится железнодорожный вокзал, сели на поезд Венеция — Милан и через три часа оказались, как на другой планете, в промышленном центре Италии. Здесь и встретились с вдовой Бродского — изумительной, изящной и очаровательной женщиной. Прелестная русская женщина, и какая древняя порода в ней видна…

Не так давно Станислав Куняев в своей статье о стихах Иосифа Бродского и Николая Рубцова обмолвился — мол, в отличие от Рубцова, Бродский был похоронен «на шикарном кладбище». Как-то неудобно мерить поэтов не стихами, а кладбищами, и к тому же Куняев, не бывавший никогда на могиле Бродского, явно ошибся. Я был и на могиле Рубцова с замечательным надгробием Вячеслава Клыкова, и на могиле Бродского. Даже сами могилы в чем-то схожи: предельно скромные и всегда в цветах. Станислав, не знавший подробностей, явно попал впросак. Вот взял бы и пробил со всем своим влиянием захоронение Рубцова в лучшем месте, рядом с могилой другого великого русского поэта, Батюшкова. У Иосифа же сама судьба решила все вопросы — в том числе и соседство с другим великим поэтом.

Когда вдова поэта решила его похоронить в Венеции на Острове мертвых кладбища Сан-Микеле, встал вопрос, где

конкретно. Католики и сейчас куда большие консерваторы, нежели православные. На католическое кладбище некатолику никогда не попасть, будь он трижды лауреатом Нобелевской премии. Католики на Сан-Микеле занимают господствующее положение. На православном греческом кладбище — Игорь Стравинский, Сергей Дягилев; евреи — на еврейском. Насколько я знаю, Бродский еще при жизни, как вспоминает Илья Кутик, купил себе место на ужасном нью-йоркском кладбище. Предчувствовал скорую смерть. Написал всем друзьям письма, где просил до 2020 года ничего не рассказывать о его личной жизни. Кроме его жены Марии и его возлюбленной Марины больше никто не выполнил его просьбу.

Предчувствие смерти заметно и в стихах последних лет:

> вечером я стою, вбирая
> сильно скукожившейся резиной
> легких чистый осеннее-зимний,
> розовый от черепичных кровель
> местный воздух, которым вдоволь
> не надышишься, особенно напоследок!

Когда его решили перезахоронить в Сан-Микеле, гроб из Америки доставили на самолете. На Остров мертвых тело из Венеции довезли на гондолах. Точно так же, как относительно недавно он сам добирался до этого острова. Мне рассказывали, что вначале Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но русская церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Лишь на евангелическом участке пускают хоронить всех инаковерующих: это бывшее «позорное кладбище», где хоронили актеров, самоубийц, коммунистов и прочих сомнительных личностей. Итальянцы и в наши дни не проявляют политкорректности, хотя «позорным» кладбище из вежливости уже не называют.

Там нашли место и наш Иосиф Бродский, и фашист Эзра Паунд, великий американский поэт. Удивительно, но смерть свела их вместе: могилы Паунда и Бродского почти рядом. Думаю, время от времени их души собираются там, под землей, и ведут бесконечные разговоры о поэзии. И еще одна деталь. Пишут, что президент Ельцин отправил на похороны Бродского чуть ли не шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников и его друзья отнесли все эти розы до единой на могилу Эзры Паунда. Об этом факте у нас до сих пор молчат. Не было ни единого цветка на похоронах поэта от ельцинской власти. Не

знаю, был ли Паунд рад этим желтым ельцинским розам.

Но не будем путать отношение к российским властям с отношением к самому Отечеству. Сам Иосиф Бродский не стеснялся пафосно называть свою родину — Отечеством. Неисцелимая любовь к немногим и немногому и удерживала его, на мой взгляд, какой-то период от смерти. И все-таки: недописал, недолюбил, недоисцелился. Зато вновь приблизил ко всем любителям русской поэзии божественную Венецию. Как считает писатель Джон Апдайк, эссе «Набережная неисцелимых» «восхищает тонким приемом возгонки, с помощью которого из жизненного опыта добывается драгоценный смысл. Эссе — это попытка превратить точку на глобусе в окно в мир универсальных переживаний, частный опыт хронического венецианского туриста — в кристалл, чьи грани отражали бы всю полноту жизни… Основным источником исходящего от этих граней света является чистая красота».

Внуково — Петербург — Череповец — Коноша — Готланд — Венеция

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Развалины синагоги в городе Броды — месте, где жили предки Бродского

Храм Иоакима и Анны близ Череповца, где предположительно был крещен Иосиф Бродский

Двухлетний Ося с матерью и теткой

В Череповце. 1942 г.

Дом Мурузи, где находились «полторы комнаты» Бродского

Иосиф с отцом

Бродский на балконе своей квартиры. Фото А. И. Бродского

Морская душа

Марина Басманова

Бродский в геологической экспедиции. Якутия, 1959 г.

Суд над «тунеядцем» Бродским. Февраль 1964 г.

В северной ссылке

Бродский у дома Таисии Пестеревой в деревне Норенской

Так выглядит сегодня дом, где жил поэт

Бродский и Евгений Рейн с крестьянами в Норенской

СЛОВО — МЕСТНЫМ ПОЭТАМ

ТРАКТОРЫ НА РАССВЕТЕ

И. БРОДСКИЙ.

ЛЮБОВЬ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ СТИХ

А. ЗАБАЛУЕВ.

В ПОМОЩЬ АГРОНОМ

Из общественной приемной

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КОЛЕСНИК ЛЕГКОВАТ...

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

НА ВИТРИНАХ...

Загляните— не пожалеете

НАШИ АД

Стихотворение Бродского «Тракторы на рассвете», напечатанное в местной газете «Призыв»

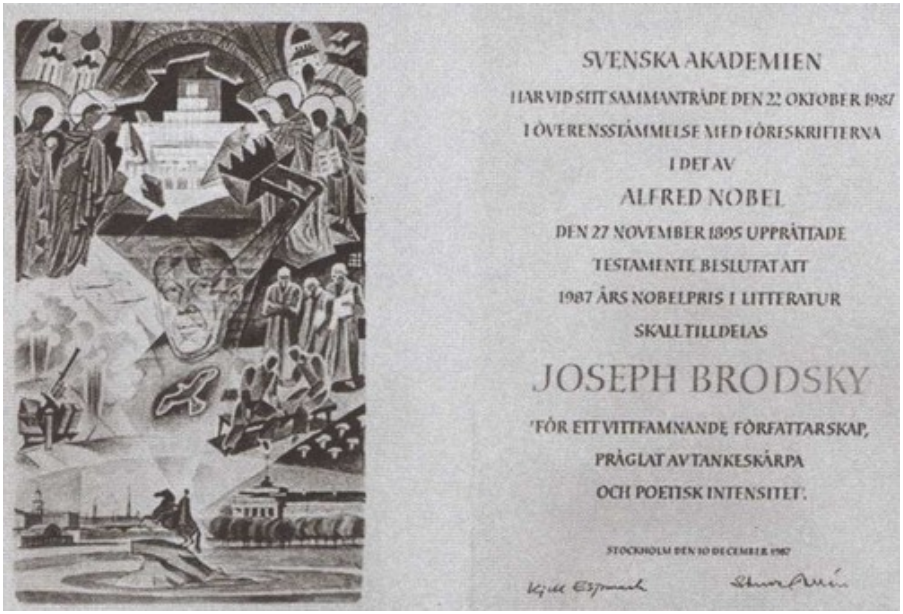
Бродский и Яков Гордин в Норенской

Музей Бродского в Коноше украшают сделанные им фотографии

Бродский в Коктебеле. 1969 г.

Занятия со студентами в Мичиганском университете

Бродский и его друзья на вручении Нобелевской премии. Стокгольм, 1987 г.



SVENSKA AKADEMIEN

HAR VID SITT SAMMANTRÄDE DEN 22 OKTOBER 1987

I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRESKRIFTERNA

I DET AV

ALFRED NOBEL

DEN 27 NOVEMBER 1895 UPPRÄTTADE

TESTAMENTE BESLUTAT ATT

1987 ÅRS NOBELPRIS I LITTERATUR

SKALL TILLDELAS

JOSEPH BRODSKY

'FÖR ETT VITTFAMNANDE FÖRFATTARSKAP,

PRÅGLAT AV TANKESKÄRPA

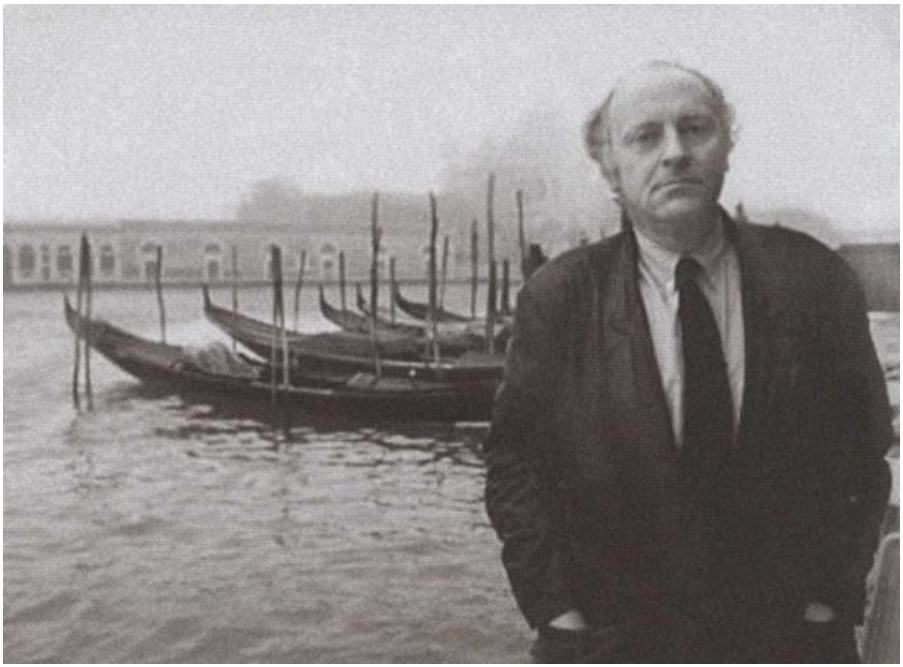
OCH POETISK INTENSITET'.

STOCKHOLM DEN 10 DECEMBER 1987

Почетный диплом нобелевского лауреата

Иосиф и Мария. Фото М. Барышникова

Бродский и Евгений Рейн



Бродский в Венеции

С котом Миссисипи

Бродский и Валентина Полухина. Фото И. Киннел

Автор книги на могиле Бродского в Венеции

Памятник Бродскому в Москве

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. БРОДСКОГО

***1940**, 24 мая* — родился в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской стороне. Отец Александр Иванович Бродский (1903–1984) был военным фотокорреспондентом, морским офицером, в 1950 году демобилизован, после этого работал как фотограф и журналист в нескольких ленинградских газетах. Мать Мария Моисеевна Вольперт (1905–1983) — бухгалтер.

1942 — пережив блокадную зиму, уехал с матерью в эвакуацию в Череповец, где был крещен няней Груней.

1944 — возвращение из эвакуации. По семейным воспоминаниям, выучил наизусть первое стихотворение Пушкина.

1955 — закончив семь классов и начав восьмой, бросил школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». В этом же году семья Бродских переехала в дом Мурузи (ул. Пестеля, 27, кв. 28).

1956–1960 — работал помощником прозектора в морге при областной больнице, истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в пяти геологических экспедициях. В то же время очень много и хаотично читал — в первую очередь поэзию и философско-религиозную литературу, начал изучать английский и польский языки.

***1957**, лето* — работа в геологической экспедиции на севере Архангельской области, в районе Белого моря.

Осень — знакомство с Яковом Гординым в студии при газете «Смена». Познакомился с Олегом Шахматовым, Александром Уманским и Георгием Гинзбургом-Восковым.

***1958**, лето — осень* — работа в экспедиции в Архангельской области. Посещает вольнослушателем лекции в Ленинградском университете. По словам Бродского, в это время он начинает писать стихи, хотя существует несколько стихотворений, датированных 1956–1957 годами.

***1959**, сентябрь* — выступление вместе с Я. Гординым в Ленинградской консерватории перед группой студентов-композиторов.

Октябрь — знакомство с Евгением Рейном и Анатолием Найманом.

***1960**, 14 февраля* — первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры им. Горького с участием А. Кушнера, Г. Горбовского, В. Сосноры. Чтение стихотворения «Еврейское кладбище» вызвало скандал.

Декабрь — поездка к Олегу Шахматову в Самарканд, попытка побега в Афганистан или Иран на самолете. У Бродского обнаружен порок сердца.

***1961**, март* — участие в вечере поэтов-геологов вместе с Я. Гординым, А. Городницким, Л. Агеевым и др.

Август — в Комарове Евгений Рейн знакомит Бродского с Анной Ахматовой.

***1962**, 2 января* — композитор Борис Тищенко знакомит Бродского с Мариной Басмановой. Марианна Павловна Басманова — художница, дочь художников Павла Ивановича Басманова и Натальи Георгиевны Басмановой, ученица В. А. Стерлигова. Первые стихи с посвящением «М. Б.» — «Я обнял эти плечи и взглянул…», «Ни тоски, ни любви, ни печали…», «Загадка ангелу» датируются тем же годом.

Январь — вызов в связи с делом Уманского и Шахматова в ленинградское УКГБ, где Бродского два дня держали во внутренней тюрьме.

Ноябрь — первая публикация: стихотворение для детей «Баллада о маленьком буксире» в журнале «Костер» (1962. № 11).

***1963**, 29 ноября* — в «Вечернем Ленинграде» публикуется фельетон А. Ионина, Я. Лернера и М. Медведева «Окололитературный трутень». В статье Бродский клеймился за «паразитический образ жизни».

13 декабря — руководство ленинградской писательской организации санкционировало преследование Бродского. Вскоре после этого он уехал в Москву.

16 декабря — письмо Анны Ахматовой руководителю ленинградской писательской организации А. Суркову с просьбой о защите Бродского.

27 декабря — «военный совет» у Ардовых с участием Ахматовой. Бродскому посоветовали лечь с помощью знакомых психиатров в больницу им. Кащенко, чтобы избежать ареста.

***1964**, 1 января* — встречает Новый год в Москве в психбольнице, которую покидает на следующий день.

13 февраля — арестован по обвинению в тунеядстве. В камере у него случился первый сердечный приступ. С этого времени постоянно страдал стенокардией.

13 марта — на втором заседании суда был приговорен к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Был сослан в Коношский район Архангельской области и поселился в деревне Норенской. В интервью С. Волкову назвал это время самым счастливым в своей жизни.

***1965**, 23 сентября* — освобожден после обращения к

советскому правительству Жана Поля Сартра и других зарубежных писателей.

26 октября — по рекомендации К. Чуковского и Б. Вахтина был принят в профгруппу писателей при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что позволило ему в дальнейшем избежать обвинения в тунеядстве.

***1967**, июнь* — первая поездка в Коктебель.

8 октября — родился сын Бродского и Марины Басмановой — Андрей Басманов.

Ноябрь — мой визит домой к Бродскому, который перед этим взял у меня рукопись со стихами и дал их доброжелательный, но строгий анализ. После этого разбора стихов я перестал их писать и обратился к критике, так что каким-то образом Иосиф Бродский повинен в рождении критика Владимира Бондаренко.

***1972**, 12 мая* — Бродского вызвали в ОВИР ленинградской милиции и поставили перед выбором: эмиграция или «горячие денечки», то есть тюрьмы и психбольницы. Выбрав эмиграцию, поэт пытался максимально оттянуть день отъезда, но власти хотели спровадить его как можно быстрее.

4 июня — вылетел из Ленинграда в Вену. Там был представлен У. Одену, по приглашению которого впервые участвовал в Международном фестивале поэзии (*Poetry International)* в Лондоне в июле.

9 июля — прилетел в Детройт, США.

Сентябрь — начинает читать в Мичиганском университете курс русской поэзии, продолжающийся до 1980 года. Все это время живет в Анн-Арборе.

1981 — переезд в Нью-Йорк. Полугодовое пребывание в Риме в качестве стипендиата Американской академии.

1986 — написанный по-английски сборник эссе Бродского «Less than one» («Меньше единицы») признан лучшей литературно-критической книгой года в США.

***1987**, 22 октября* — получил известие о присуждении ему Нобелевской премии.

Декабрь — первая публикация стихов Бродского в советской прессе после 1967 года — подборка стихов в журнале «Новый мир».

10 декабря — король Швеции Карл XVI Густав вручил Бродскому Нобелевскую премию по литературе.

***1990**, 11 января* — выступление в Париже в колледже *Ecole Normale Supérieure*; там знакомится со своей будущей женой Марией Соццани (по матери Берсенева-Трубецкая).

Январь — в Санкт-Петербурге в Доме писателей (ул. Воинова, 18) состоялась первая международная научная конференция,

посвященная творчеству Бродского.

18 января — вручение Бродскому почетной степени доктора философии в Упсальском университете, Швеция.

1 сентября — бракосочетание с Марией Соццани в Стокгольме.

***1993**, 9 июня* — родилась дочь Анна Мария Александра.

1994, январь — четвертый инфаркт.

28 февраля — выступает с чтением стихов в нью-йоркском Куинс-колледже, где прочитал стихотворение «На независимость Украины», впервые опубликованное в сентябре в киевской газете «Столица».

***1995**, 9 июня* — по рекомендации и настоянию мэра А. Собчака Иосифу Бродскому присвоили звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

***1996**, 28 января* — ночью умер во сне в своем кабинете.

1 февраля — отпевание в епископальной церкви Благодати в Бруклине.

2 февраля — похороны на кладбище Тринити-Черч на 153-й стрит.

***1997**, 21 июня* — перезахоронение праха Бродского на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Бродского

Бродский И. А. Поклониться тени: Эссе. СПб., 2001.

Бродский И. А. Перемена Империи. Стихотворения (1960–1996). М., 2001.

Бродский И. А. Стихотворения. Таллин, 1991.

Бродский И. А. Новые стансы к Августе. Стихи к М. Б. 1962–1982. СПб., 2000.

Бродский И. А. Сочинения: стихотворения. Эссе. 2-е изд. Екатеринбург, 2003.

Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. Нью-Йорк, 1965.

Бродский И. А. Набережная неисцелимых: Тринадцать эссе. М., 1992.

Бродский И. А. Меньше единицы. Избранные эссе. М., 1999.

Бродский И. А. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями. М., 1995.

Бродский И. А. Речь в Шведской королевской академии при получении Нобелевской премии // Звезда. 1997. № 1.

Иосиф Бродский. Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. М., 2000.

Иосиф Бродский: труды и дни / Ред.-сост. П. Вайль, Л. Лосев. М., 1998.

Бродский И. А. Сочинения: В 4 т. СПб., 1992–1995.

Бродский И. А. Сочинения: В 7 т. СПб., 1997–2000.

Литература о Бродском

Аллой Р. Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском. СПб., 2008.

Баткин Л. Тридцать третья буква. М., 1997.

Бегунов Ю. Правда о суде над Иосифом Бродским. СПб., 1996.

Бобров А. Иосиф Бродский. Вечный скиталец. М., 2014.

Бондаренко В. Последние поэты Империи. М., 2005.

Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005.

Верхейл К. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским. СПб., 2002.

Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000.

Глазунова О. Иосиф Бродский. Метафизика и реальность. СПб., 2008.

Глазунова О. Иосиф Бродский: американский дневник. СПб., 2005.

Горбовский Г. Остывшие следы: Записки литератора. Л., 1991.

Гордин Я. Аврора. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000.

Гордин Я. В сторону Стикса. М., 2005.

Гордин Я. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000.

Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. М., 2010.

Грудзинская-Гросс И. Магнитное поле. Милош и Бродский. М., 2013.

Ефимов И. Нобелевский тунеядец. М., 2005.

Измайлов А. Стихами Бродского звучит в нас Ленинград. СПб., 2011.

Иосиф Бродский. Библиография / Сост. А. Степанов, Д. Ахапкин // Иосиф Бродский. Стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 2–4 сентября 2004 года в Москве. М., 2005. С. 482–521.

Иосиф Бродский в XXI веке. Материалы конференции. СПб., 2010.

Иосиф Бродский в ссылке / Сост. М. Мильчик. СПб., 2013.

Иосиф Бродский и мир: Метафизика. Античность. Современность. СПб., 2000.

Иосиф Бродский: проблемы поэтики. Сборник научных трудов и материалов. М., 2012.

Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998.

Иосиф Бродский. Указатель литературы на русском языке за 1962–1995 гг. СПб., 1999.

Иосиф Бродский. Фотолетопись, Ч. 1–3. СПб., 2012–2013.

Конин С. Коношане и Бродский. Коноша, 2008.

Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. СПб., 2007.

Ли Чжи Ен. «Конец прекрасной эпохи». М., 2004.

Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., 2006.

Лосев Л. Солженицын и Бродский как соседи. СПб., 2010. Мир Иосифа Бродского. Путеводитель. СПб., 2003.

Новиков А. Поэтология Иосифа Бродского. М., 2001.

Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 1–2. СПб., 1997–2006.

Полухина В. Эвтерпа и Клио Иосифа Бродского. Хронология жизни и творчества. Томск, 2012.

Поэт в закрытом гарнизоне / Сост. О. Щеблыкина. СПб., 2008.

Плеханова И. Метафизическая мистерия Иосифа Бродского.

Томск, 2012.

Семенов В. Иосиф Бродский в северной ссылке. Тарту; СПб., 2010.

Соловьев В. Запретная книга о Бродском. М., 2006.

Ссылка в Норенскую в жизни и творчестве Иосифа Бродского. Материалы конференции. Коноша, 2010.

Штерн Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М., 2001.

Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. М., 2012.

Portret of poet. Joseph Brodsky. Photographs by M. Volkov. New York, 1998.

Bethea D. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton; New Jersey, 1994.

Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge (Mass.), 1989.

Статьи и интервью

Александрова А. Найди десять отличий: эпигоны И. Бродского // Литературная учеба. 2006. № 1.

Александрова А. Эволюция архетипа воды в творчестве И. Бродского на примере образа Моря (Океана) // Иосиф Бродский. Стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 2–4 сентября 2004 года в Москве. М., 2005. С. 238–252.

Ахапкин Д. Н. «Филологическая метафора» в поэзии Иосифа Бродского: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2002.

Бабич Д. Утраченные иллюзии «мэтра абсурда»: История письма Сартра в защиту И. Бродского // Комсомольская правда. 1992. 19 декабря.

Борецкий Р. «Искусству сопротивления я научился у поляков» (И. Бродский в Польше) // Новое время. 1993. № 30.

Вайль П. Слушая Бродского: Сольный вечер для рус. публики // Независимая газета. 1992. 4 июня.

Вайль П., Генис А. Без гнева и пристрастия // Грани. 1985. № 138.

Вайль П., Генис А. В окрестностях Бродского // Литературное обозрение. 1990. № 8.

Гаспаров М. Рифма Бродского // *Гаспаров М.* Избранные статьи. М., 1995.

Генис А. Бродский и Довлатов // Памяти Сергея Довлатова. СПб., 1994.

Генис А. Бродский в Нью-Йорке // *Генис А.* Сочинения. Т. 2. Расследования. Беседы о новой словесности. Швы времени. Частный случай. Екатеринбург, 2003. С. 364–387.

Гордин Я. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2.

Гордин Я. Все, что написал Иосиф Бродский // Известия. 1992. 22 января.

Гордин Я. Странник // *Бродский И. А.* Избранное. М., 1993.

Завалишин В. Альманах нонконформиста // Новый журнал. 1991. № 183.

Зайцев В. Иосиф Бродский и русская поэзия XX века // Научные доклады филолог. ф-та МГУ. Вып. 2. М., 1998.

Козлов В. Непереводимые годы Бродского. Две страны и два языка в поэзии и прозе И. Бродского 1972–1977 годов // Вопросы литературы. 2005. № 3.

Кожинов В. «Нет истины, где нет любви» //Литературная учеба. 1990. № 5.

Корнблатт Д. Д. Вечный жид: Лев Шестов и русская религиозная мысль // Русская литература XX века: исследования американских ученых. СПб., 1993.

Кривулин В. Античность как существенный момент идеостиля Иосифа Бродского // Классическое наследие и современность: Материалы и тезисы конференции, 9–11 дек. 1992 г. СПб., 1992.

Куллэ В. «Обретший речи дар в глухонемой Вселенной» // Родник. 1990. № 3.

Куллэ В. «Там, где они кончили, ты начинаешь» // *Бродский И.* Бог сохраняет все. М., 1992.

Куллэ В. Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России (1957–1972): Дисс. … канд. филол. наук. М., 1996.

Курицын В. Бродский. Преодоление Бродского // Урал. Свердловск, 1990. № 11.

Кюст Й. Плохой поэт Иосиф Бродский: к истории вопроса // Новое литературное обозрение. М., 2000. № 45.

Лотман М. Балтийская тема в поэзии Иосифа Бродского. // Проблемы русской литературы и культуры. Хельсинки, 1992.

Лотман Ю. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») // *Лотман Ю.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин, 1993.

Наврозов Л. «Уж полночь близится, а Г. все нет.»: Попытка обзора российских «толстых» журналов // Время и мы. 1993. № 121.

Найман А. Пространство Урании // Октябрь. 1990. № 12.

Найман А. Поэзия и неправда // Октябрь. 1994. № 1.

Найман А. Славный конец бесславных поколений // Октябрь. 1995. № 11.

Нива Ж. «Русский космополит все равно остается русским» / Беседу вел Д. Савельев // Смена. 1993. 17 июля.

Парамонов Б. Флотоводец Бродский; Певец империи в стране зубных врачей // Звезда. 1995. № 5.

Петров М. О похоронах Иосифа Бродского в Нью-Йорке // Звезда. 1996. № 3.

Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Звезда. 1992. № 5/6.

Путилова Е. О поэте И. Бродском и его «Балладе о маленьком буксире» // *Бродский И.* Баллада о маленьком буксире. Л., 1991.

Радышевский Д. Дзэн поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. 1997. № 27.

Рейн Е. Я люблю то, что вокруг меня / Беседу ведет Т. Бек // Столица. 1992. № 43.

Рейн Е. Иосиф // Вопросы литературы. 1994. № 2.

Рейн Е. Высокий купол // Огонек. 1995. № 21.

Рейн Е. До Нобелевской премии оставалось 24 года // Литературная газета. 1997. 29 января.

Солженицын А. Иосиф Бродский — избранные стихи // Новый мир. 1999. № 12. С. 180–193.

Топоров В. О поэзии И. Бродского // Смена. 1992. № 44.

Уфлянд В. Иосиф Бродский заставляет задумываться // Вечерний Ленинград. 1991. 22 февраля.

Уфлянд В. Немного об авторе // *Бродский И.* Назидание: Стихи, 1962–1989. Минск, 1991.

Уфлянд В. О поэте И. Бродском // На Севере Дальнем: Литературно-художественный альманах. Магадан, 1991.

Шайтанов И. Предисловие к знакомству // Литературное обозрение. 1988. № 8.

Шайтанов И. «Но труднее, когда можно» // Литературное обозрение. 1990. № 1.

Щербина Т. Бродский. Жидкие кристаллы // Урал. 1990. № 11.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке этой книги Валентине Полухиной, Марине Басмановой, Марии Бродской, Соломону Волкову, Виктору Куллэ, Регине Бондаренко, Юнне Мориц, Александру Проханову, Ларисе Соловьевой, Глебу Горбовскому, Валерию Гилепу, Зинаиде Леляновой, жителям деревни Норенской, сотрудникам музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Череповецкого краеведческого музея.

notes

Примечания

1

Жизненное пространство *(нем.)*. — *Прим. ред.*

2

Magazin (dodatek do «Gazety Wyborczej»). Po dwu stronach oceanu. № 3 (99), 20.02.1995. S. 6–11. Перевод с польского Б. Горобца.

3

Ошибка Гениса: писатель XIV века Ло Гуаньчжун был автором не «Речных заводей», а другого классического романа — «Троецарствие» («Саньго чжи»).